АЗБУКА ВЕРЫ

Алексей Алексеевич Солоницын

Взыскание погибших

Художественная литература · azbyka.ru

Взыскание погибших – электронная книга православного портала «Азбука веры».

Читайте эту и тысячи других книг бесплатно: azbyka.ru/fiction/vzyskanie-pogibshih

«Азбука веры» – некоммерческий просветительский проект. Мы бесплатно открываем людям сокровищницу православной веры и лучшие книги русской и мировой литературы. Если книга оказалась для вас полезной, поддержите портал: azbyka.ru/kak-pomoch

Взыскание погибших

Алексей Алексеевич Солоницын

Взыскание погибших

Повествование о святых страстотерпцах государе императоре Николае Втором, государыне императрице Александре Феодоровне, цесаревиче Алексие, великих княжнах Ольге, Татиане, Марии, Анастасии и их приближенных, вместе с ними убиенных

Предисловие

Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее.

(Ин.10:17–18)

Семнадцатилетним юношей я поступил на факультет журналистики Уральского госуниверситета города Свердловска (как назывался в советское время Екатеринбург). Огромный конкурс выдержал не потому, что все экзамены сдал на отлично, но главное, что к тому времени мои первые рассказы уже были опубликованы в молодежной газете. Коренной уралец, с которым мы подружились в первые же дни учебы, привел меня к дому инженера Ипатьева: «Вот здесь убили царскую семью». Строение, где находились какие-то советские учреждения, было самым обыкновенным и никакого впечатления на меня не произвело. Но потом, когда мне удалось подпольно прочесть книгу следователя Николая Соколова, которого не только я, но и многие считают Божьим избранником, на «обычное здание» я посмотрел другими глазами.

Напротив «Дома особого назначения», как именовался он в чекистских документах, высилась величавая колокольня Вознесенского собора. Перед собором стояла скульптура пионера со знаменем в руках и пионерки, отдававшей салют. Они бодро шагали нам навстречу. За спинами пионеров находился закрытый обезображенный собор, а дальше дворец знаменитого на Урале горнозаводчика Харитонова, где в ту пору рукодельничали и занимались в кружках пионеры. Гуляя по пионерскому парку, мы с другом говорили о судьбе царя и его семьи. Мы считали, что царя расстреляли, потому что иного выхода не было, но убийство жены царя, его детей и слуг уже тогда, в пятидесятые годы, вызывало возмущение и сомнение в действиях тех, кто устанавливал «самый справедливый строй на земле». После университета я много ездил по стране, но связи с городом юности не терял: в свердловском драмтеатре после учебы остался работать мой старший брат Анатолий, к которому я время от времени приезжал, а друзья вызывали меня на киностудию — я писал сценарии для документального кино. И всякий раз, приезжая в Свердловск, а потом Екатеринбург, я мысленно возвращался к трагедии царской семьи.

В восьмидесятые годы снесли дом инженера Ипатьева, якобы по «приказу свыше» (потом выяснилось, что по инициативе секретаря обкома партии Б. Ельцина). Мы с другом ходили на место, где стоял особняк. Я подобрал здесь камень с кварцевыми вложениями и храню его до сих пор. Потом здесь установили деревянный поклонный крест. И началась нешуточная схватка между сторонниками и противниками установления на этом месте храма. Такие же споры велись и по поводу прославления царской семьи в лике святых страстотерпцев.

К тому времени я уже многое узнал о царской семье. И в Ипатьевском монастыре в Костроме побывал, где Романовы венчались на царство, и о самом святом епископе Ипатии узнал, который был зверски убит за проповедь Христа в первые века христианства. И многие другие подробности жизни предателей и убийц царя Николая II и его семьи узнал, тем более что «разоблачительные» материалы стали тогда очень часто появляться в прессе.

Однажды меня поселили в гостинице «Свердловск». Улица, которая шла от вокзала к «Дому особого назначения», по странному совпадению принадлежащему инженеру с «говорящей» фамилией Ипатьев, по воле случая или по чьему-то замыслу носила имя Свердлова. А он имел, как тогда уже было доказано, прямое отношение к убийству царской семьи. В центре улица цареубийцы плавно перетекала в улицу имени еще одного «пламенного революционера» Карла Либкнехта, а потом в улицу Розы Люксембург. Памятник Свердлову в самом центре города также остался, хотя молодежь несколько раз мазала его краской.

Из окна моего номера открывался удивительный вид: хорошо была видна колокольня восстановленного Вознесенского собора, а практически на одном уровне с ней — телевизионная вышка.

Эта картина вызывала во мне настолько неприятные чувства, что я попросил переселить меня в другой номер. Но мысль о том, что современная пропаганда, главным оружием которой является наше американизированное телевидение, довлеет над Православием, всячески стараясь умалить его значимость, а при удобном случае даже унизить, не оставляла меня.

Когда появились литературные бестселлеры и кинокартины, затрагивающие тему жизни и смерти последнего императора, я еще более убедился в том, что людей «кормят» в лучшем случае полуправдой, а порой и полной ложью.

С подачи средств массовой информации государь предстает народным массам как хороший семьянин, но при этом «подкаблучник» и никудышный император. Невнятно, с сарказмом, а иной раз с издевкой (как, например, у Э. Радзинского) говорится о ритуальном характере убийства. А ведь не только каббалистические надписи на стене подвальной комнаты, куда завели и где зверски убили, паля из наганов, а потом докалывая штыками, царскую семью, их верных слуг, но и целый ряд других неопровержимых свидетельств и фактов доказывают, что убийство было именно таким.

Почти нигде не говорится о том, как заметали следы чудовищного преступления, расчленяя и пытаясь сжечь тела мучеников. Н. Соколов — один из немногих авторов, кто ясно, правдиво и доказательно описывает те страшные события. Есть и другие правдивые книги на эту тему. Есть документы, свидетельства очевидцев, от которых не отмахнуться фальсификаторам. Но главное — невозможно понять жизнь и деяния последнего императора, не принимая во внимание его глубокую религиозность, которая руководит каждым христианином в любом его решении или поступке. До сих пор не устают говорить о том, что он бездарный правитель, отдавший и власть, и страну на разграбление и поругание. Но каким образом при таком «бездарном царе» население России выросло на 62 миллиона человек? Кто «стоял у руля», когда была проложена Транссибирская магистраль, давшая бурный толчок развитию промышленности и сельского хозяйства?

Кто кормил хлебом, поил молоком и снабжал лесом «цивилизованную» Европу? Когда, как не в эпоху правления Николая Второго, расцвели наши литература и искусство?

Чтобы остановить, пустить под откос «русский локомотив», наши враги, явные и тайные, понимали, что прежде всего надо убить царя, уничтожить исконную веру русского народа,

которая и была скрепой нашего великого государства Российского, насадив чуждую народу веру, одурманив его «земным раем», а потом удерживая власть любыми методами.

Я писатель, поэтому перед вами не научно-историческая книга и не жития святых, прославленных нашей Церковью в лике страстотерпцев. Перед вами литературное произведение, которому свойственны черты именно этого жанра.

Я назвал эту работу повествованием, потому что писал ее, строго следуя фактам, изложенным в исторических документах и свидетельствах. Я не обходил острые углы, писал о том, что еще не было прямо сказано, но не в целях «разжигания национальной розни», а ради утверждения той Истины, которую не поняли ни римский прокуратор Понтий Пилат, ни первосвященник иудейский Каиафа. Я стремился к тому, чтобы перед вами ожили образы царственных мучеников, их духовный подвиг и победа. Ибо, как сказал митрополит Макарий, преподаватель Петербургской духовной академии: «Да, вы победите. Но после всех вас победит Христос».

Не отступая от пути Спасителя, взошли на свою Голгофу святые страстотерпцы государь император Николай, государыня императрица Александра, цесаревич Алексий, великие княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия, их приближенные и слуги.

Теперь прославлен в лике святых и доктор царской семьи Евгений Боткин.

Конечно, в моей повести есть и личные предположения, домыслы, без которых не обходится ни одно литературное произведение.

Но, повторю, реконструированы исторические события на основе фактов, которых с каждым годом накапливается все больше.

И если найдутся некоторые подробности к изложенным событиям, я надеюсь, что они только подтвердят и дополнят ту христианскую правду, которая была фундаментом всей жизни и смерти царственных мучеников и вместе с ними убиенных.

Глава первая. Душной русской ночью

Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь...

Из письма великой княжны Ольги Николаевны Романовой

12 июля 1918 года

Он услышал стон и сразу проснулся. Сел на кровати и по привычке потянулся к столику, чтобы зажечь ночник. Но тут же вспомнил, что ночник забрали, и рука его опустилась. Повернувшись к кровати, на которой спал сын, он чутко вслушивался в тишину.

«Вон тот, вон тот! — внятно сказал Алексей, потом еще что-то, а потом опять отчетливо: — Он, он!»

В комнате было душно, темно. Осторожно ступая босыми ногами по гладким доскам пола, подвигаясь к постели Алексея по памяти, он нащупал спинку кровати и, скользя рукой по краю постели, нашел свободное местечко рядом с горячим телом сына. Лоб и волосы Алексея были мокры от пота, и отец вытер их сначала ладонью, а потом и простыней, потому что полотенце

найти не смог.

«Вперед! Прыгай!» — вскрикнул Алексей, и отец почувствовал, как тело сына выгнулось, словно и в самом деле приготовилось к прыжку.

Бережно, но твердо приподняв и прижав его к себе, он сказал тихонько:

— Алеша, Алеша! Сынок!

— А! Что?

— Это я. Ты кричал во сне. Тебе больно?

— Папа?.. Что-то снилось… Такое…

— Какое?

— Опять нога болит… и в паху…

— Что там у вас? Алеша? Ники?

«Ну вот, и ее разбудили. Это все духота», — подумал он.

— Ничего особенного. Алексею приснился дурной сон. Он кричал.

— Нет, это невозможно. Пусть они дадут хоть огрызок свечи, если не разрешают лампу.

— Хорошо. Я сейчас схожу.

Кровать скрипнула, и он понял, что она встала и идет сюда, к ним. Он протянул руку вперед и водил из стороны в сторону, как при игре в жмурки.

Она наткнулась на его ладонь, он усадил ее рядом и встал.

Алеша опять застонал.

Государыня стала гладить лицо сына, мягкие волосы — родные, ласковые.

— Сыночек, милый мой, сейчас боль пройдет. Папа позовет Евгения Сергеевича и принесет свечу.

Государь встал, тихонько открыл дверь в соседнюю комнату, где спали четыре княжны. Дверь из этой комнаты в столовую снята — так приказал новый комендант Юровский. Девушкам разрешено лишь повесить занавеску в проеме двери. Никакие возражения, даже самые бурные, не помогли.

У двери стоит деревянный диванчик, на котором спит охранник. «Так. Разбудить охранника или самому пройти в комендантскую?». Комната начальников находится позади гостиной и зала, которые разделены аркой.

Дверь в комендантскую слегка приоткрыта. Тонкая полоска света падает на паркетный пол зала. «Не налететь на стулья, не стукнуться о стол». Ни с кем из новых охранников, кроме коменданта Юровского, государь познакомиться не успел. Сменилась вся внутренняя охрана. Среди прежних, хотя и сильно пьющих, изрыгающих похабщину и дикие, варварские слова, все

же попадались человеческие лица с нормальными глазами, в которых многое можно было прочесть, в том числе и сострадание. Среди новых охранников не было ни одного русского. Как понял государь по их репликам, словам, которыми они перекидывались, это были австрийцы и немцы. Двое или трое, насколько успел понять Николай Александрович, были латыши.

Были и другие интернационалисты — венгры, еще какие-то наемники, угрюмые и молчаливые. Замена охраны, суета и беспокойство, отрывистость фраз, которые бросал Яков Юровский, — все говорило само за себя, и государь боялся одного: лишь бы семья не догадалась, что происходит.

Но он слишком хорошо знал и жену, и дочерей, и сына, чтобы не осознать — они все поняли.

Многое объяснила казалось бы незначительная история с ночником, который вчера унесли. Ведь Юровский знал, что царевичу по ночам бывает плохо, он сам несколько раз подходил к его кровати, чтобы убедиться, не симулирует ли Алексей. И тем не менее электрический провод обрезали, лампу под стеклянным колпачком унесли «ввиду опасности, которой вы сейчас подвергаетесь», как объяснил комендант.

Обороты речи этого грузного, не по годам отяжелевшего человека с мясистыми щеками, носом, нависшим над холеными усами, с загибами волной на концах, были насквозь лакейскими, которые люди этого сорта принимают за признак интеллигентности. Впрочем, речь лакея Алексея Егоровича Труппа была куда грамотней, чем у Юровского, потому что Алексей Егорович говорил так, как говорил его отец, давным-давно обрусевший поляк, то есть просто и естественно. Даже когда Алексею Егоровичу приходилось называть свою фамилию (его обязательно переспрашивали, делали удивленные лица, смеялись, даже хохотали), он смущенно улыбался, повторял ее более внятно. Потом разводил руками и неизменно говорил, что фамилия эта, редкостная для русских, также редка и для поляков, так как он и есть поляк, но родился и вырос в Латгалии, откуда уехал с родителями служить в Петербург.

Говорил он это просто и естественно, без всяких украшательств, как это любил делать Юровский.

— Девятнадцать, — услышал государь голос, назвавший цифру по-немецки.

— Двадцать, — отозвался второй голос, и раздался короткий смешок.

— Мой кошелек пуст!

— Ничего, скоро мы все получим приличное жалованье. И тогда поедем домой из этой проклятой России.

Государь постучал и открыл дверь. Охранники сидели за столом, раздетые до пояса. Они играли в кости. Третий, одетый, лежал на койке.

Это был Юровский.

— Извините за беспокойство, господа, — сказал государь по-немецки.

На этом языке он говорил крайне редко, только в случае необходимости. С детьми разговаривал исключительно по-русски, с женой чаще всего по-английски. На языке своей бабушки, английской королевы Виктории, Александра Феодоровна, воспитанная после смерти матери именно бабушкой, а не отцом, великим герцогом Гессен-Дармштадтским, изъясняться могла более свободно, чем на любом другом языке, в том числе и русском, хотя последний

знала хорошо.

— Моему сыну плохо, необходима помощь доктора. Я пришел попросить свечу — хотя бы на короткое время. Нельзя ли разбудить господина Юровского?

— Меня не надо будить, — Юровский сел на постели, пригладил жесткие волосы. — И сколько можно вам говорить, чтобы вы не беспокоили нас по пустякам?

— Вы меня не расслышали. У сына острые боли. Я прошу хотя бы свечу.

— Вы прекрасно знаете, что вашему сыну ничто не поможет. — Юровский встал, взял со стола стакан с недопитым чаем, глотнул: — Отправляйтесь спать!

— Доктор даст лекарства, примет другие меры. Алексей хотя бы сможет заснуть.

— До чего же вы упрямый, Николай Александрович. Даже нахальный. Вам было сказано, что в ваших комнатах нельзя зажигать свет. Ваши, которые хотят похитить вас, только и ждут сигнала. А свет в окне как раз и может быть принят за сигнал.

— Опомнитесь! Окна скрыты двумя заборами и замазаны известью.

— А колокольня Вознесенской церкви? Которая напротив?

Государь посмотрел в маслянистые, чуть навыкате, глаза Юровского. Верно заметил Евгений Сергеевич Боткин, что у него «бесстыжие глаза».

У государя еще с первых лет правления империей сама собой выработалась манера в моменты напряженных разговоров вот именно так прямо и твердо смотреть в глаза собеседнику. Взгляд серо-голубых глаз государя называли ласковым, обворожительным, и многие не только из его подданных, но и из королевских домов других держав попадали под обаяние этих необыкновенных глаз. Но многим было известно и другое их выражение, когда они становились холодными, как бы застывшими, и смотрели в самую глубину души собеседника. В такие минуты государь молчал, и некоторые, по большей части недалекие его подчиненные, воспринимали подобный взгляд за одобрение своего прошения или положительное решение обсуждаемого вопроса. Но те, кто были хоть чуточку умнее, понимали, что взгляд государя есть взыскание к совести человека, послание к истокам души, которая должна сама найти справедливый ответ.

Юровский уже знал этот взгляд и понял, что хотел сказать бывший царь: наверняка он знает, что на колокольне установлен пулемет. Всего было установлено четыре пулемета. Дом инженера Ипатьева, куда поместили царскую семью, находился под перекрестным огнем, и любое нападение было бы обречено на провал. Помимо пулеметов, была сразу же организована и наружная, и внутренняя охрана. Дом обнесли двойным забором, который закрывал окна. Сначала один забор, а потом и второй поставили, как только Николай Александрович и его дочь Мария прибыли из Тобольска в Екатеринбург. Остальная часть семьи осталась в Тобольске, так как цесаревич болел гораздо сильнее, чем теперь.

— Зажги свечу, — приказал Юровский. — Спички где?

Наемник ничего не понял.

— Комендант просит, чтобы вы зажгли свечу, — сказал государь по-немецки.

Наемник встал, нашел свечку, спички. Русскую речь он так и не освоил, лишь научился понимать отдельные слова, находясь сначала в плену, а потом вступив в Красную армию, чтобы получать приличное пропитание и деньги. Он не был идейным сторонником большевизма, как некоторые из его сослуживцев, попавших в охрану «Дома особого назначения» (так стали называть чекисты и руководители-большевики особняк инженера Ипатьева). Он зарабатывал себе на жизнь тем, что научился хорошо делать — стрелять. Когда люди падали после его выстрелов, он испытывал чувство удовлетворения — хорошо выстрелил, не промахнулся.

Остальное его не касалось. Хорошо стрелял. Все равно, в кого — в русских офицеров, солдат, крестьян, купцов, дворян, которых на большевистском жаргоне называли буржуями.

Волосатый зажег свечу. Юровский взял ее и направился вместе с государем к их комнате.

Когда проходили мимо комнаты княжон, государю было достаточно беглого взгляда, чтобы увидеть, что дочери не спят. А Евгений Сергеевич уже был одет и стоял у двери, ожидая государя. Он поклонился и на вопрошающий взгляд сразу ответил:

— Жалуется на боль в паху и ноге. Стонет. Это все тот же ушиб.

Доктор надел пенсне и вошел в комнату вслед за Юровским и государем.

Александра Феодоровна встала, освобождая место на постели сына для доктора, и тот стал осматривать мальчика, по привычке приговаривая: «А здесь больно? А здесь?»

У Алексея было бледное, исхудавшее за последний месяц лицо. Кожа истончилась до того, что, казалось, прикоснись к ней пальцем чуть посильнее — и она порвется. Огромные серо-голубые глаза, точно такие же, как у отца, сейчас составляли как бы все лицо, потому что притягивали к себе неземной, уже потусторонней силой страдания. Хотелось упасть на колени и сделать что-то особенное, может быть, даже жизнь отдать, лишь бы облегчить страдания этого подростка с глазами, которых, может статься, не бывает у людей, такие бывают, наверное, только у ангелов. Как могли сиять эти глаза, когда он радовался, резвился! Как они лучились, когда он затевал какую-нибудь шалость! В семье Алексея звали Солнечный Лучик. Да, именно таким бывает солнечный лучик весной, когда тает снег и сосульки роняют капли, похожие на жемчуг. И ручьи бегут, и вода вспыхивает серебристыми искорками.

Но сейчас не радостный весенний день, а глухая черная ночь.

«А у моего сына глаза на угли похожи, — мелькнуло в сознании Юровского. — Когда он злится, они становятся, как у кота, который лезет в драку».

— Ты что же раскис? — вслух сказал Юровский, покровительственно и дружески, как ему казалось, улыбнувшись. Но улыбка вышла кривая и недобрая. — Разбудил всех. Нехорошо.

В комнату заглянула Татьяна, спросила: «Можно?» — и вошла, принеся тазик с водой, полотенца. Она была в легком платье, волосы наскоро скреплены заколкой. Шея высокая, лебединая, посадка головы такая же, как у матери — царственная. И фигура, и движения, и ровный голос, и взгляд, казалось бы, всегда невозмутимых глаз — все было материнское, все говорило о том, что она именно царская дочь. Ольга старшая из детей, но руководила семьей в отсутствие родителей именно Татьяна, и никто не возражал против этого. Она занимала главенствующее положение в семье по праву самой деятельной и рассудительной.

Юровскому нравились все пятеро царских детей — каждый по-своему, каждый своей неповторимой особенностью и внешности, и характера. Но Татьяна ему нравилась более

других, и он ловил себя на том, что иногда любуется ею, и одергивал себя напоминанием, что это дети православного царя, поэтому никакого снисхождения к ним быть не должно.

— Ну так что, Боткин? — уже с трудом сдерживая раздражение, спросил Юровский.

— Да вы бы не беспокоились, Яков Михайлович. Шли бы отдыхать. Надо подождать, пока лекарства начнут действовать. Видите, свечка небольшая, но ее хватит, чтобы Алексей Николаевич успокоился и уснул. Прошу вас, оставьте свечку и идите спать — так будет лучше всем.

Янкель Хаимович (ибо так на самом деле звали Юровского) понял, что его присутствие лишь усиливает боли мальчика, которому нужен покой. «Ладно, скоро он и покой получит! А сейчас действительно пора идти спать. А свечу надо им оставить, чтобы и они все успокоились, чтобы не было лишних телодвижений перед делом. Пусть поворкуют».

— Ладно, Боткин, послушаюсь твоего совета. Пусть свеча стоит у постели — выше ее не поднимай. Делаю послабление в последний раз. Спокойной ночи, граждане, — и он ушел, оставив после себя запах пота, табака, и чего-то еще, явственно ощущаемого всеми, кто находился сейчас у постели больного.

Это был запах зверя, который настиг свою жертву, ухватил ее когтями и теперь приходит в себя, чтобы отдышаться, а потом начать поедать.

— Свеликодушничал, — усмехнулся Евгений Сергеевич, когда шаги Юровского затихли и хлопнула дверь, закрывшись за ним.

— Он может вернуться на цыпочках и подслушивать. Я один раз застала его за этим занятием, — сказала Татьяна.

— А все же он лучше прежнего, Авдеева. Вспомните, как тот напивался. И что мог говорить.

И государь вспомнил, как Авдеев, предыдущий комендант Ипатьевского дома, однажды явился в стельку пьяный, бессмысленно улыбаясь и покачиваясь. На ремне у него висел револьвер в деревянной кобуре, и он бессознательно за нее хватался, неся околесицу про «врагов народа и буржуазию». Государь боялся, как бы он спьяну не выхватил револьвер и не выстрелил, и зорко следил за Авдеевым. Но воинственный пыл пьяного комиссара быстро утих, он стал жаловаться, что у него совсем не такая семья, «как вот у вас, Николай Александрович, дети не слушаются, жена — стерва и не желает подчиняться». Потом Авдеев сказал, что он не тюремщик. Тут явился его помощник, Мошкин, тоже пьяный, но не в той степени, что Авдеев. Начальника он увел, но матерился столь грязно и ужасно, что даже Авдеев стал его урезонивать в том смысле, что, дескать, «здесь девицы, и ты не имеешь права говорить безобразные слова». Это замечание лишь распалило Мошкина, и хотя они ушли, гнусная брань еще долго разносилась по всему «Дому особого назначения».

В комнату тихонько вошли Ольга, Мария, Анастасия. Вся семья собралась вокруг постели Алеши, и ни мать, ни отец не спросили, почему дети пришли сюда и почему они не спят. Девушки любили друг друга, но больше всех все вместе они любили Алексея. Он был центром семьи, и если ему было плохо — плохо было всем. А когда он был здоров и весел, свет озарял лица всей семьи. И даже задумчивая, не любившая лишних разговоров и суеты старшая из сестер Ольга, мало склонная к развлечениям и веселью, улыбалась вместе со всеми и не отказывалась принять участие в общих играх.

— Ну что, Алексей Николаевич, полегче? — спросил доктор.

— Мне хорошо, что мы все вместе, — ответил Алеша, улыбнувшись. — И что горит свеча. Свеча ведь лучше электричества, правда, папа?

Государь кивнул. И он почувствовал себя спокойнее, когда все собрались.

— Свеча — это ведь наша душа. Пламя ее направлено к Богу. А лампочка электрическая… Как бы точнее сказать…

— Дочка прогресса, — определила Мария.

Улыбка осветила ее широкое, скуластое лицо, темные глаза заблестели. Статью и характером она вышла в деда, императора Александра Третьего, — сильная, ширококостная. У нее были прекрасные густые волосы, гораздо более темные, чем у сестер, ростом она была ниже их, но это не портило осанку, несмотря на то, что плечи у нее были широки, а руки сильны. Ее некоторая тяжеловесность искупалась бойкостью, веселостью, умением быстро находить общий язык с кем угодно — хоть с солдатом, хоть с герцогом. Дети звали ее Машкой. А Алеша, когда болел, всегда говорил: «Машка, неси меня!» — и она несла, даже с удовольствием.

— Хорошо сравнила, — сказал Алексей. — Ты и сама «дочка прогресса». А я…

— Не надо, Алеша, — мать полотенцем промокнула его виски, на которых опять выступили капельки пота.

— Главное, что мы все вместе.

— А я знаю, почему они усилили охрану, — сказала младшая, Анастасия.

Она была на два года моложе Марии — ей в июне исполнилось семнадцать лет. Ростом она не отставала от Маши, но была гораздо стройнее сестры — легкая, милая, тоже склонная к шутке и озорству. У нее был явный актерский талант, и она любила изображать знакомых семье людей, очень точно подмечая и пародируя их особенности. Настя не была красивой, но в ее чудесных глазах искрилась сама жизнь, и нельзя было не засмотреться на нее, не смеяться вместе с ней, не радоваться ее шуткам. В семье ее звали Солнышко.

— Они усилили охрану, потому что испугались Машки. Это когда она одного пьяного солдата с забора сдернула.

И Настя, встав, изобразила, как Мария стаскивает солдата с забора.

— Это, надеюсь, шутка? — мать, улыбаясь, смотрела на дочь.

— Нет, на самом деле! — оживился Алеша. — Этот пьяный Мошкин залез на забор и стал подглядывать за ними (он показал на сестер) в окно. Потом стал делать неприличные жесты. Настя и Маша сговорились, и Настя осталась у окна, я видел. Настя тоже стала делать жесты, как на танцах, а Машка в это время потихоньку подобралась к забору и за ногу этого пьяницу хвать! Он с забора и кувырк!

Настя смешно показала, как помощник бывшего коменданта Авдеева Сашка Мошкин перекувырнулся. Все потихоньку рассмеялись, даже государь, хотя он и приложил палец к губам.

На самом деле все было по-другому. Подлец Мошкин действительно залез на забор в пьяном виде и действительно делал неприличные жесты. И Маша сказала: «Как хорошо бы сдернуть

его с забора!» Но как его сдернешь, если внизу разгуливают и хохочут тоже подвыпившие охранники, у которых ружья висят на ремнях! Видимо, они опять достали какой-то жуткой вонючей отравы, от которой разит за версту. Маша слышала однажды, как Авдеев сказал Мошкину: «Денатуратом разжился?» И вот они опять напились этой гадости, и Мошкин залез на забор, орет похабные частушки — именно орет, чтобы вся семья слышала похабщину. А охранники гогочут, и Авдеев гогочет — он самый противный из них. У него длинные руки, широкие, вечно грязные ладони и фуражка грязная, замусоленная, которую он однажды даже за обедом не снял. Он и Мошкин взяли моду обедать за одним столом вместе с семьей, и в один из первых же дней, когда они уселись за стол, Авдеев не снял своей фуражки и, развалившись на стуле, закурил папиросу. От него разило этим самым денатуратом, пьяненькие хитрые глаза нагло щурились. Поваренок Леня Седнев принес на блюде котлеты, поставил их на середину стола. А увидев, что комендант курит, быстро убежал, испугавшись. Увидев котлеты, Авдеев погасил папиросу прямо в тарелку. Чистую взял у Мошкина, встал и потянулся длинной рукой за котлетой. Взяв ее, он согнул руку в локте и, будто случайно, локтем ударил государя в лицо.

Государь, словно в нем лопнула пружина, вскочил, повернулся к Авдееву. Авдеев был выше ростом и, продолжая ухмыляться, смотрел на императора.

— Да вы сядьте, гражданин бывший царь, — сказал Авдеев, засунул котлету в рот и стал жевать.

С минуту царь неотрывно смотрел на Авдеева, отодвинул стул и вышел из-за стола. Вслед за ним вышли императрица, дети, доктор Боткин, горничная Анна Демидова.

— Ну и плевать на вас! — сказал, усаживаясь, Авдеев. — Ходите голодными. Нам с тобой, Мошкин, больше достанется!

Мошкин хохотнул, тоже взял котлету рукой и целиком отправил ее в широко разинутый рот.

Почему-то не Авдеев, а именно Сашка Мошкин вызывал у Марии чувство отвращения. Ей хотелось именно сдернуть его с забора или зажать ему рот так, чтобы он не мог долго дышать — за то, что этот рот изрыгает такие вонючие ругательства.

— Свеча догорает, — сказал государь.

— Ничего, до рассвета недалеко, — доктор Боткин поправил пенсне, вытер платком свою крепкую шею.

Он не мог при государе и государыне находиться в нательной рубашке, поэтому надел верхнюю, а она была из плотной хлопчатобумажной ткани, и доктор потел.

— Идите спать, мне уже не больно, — сказал Алексей, хотя боль продолжала пульсировать в том месте, где после ушиба образовалась опухоль. Поймав взгляд матери, он добавил: — Больно, но совсем немного.

— Я посижу с Алешей, — сказала Татьяна. — Мне все равно не спится.

— Позови меня, если все же захочешь поспать, — сказала Ольга и встала: — И ты постарайся заснуть, Алеша.

Он кивнул и смотрел, как догорает свеча, как, погружаясь во тьму, меркнут родные любимые лица.

Глава вторая. Мамка

12 июля 1918 года

Государь лег на свою постель, уверенный, что уже не уснет до утра.

Но, как это часто стало с ним происходить в последнее время, перед внутренним взором стали появляться какие-то лица, из другого, совсем незнакомого мира.

Вот появился генерал Алексеев. Кто бы мог подумать, что этот человек, которому он доверял в военных делах больше всех, тоже окажется предателем! Нет, неслучайно его глаза косили, неслучайно он избегал встретиться со взглядом государя… Предал.

Ах, да что же это? Сейчас все пройдет, он, кажется, засыпает…

Но кто это улыбается ему?

Это лицо как будто знакомо…

Да-да, конечно! Это хорошее лицо он знает, помнит…

— Правда, помнишь? — спросила женщина, радостно улыбаясь.

У нее от краешков глаз к вискам побежали морщинки, и на белом гладком лбу тоже обозначилась морщинка. Но особенно памятной была ямочка на подбородке, и соболиные брови, и русые волосы, уложенные на голове корзинкой, поверх которой был накинут узорчатый платок.

— Ну, узнал? — она смеялась, зубы были ровные и белые, хотя государь знал, что ей теперь под семьдесят.

— Да какая разница — семьдесят или восемьдесят! Жива, видишь! А я-то как рада тебя видеть! Слава Тебе, Господи, сподобил!

— Да как же это… Мамка, тебя же к нам на Рождество приглашали? И на Пасху, и на именины…

— Это хорошо, что не забыл. А вот и сейчас пригласили. Радость, радость-то какая! Ты ведь и представить не можешь, что значит простой женщине к царю прийти!

— Да почему же не могу? И, во-вторых, ты вовсе не простая женщина, а мамка! Разве ты не знаешь, как мы рады, что вас отец к нам привозил?

— Как не знать. Твой батюшка — всем царям царь. Кто так свой народ понимал? — лицо мамки стало серьезным. — Может, кто и понимал, но твой батюшка знал, что кормить молоком детей царских должны русские мамки. А то как же? И выбирал он правильно — как раз нас, архангельских, поморских. Наши крови как раз самые русские и есть. И молоко разве у наших женщин не для таких ли вот, как ты, царь-государь?

— Да-да, разве я спорю? Моя жена сначала ни за что не хотела, чтобы наших детей вскармливали мамки, все сама старалась…

— Я знаю. И не осуждаю, мне ли осуждать! Все же и ей наши мамки помогли. Вот твои-то родители, отец-батюшка в особенности, знали, что от нас-то сила и идет. А как любили-то нас,

как привечали! И всем — царская милость на всю жизнь.

— Это я все знаю, — сказал государь. — Ты все же лучше скажи, как сюда-то пришла?

— Да чудесным образом, разве нужно объяснять? Надо мне тебя было повидать, вот Господь и сподобил.

— Вот как… Я рад, конечно, но все же…

— Что?

— Ты пришла… Просто повидаться?

— Ну да, — она опять широко улыбнулась.

Сидела она на стуле, напротив государевой постели. Белый столп света лился на ее белое льняное платье, на узорчатый плат, на лицо, на сияющие радостные глаза.

— Разве плохо повидаться-то?

— Это… Напоследок?

— Ну что ты, что ты! — она махнула на него рукой. — Чего придумал. Давно не виделись, вот и все.

— Нет, мамка, не все! — он тихо улыбнулся, взял ее теплую, мягкую ладонь и приложил к щеке: — Ты ведь сама говорила, что я понятливый, смышленый. Поэтому и любила, а? Знаю, знаю, тебе все детки царские дороги, но все же меня выделяла? Я ведь чувствовал, когда вы к нам приезжали на праздник… И как ты на меня глядела, и как по голове гладила…

Дети ведь такой народ — они все чувствуют. Только не говорят, потому что взрослые запрещают… А вот теперь я могу тебе все сказать. Ты рада — и я рад.

— Если хочешь знать, — она погладила его по волосам, словно он снова стал мальчишкой, — я тобой всегда гордилась. И не потому, что мне счастье выпало тебя грудью вскормить. А как узнавала я твои царские дела, так сердце радостью и окатывало.

— Да что ты, мамка… Меня ведь кровавым назвали. И отречься принудили. Я будто победе прийти не давал. Бабником и пьяницей объявили…

— Не надо. Ну чего ты? Будто я не знаю, какой ты? Да ни на минуту у нас никто и никогда ничему такому не верил. Я тому радовалась, что ты всегда по совести поступал. Плакала, конечно, когда у тебя горе было. А то как же! Враг человеческий, он что? Он как раз на Божьих людей и наступает.

— Так ты… все же к Божьим людям меня относишь?

— Конечно. Иначе разве бы я пришла?

— А может… просто утешить? Чтобы я не плакал?

— Ты всегда держать себя умел и без меня. Они разве видели слезы твои? Сами рыдали, когда ты с ними прощался, вспомни-ка… Когда из ставки-то Могилевской уезжал…

— Да разве ты там была?

— Я с тобой всегда была.

— Да как это возможно? Разве ты мой Ангел Хранитель? У меня Николай Угодник, и в день Иова Многострадального я родился…

— Как будто я не знаю. Специально про этого Иова у нашего священника отца Прокла все в подробностях расспросила. А только не нам судить, где кому быть.

— Да, разумеется, — согласился государь. — Скажи… ты… там?

Она улыбнулась светло:

— Да ведь благодаря тебе!

— Правда?

— Истинная.

— Ах, как я рад! Даже не рад, это не то слово…

— А ты не ищи слова. Я по глазам твоим все вижу. Ну все, пора мне. Вот ведь как славно поговорили!

— Погоди, мамка. Ну что тебе стоит еще здесь побыть? Это мне нельзя, а тебе…

— А мне — тем более.

Он встала, повернулась и, продолжая улыбаться, растаяла в белом столпе.

Государь протянул вперед руки, но свет собрался в узкую полоску, потом превратился в светящуюся точку, которая, быстро удаляясь, улетела через окно.

Глава третья. «Американская гостиница»

13 июля 1918 года. День

Наверное, «Американской» эту гостиницу назвали потому, что она претендовала на самый последний шик. Бывшие ее владельцы — банкирская семья Поляковых, одна из самых богатых на Урале, — стремились ко всему «новому и передовому», но все равно «отстали от времени», не влившись в большевистскую Россию и удрав с капиталами в ту самую Америку, которой они так подражали, живя на Урале.

В гостинице была «стильная» кожаная мебель, множество разнообразных светильников — торшеров, бра, люстр, настольных ламп. В ресторане устроили новинку — бар с крепкими напитками, навешали картинок с американскими красотками и ковбоями в широкополых шляпах, и гостиница стала пользоваться в городе успехом.

Советская власть содрала все эти картинки, бар переделала во входную комнату с охраной для проверки пропусков, а в некоторых номерах, из которых вытащили кровати, установили столы, сейфы и организовали кабинеты чрезвычайной следственной комиссии.

В других номерах жили теперь не буржуи, которые проматывали здесь сумасшедшие деньги,

тискали девиц и напивались до бесчувствия, а те чекисты, которые крепко взяли власть в свои руки и решили удержать ее любой ценой.

В эту ночь они собрались как обычно в самой просторной и шикарной комнате, где некогда был кабинет и «теневая» комната для особых приемов у Лазаря Полякова. Посреди комнаты стоял громадный дубовый стол на тяжелых, тумбообразных ножках, покрытый первоклассным зеленым сукном. Теперь оно было в пятнах, местами прожжено папиросными окурками и пеплом. Стены были обиты светло-зеленым китайским шелком с нежно-золотистыми, как бы штрихом намеченными цветами. Но тут и там на шелке были пятна и дыры — от спин тех, кто не сидел на стульях с высокими готическими спинками за самим столом, а грубо опирался о стены, а то и вытирал руки об эти нежные обои.

К громадному дубовому столу был приставлен стол — небольшой, но тоже первоклассной работы — для председательствующего, со всей присущей подобным столам атрибутикой.

Председательствовали двое — Белобородов и Голощекин.

Внимание всех собравшихся было сосредоточено не на председателе областного Совета Белобородове, а на Шае Исааковиче Голощекине. Он личный друг Свердлова, только что был в Кремле, наверняка видел и Ленина, потому что они знакомы еще по Пражской конференции 1912 года. Тогда, если бы не Шая, не быть победе ленинского крыла — Шая умело вел защиту Ильича от обвинений в узурпации власти. Шая наверняка привез последние инструкции. Шая главный, поэтому он слегка усмехается в рыжеватые, коротко стриженные усы, поглаживает бритый подбородок, щурит подслеповатые глаза, оглядывая сидящих за дубовым столом. Волосы у Шаи расчесаны на пробор, жидковаты, но хорошо вымыты, поэтому пушисты, не достают до плеч, как хотелось бы, но все же выглядят, как и положено руководящему революционеру. Такому, как, например, вождь Лейба Бронштейн, которого правильно стали называть Лев Троцкий, ибо он и есть «Лев революции». Шаю никто не смеет называть Шаей. Он «товарищ Филипп», таков его партийный псевдоним. Так же, как Белобородов Александр Георгиевич, а не Янкель Вайсбарт, Петр Войков, а не Пинхус Вайнер. Псевдонимы нужны для того, чтобы рабочий класс не чувствовал их чужаками. Они должны быть своими — лидерами среди своих. Что поделаешь, если на роли лидеров у русских так мало толковых людей, как верно заметил Ленин. Поэтому они, евреи, берут бразды правления в свои руки, ведут русских туда, куда и нужно — к победе мировой революции, во главе которой встанет избранный Самим Богом еврейский народ. Он выполнит то, к чему шел веками — установит свою власть над всем подлунным миром. Поэтому да здравствует мировая революция, смерть царю, смерть православной вере, смерть России, которая стояла в этой вере. Россия — поле для эксперимента, как правильно определил «Лев революции». И пусть летит в пропасть миллион голов! Если понадобится, то мировая революция будет — будет и желанная победа самого стойкого, самого умного народа в мире — народа иудейского.

Этим узким кругом в семь человек они уже собирались в апреле, приговорив царскую семью к казни, а сегодня собрались, чтобы определить, как конкретно это произойдет. Шая покашлял в кулак, давая понять, что Белобородов затянул со своим вступлением.

— Слово товарищу Филиппу! — поспешно сказал Белобородов.

Голощекин кивнул. Стоило ему встать, как сразу выпятился вперед тучный живот. Недаром за глаза ему дали прозвище Брюхатый.

— Товарищи, нам выпала историческая миссия — стереть с лица земли сатрапа России и ее народов. Руководство партии и страны и лично товарищи Свердлов и Ленин возложили на нас

эту миссию. Сейчас мы должны решить, как ее осуществить. Решить не только в главном, но и продумать детали, потому что слишком велика ответственность нашего дела.

Шая начал революционную деятельность еще в пятом году, когда окончил зубоврачебную школу. Рвать зубы всю жизнь ему показалось чрезвычайно скучным, и он решил рвать царскую власть, чтобы добиться того, чего нельзя добиться ни учебой, ни долгой служебной карьерой. Он быстро овладел навыками боевика, два года отсидел в Петропавловке, потом, уже из Нарымского края, бежал за границу. Вот там-то он и познакомился со Свердловым и Лениным, и после конференции в Праге стал членом ЦК. Теперь он обладал не только навыками боевика, а, главное, навыками оратора, овладев революционной лексикой, бросая в массы лозунги и призывы, которые запоминал, слушая Троцкого, Ленина, Стеклова (Нахамкиса), Зиновьева (Апфельбаума) и других выдающихся вождей революции.

— Ваши предложения по уничтожению, Яков Михайлович, как коменданта «Дома особого назначения»!

Юровский встал, одернул френч. Френч был из хорошего сукна, офицерский, в нем было жарко, но Янкель знал, что он должен на этом историческом заседании выглядеть, как и положено главному исполнителю исторической миссии, как хорошо сказал Шая, товарищ Филипп.

— Вместе с товарищами Лукояновым, Ермаковым, Вагановым и Медведевым мы обсуждали вопрос о методе уничтожения.

— Методе? — переспросил Голощекин. — Вероятно, способе?

— Способе, пусть будет по-вашему, — Юровский с трудом сдержал раздражение.

Он считал себя умнее Шаи: во-первых, учился в еврейской школе «Талматейро» при синагоге. Пусть не закончил, но учился же! Был часовщиком и имел в Томске свою мастерскую. Потом увлекся фотографией и стал фотографом. Во время войны окончил фельдшерскую школу — это о чем-то говорит!

Просто Шае повезло подружиться за границей со Свердловым и Лениным, поэтому он и выдвинулся.

Ничего, когда он осуществит историческую миссию, еще посмотрим, кто какое место займет!

— Товарищ Ермаков предлагает собрать всех в одной комнате и взрывами двух-трех гранат закончить дело. Но так как взрывы гранат, во-первых, наделают много шума, во-вторых, могут снести стену дома, смелый план товарища Ермакова, поддержанный товарищем Вагановым, мы отвергли.

Все посмотрели в сторону чекиста Петра Ермакова, верх-исетского военного комиссара. Это он вместе с Медведевым набирал внешнюю и внутреннюю охрану дома. Медведев был начальником всей караульной команды, несшей охрану как на внутренних, так и на внешних постах при коменданте Авдееве. После безобразий и, главное, постоянного пьянства, команду Авдеева убрали. Затем набрали новую, но Медведев был оставлен в ней — это он донес Ермакову о безобразиях, и, как казалось Павлу Медведеву, «послаблениях», которые в последние дни сделал царской семье Авдеев. Внешность Ермакова была особенной — взглянешь на такого человека и уже никогда не забудешь.

Волосы прямые, как пакля, до плеч. Нос приплюснут, в глазах, маленьких и глубоко

посаженных, застыло выражение напряженного внимания. Как будто он однажды увидел что-то особенное, и взгляд застыл, стал одним и тем же на всю жизнь. Может быть, это случилось после того, как он по заданию партии совершил теракт. Ему надо было «пришить» одного полицейского, который слишком надоел революционерам — был сообразительным, поэтому арестовал многих подпольщиков.

Ермаков не только убил полицейского, но и отрезал ему голову ножом, который специально приготовил для теракта. Когда его спросили, зачем он это сделал, Ермаков спокойно ответил: «Для надежности». — «Но можно было убить ударом ножа в сердце или выстрелить из револьвера», — возразили ему. «Нет, вдруг бы он выжил. Если голова отрезана — дело сделано наверняка».

С тех пор Ермакова причислили к самым отважным боевикам, поручали ему трудные расстрельные дела. Но даже среди боевиков его сторонились, а выпивали и разговаривали только по необходимости.

Юровский, узнав о Ермакове, немедленно взял его в помощники — именно такой человек был ему нужен.

— Поступило и другое предложение, — продолжил Юровский после реплики Ермакова, — гранаты можно аккуратно бросить, и стены не разрушатся. Еще одно неплохое предложение — придушить всех подушками ночью, во время сна. Но тут есть неудобство. Заключенных (считая прислугу и доктора) — одиннадцать человек. Наберем ли мы команду из одиннадцати человек, если учесть, что приступить к делу надо одновременно, чтобы прикончить всех? Есть ли у нас столько людей, способных выполнить такое, прямо скажем, непростое дело? Могут возникнуть возражения: почему не расстрел? Объясняю: это надо сделать без шума, чтобы в городе не начались беспорядки. Поэтому мое предложение — действовать по плану товарища Ермакова, но несколько его изменить, то есть ночью, но не в одной комнате, а каждого убить в своей. Вот план дома.

Бывшие царь, царица, наследник — вот здесь, в угловой комнате верхнего этажа. В смежной — четыре княжны. Далее по коридору, в маленькой комнате, — горничная Анна Демидова. Доктор Боткин спит вот здесь, в гостиной, рядом с комнатами семьи. Это второй этаж. На первом, вот здесь, на кухне, — повар Харитонов и поваренок Седнев, камердинер Трупп, — он усмехнулся. — Да, такая фамилия. Посты расставлены надежно: четыре пулеметных, в том числе и на колокольне Вознесенской церкви, в шести комнатах нижнего этажа, у всех входов и выходов. Это внутренняя, самая надежная, охрана. Внешняя находится в двух будках у дома и в доме Попова по Вознесенскому переулку — вот здесь. Так что все продумано в деталях.

Юровский, блестя маслянистыми глазами, выпрямился и оглядел собравшихся, которые сейчас сгрудились у плана дома. Тщательно вычерченный план лежал на зеленом сукне, на толстой картонной бумаге.

— Яков, ты не сказал самого главного. — Голощекин с удивлением посмотрел на Юровского, — А действовать-то как?

— Вот именно, — Вайнер (Войков) по кличке Интеллигент, поскольку образование он получил в Женеве, снисходительно усмехнулся: — Слона-то ты и не приметил!

В Россию Войков вернулся вместе с Лениным и другими революционерами в запломбированном вагоне, который пропустили сквозь фронты, — свергать царя, превращать «империалистическую войну в гражданскую», как призывал Ленин.

— Минуточку, я ведь недоговорил, — уже не сдерживая раздражения, ответил Юровский. — Действовать будем хорошо наточенными штыками. Они бьют наверняка и бесшумно. Кроме того, охрана, состоящая из солдат германской и австрийской армий, обучена действовать этим надежным оружием.

— Я целиком поддерживаю план, — сказал Ермаков, и его остановившиеся глаза стали злобными и решительными, будто он уже занес штык, приготовившись резать царя, — так он решил про себя.

Скрипя начищенными сапогами, Войков отошел к своему стулу, сел, закурил.

— План хорош, — сказал он в своей обычной покровительственной манере. — Такая великолепная резня. Вот только интересно, Яков: а как это вы будете орудовать в темноте? Ведь если включите свет, все сразу проснутся. Пойдете на них в штыковую, а они подушками станут защищаться. Или еще чем… Что подвернется под руку. Ну, например, медным подсвечником. Или там кочергой — это у повара… тоже неплохое оружие… швабра у камердинера…

— Прекрати, Петр, — оборвал его Гершель Сафаров, заместитель председателя Совета Белобородова. — Твой план с побегом тоже был хорош!

Гершель Сафаров был ядовит, как змея. Он и выдвинулся потому, что умел в споре больно ужалить своего соперника, подметив его слабую сторону. Умел Гершель и ловко, как бы от самого сердца, похвалить начальство и даже вознести его на некий, сразу всем видимый пьедестал. Беспрерывно восхваляя Белобородова, крайне самолюбивого и жаждущего власти, Гершель добился того, что стал заместителем председателя Уралсовета и фактически руководил Белобородовым, подсказывая ему действия.

Гершель, как и Войков (Вайнер), учился в Женеве. В Россию ехал вершить революцию все в том же запломбированном вагоне вместе с Лениным, Голощекиным и другими руководителями революции, которые не только получили немецкие деньги, но и прямиком были доставлены в Россию.

— Письмо от имени царских офицеров было составлено и написано идеально… Я не виноват, что царь не клюнул… Просто оказался умнее, чем мы думали…

Письмо было доставлено в пробке от молочной бутылки. Оно было написано Вайнером действительно хорошо, и государь почти поверил в то, что семью хотят освободить. Но, одевшись и приготовившись бежать, государь все же понял, что приготовлена ловушка и что их всех перестреляют при попытке к бегству, если они ночью попробуют выйти из дома.

— Какие будут предложения? — спросил Белобородов, нервно закуривая. — Повторяю: мы сейчас должны решить, как действовать. Товарищ Лукоянов?

Федор Лукоянов официально считался председателем ЧК, но когда присутствовал Юровский, Лукоянов занимал место члена комиссии. Лукоянов до ЧК был всего лишь студентом, не имел таких заслуг перед партией и революцией, как Юровский. Но его выдвинули на пост председателя, потому что он был бескомпромиссен в решениях, не менее жесток, чем Янкель и Шая, был сообразителен, как Сафаров.

Да и говорить он умел, зажигая массы. «Пусть он будет среди наших», — решили Белобородов, Голощекин и Юровский. Еще он нужен как представитель коренных русских для видимого руководства. А Ермаков и его помощники — кронштадтский матрос Ваганов и казначей

Никулин — пригодятся как исполнители дела, умеющие и стрелять в упор, и резать.

Были еще и другие «деятели», как полупрезрительно называл их Пинхус Вайнер, — окружной военный комиссар Анучин Сергей Андреевич или заместитель председателя ЧК Сахаров Валентин Аркадьевич. Но эти не в счет, их решили на это секретное совещание не приглашать.

— Я думаю, товарищ Ермаков прав, — твердо сказал Федор Лукоянов. — Все, кто подлежит уничтожению, должны быть в одной комнате. Только давайте определим, где.

— Вот здесь, — показал на план Сафаров, — это фактически подвальное помещение, потому что дом по Вознесенскому переулку резко опускается вниз, и комнаты первого этажа по факту — как подвальные.

Все присутствующие сразу поняли, что Сафаров прав. Видимо, он изучил положение комнат лучше, чем даже комендант.

— Комната удобна тем, что она выходит в переулок, окно одно, выстрелов почти не будет слышно. Только мы используем не гранаты, дорогой товарищ Петр, так как мы будем биться с врагом не в открытом поле. Мы выберем надежное оружие революционеров — револьвер. Самой испытанной системы — наган. Одиннадцать револьверов — по одному на каждого из врагов.

Маленькое лицо Сафарова стало бледным, глаза с белесыми ресницами приняли решительное выражение. И теперь было видно, что этим худым маленьким человечком овладела страсть к убийству царской семьи наиболее сильно, чем остальными. И Юровскому, и Голощекину, и всем присутствующим понравился план Сафарова. А слова Гершеля придали революционную возвышенность моменту. Да, план хорош — загнать всех именно в угловую подвальную комнату и там разом всех прикончить.

— Комната мала, но, пожалуй, подойдет, — сказал, глядя на план дома, Юровский. — Можно пригласить их всех туда, скажем, для переезда в более безопасное место в связи с положением на фронтах.

— Трупы будет удобно выносить — здесь ворота и калитка рядом. Поставим машину во дворе, — размышлял Голощекин.

— Так, Янкель?

— Так, — подтвердил Юровский. — И пусть работает мотор, чтобы заглушал выстрелы.

— А где будут находиться бойцы? Это что? Жилые комнаты? — Войков ткнул пальцем в план.

Палец у Пинхуса длинный, с аккуратно подстриженным ногтем. Пинхус Войков (Вайнер) — областной комиссар снабжения. Он занимал роскошный особняк, очень любил шик, на который нагляделся, учась в Женеве. За любовь к роскоши Войков неоднократно подвергался критике, но привычки свои все равно не менял.

— Да, это жилые комнаты. И здесь отлично разместятся бойцы, которым мы предоставим честь выполнить историческую миссию, — сказал Белобородов.

Он всегда так — выслушает всех, а потом принятое решение выдает вроде бы как свое.

— Люди уже подобраны, — Голощекин не хотел выпускать бразды из своих рук.

— Командует как комендант Яков. Его помощники — Ермаков, Никулин, Ваганов, Медведев. С этим вопросом все?

— На окно завтра поставлю двойную решетку. Усилю посты, — сказал Юровский. — Шофер будет Сергей Люханов. Револьверы поручим собрать Павлу Медведеву. Вопрос второй: уничтожение тел. Докладывай, Петр.

Ермаков встал. Смотрел как будто на Белобородова, но на самом деле куда-то в пустоту.

— Я, как вы знаете, верх-исетский. Местность знаю хорошо. Обследовали с товарищами дорогу на деревню Коптяки. Выбрали место подходящее — заброшенные рудники. Там шахты в стороне от дороги. Называется урочище Четырех Братьев. Четыре сосны там росли, я их с детства помню, потому как в Коптяки ходил и ездил много раз. Туда трупы и отвезем.

— Ты, вроде, говорил Ганина Яма? — спросил Юровский.

— Да, так место называется. Где был рудник, это немного дальше Четырех Братьев. Там трупы и спрячем.

— Сделать надо так, чтобы никто и никогда их не нашел, — быстро сказал Голощекин. — Такова твердая инструкция центра. Потому как темная часть русского народа быстренько может соорудить из врагов своих героев. Все вы знаете о так называемых святых мощах. К ним эти темные люди и ходят на поклонение, говорят, что мощи исцеляют. Несознательный народ очень любит мучеников.

— И, сверх того, возводит их в святые, — добавил Войков. — Поэтому вопрос стоит очень серьезно — о коренном уничтожении тел.

— Как это — «коренном»? — спросил Ермаков.

— То есть о таком, чтобы их никто не нашел, — опять объяснил Голощекин.

— Мой отряд — все верх-исетские, места знаем получше вас, женевских. Выбирали всем отрядом. Вы что, мне не доверяете?

— Петр успокойся, — Белобородов понимал, что «женевец» Войков зря наседал на Ермакова — тот обидчив и быстро свирепеет. — Лучше скажи, как во время движения автомобиля с телами будет организована скрытность этого движения? Каковы посты и где они будут находиться?

— Вопрос дельный, — согласился Ермаков. — Мой отряд конными и пешими перекроет дорогу в Коптяки и к Четырем Братьям. Если кто сунется, скажем, что военные маневры.

— Хорошо! — согласился Белобородов. — Людей у вас достаточно?

— Вполне. Надо только назначить хорошую плату.

— Само собой, товарищ Петр, — опять иронически сказал Войков. — Я полагаю, что бойцам «Дома особого назначения» выдадим по 400 рублей. Бойцам вашим, товарищ Петр… поменьше?

— Это почему? — возмутился Ермаков. — Если хотите знать, работа моим предстоит более тяжелая.

— А вот это ты зря, Ермаков, — быстро возразил Лукоянов. — Вся работа, которую мы

проводим по уничтожению царских палачей, — революционная в самом глубоком смысле и одинаково трудная. Вся — вот от этого нашего заседания, которое уже становится историческим, до самого последнего шага, который мы совершим. Телеграфировать в центр будете вы, товарищ Белобородов, как председатель Уралсовета. Конечно, телеграмму надо бы сохранить для истории, но поскольку мы действуем в столь опасное время, когда враг близок, следует блюсти особо строгую секретность. — Он сделал паузу. — Конечно, следовало бы слугу, повара и доктора отпустить, но свидетели, пусть и косвенные, могут навести на следы…

— А поваренок Седнев тоже свидетель? — спросил Войков.

— Свидетель. Но что такого он может сказать? — Лукоянов развел руки в стороны. — Ничего практически.

— Пожалуй, отпустим его. Как считают другие?

— Я бы не отпускал, — сказал Ермаков.

— Все же мальчишка. — Голощекин старался не смотреть в сторону Ермакова. — Принимаем?

— Принимаем, — за всех ответил Белобородов.

— Завтра утром, — он посмотрел на часы, — нет, уже сегодня в девять утра начнем заседание облсовета. И проведем это решение. Выступить надо всем. Если будут сомневающиеся… Толмачева подготовить, чтобы он картину на фронте обрисовал ярко, как военный комиссар… Пусть скажет, что другого выхода у нас нет, потому что враг возьмет Екатеринбург. О времени проведения операции… Яков, продумайте этот вопрос с Ермаковым… после того, как еще раз разведаете место уничтожения тел.

Наступила тишина. Стало слышно, как отсчитывают время напольные часы.

Каждый из присутствующих осознал, что ему предстоит сделать.

— Я думаю, пару дней на подготовку хватит, — сказал Юровский. — Назначим срок сейчас, чтобы действовать быстрее. В ночь с шестнадцатого на семнадцатое. Ровно в 22 часа.

Опять повисла пауза, опять стал слышен ход часов. — Принимается, — сказал Белобородов.

Он достал из кармана большой платок, вытер потную шею. Все заметили, что руки у председателя Совета тряслись.

Глава четвертая. Пятидесятый псалом

13 июля 1918 года. День

Государыня поставила подушку почти вертикально, привалив ее к спинке кровати, — так удобнее голове. Главное, чтобы не было приступа мигрени. Если начнется, придется мучиться до ночи, а бывают приступы и длиннее, пока она не забудется сном, обессиленная.

«Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое».

Пятидесятый псалом она знает наизусть. Совершенная, мощная по духу, отлитая в чеканную форму песнь Давидова.

«Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся».

Когда она стала учить русский язык, он ей давался трудно, и это сильно огорчало ее. К новой встрече с женихом ей как раз и хотелось удивить его знанием русского языка, но она продвигалась вперед слишком медленно. А тут еще Элла, старшая сестра, сказала, что надо знать не только русский, но и богослужебный язык — церковнославянский. Элла (так звали домашние старшую сестру Аликс Елизавету) вышла замуж за великого князя Сергея Александровича, который был очень хорош собой и боготворил свою возлюбленную. Сразу было видно, как они счастливы, как подходят друг другу, как они выделяются даже на фоне блестящего русского двора, где столько красивых дам и кавалеров, где все так прекрасно одеты, где сверкают золото и драгоценности, белозубые улыбки и голубые глаза.

Элле все давалось легко, и Аликс (так ее звали дома, в дармштадтском дворце великого герцога Людвига, ее отца) невольно восхищалась сестрой, а про себя думала, что у нее так, как у Эллы, никогда не получится.

Когда Элла решила перейти в Православие, отец не отринул ее, хотя высказал резкое суждение в письмах и тяжело переживал эти дни. Аликс это видела. А как он воспримет известие, что она выйдет замуж за русского престолонаследника? Ведь ей тоже необходимо будет перейти в Православие.

Но как это все произойдет, она не знала. Элла успокаивала сестру, говорила, что все придет само собой, что Господь все управит, потому что Аликс и Николай женятся по любви. Жених будет ждать целых десять лет, добиваясь ее руки, не пойдет на поводу у родителей, дождется своего часа, когда в сердце его избранницы зажжется ответная любовь, когда отец благословит их брак.

Она не предполагала, что все так произойдет, что этот скромный мальчик с огромными серо-голубыми глазами, легкими, пушистыми усиками, которые еще не знали бритвы и только начали пробиваться на нежном, поразительно приветливом и располагающем к себе лице, что этот мальчик и станет ее суженым. Ей и в голову не могло прийти, что мальчик окажется столь волевым, упорным, проявит такую настойчивость и будет продолжать ухаживать за ней, хотя никаких поводов она для этого не давала.

Впервые они встретились, когда великий князь Сергей и Элла венчались. Ей представили Николая как наследника русского престола, и она отметила, что наследник слишком юн и слишком, пожалуй, хрупок для того, чтобы быть царем такой огромной державы, как Россия. Вот его отец — это другое дело. Он огромен, могуч и будет жить сто лет, не меньше. Впрочем, мысли эти мелькнули и тут же исчезли.

Уже тогда было видно, что она станет красавицей — лебединая шея, царственная осанка, чудесные золотистые волосы с красноватым отливом… Недаром бабушка, английская королева Виктория, уже тогда поняла, что внучка ее будет королевой или, по крайней мере, великой герцогиней. И хотя старшую, Эллу, она любила не меньше, бабушка прозорливо видела, что Эллу ждет не такая судьба, как Аликс.

Аликс забыла бы о русском цесаревиче, если бы он не подарил ей великолепную золотую брошь с бриллиантами. Таких дорогих подарков ей никто никогда не дарил, и она растерялась, не зная, что сказать. Брошь была такая красивая, желание приколоть ее к парадному платью было так велико, цесаревич смотрел на нее так трогательно своими огромными прекрасными глазами, что она сделала книксен, улыбнулась ему и поблагодарила. И он улыбнулся ей. Он был таким хорошеньким, что ей захотелось поцеловать его в щечку, но она, конечно, этого не

сделала. Дети великого герцога были воспитаны в правилах строгих, и не столько немецких, сколько английских, потому что воспитанием детей занималась английская принцесса Алиса, а после ее смерти — бабушка, королева английская, у которой Элла и Аликс часто и подолгу гостили.

Аликс прибежала к отцу, показала брошь.

— Слишком дорогой подарок, — сказал Людвиг IV.

Он был высок, осанист, но за большим покатым лбом, который должен был обозначать глубокий ум, скрывались лишь готовые формулы, усвоенные по догмам Лютера.

— Такой подарок может обязать к продолжению отношений совсем в ином роде. Ты понимаешь? Эти русские не знают цены ни вещам, ни деньгам. Верни брошь.

Аликс послушно вышла из кабинета отца, с трудом отыскала Николая, потому что уже начались танцы, а те, кто не хотел танцевать, были в саду или на террасах дворца.

— Папа не разрешает мне принять ваш подарок, — сказала она и увидела, как он густо покраснел и потупил глаза.

— Но почему? — тихо спросил он.

— Папа не объясняет своих решений, — и она, опять сделав книксен, ушла, оставив его одного на узкой терраске с коробочкой в руках, в которой лежала на черном бархате такая прекрасная брошь.

Аликс и сейчас, спустя тридцать три года, лежа на этой жесткой кровати, прислонив голову к неудобной подушке, в комнате этого душного тюремного дома видела мальчика Николая, такого растерянного и до боли трогательного. Она улыбнулась. Непонятно, почему ей вспомнились сейчас те далекие счастливые дни. Потом она подумала, что слишком понятны приготовления тюремщиков — смена охраны, усиление караула. Одного посадили на деревянном диванчике в коридоре, который отделяет комнаты второго этажа от гостиной и столовой. Угрюмый охранник, латыш, за целый день не произнес ни слова, хотя и Маша, и Настя обращались к нему.

Духоту особняка тяжело переносят все, даже добрейший повар Иван Михайлович Харитонов. Главари новой охраны не лезли обедать за одним столом с царской семьей. А этот новый комендант, Юровский, разрешил монахиням приносить только молоко и яйца, все остальное запретил.

Он не верил, что Алексей болен — сам ощупывал его ногу и однажды сжал ее так, что мальчик закричал.

Евгений Сергеевич Боткин кинулся защищать Алешу, но Юровский и сам отошел, сверкнув глазами. Уходя, он сказал: «Придуриваться не позволю!» — и сунул под нос Харитонову волосатый кулак. Иван Михайлович отстранился, едва не выронив тарелку с рисовой кашей, которую приготовил больному наследнику из остатков крупы.

Юровский ушел, а в глазах Ивана Михайловича Аликс увидела безысходность и обреченность.

«Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене».

Когда она возлюбила Истину, то есть Бога, тайные премудрости псалмов и языка открылись ей. Сначала она слушала церковное чтение и песнопения и ничего не понимала, кроме красоты и возвышенности самой музыки. Музыка была созвучна строю ее души, воспринималась и запоминалась легко, волновала до слез, но о смысле песнопений она лишь догадывалась, уже зная порядок молитв и песнопений вечерни, утрени и литургии, которая в России называлась еще обедней.

Уже любя Николая, уже понимая, что он предназначен ей Самим Богом, она боялась, что сфальшивит, принимая Православие, и горячо молилась, чтобы русская вера вошла в ее сердце без всякого принуждения. И как же она была поражена, когда однажды, встав на утреннее правило и открыв молитвослов, где молитвы были написаны на церковнославянском, вдруг стала читать свободно, а главное — понимая суть каждого стиха молитв! Это было так поразительно, что она не стала искать тексты переводов на английский и русский, потому что церковнославянский открылся перед ней сам собой, о чем и говорила Элла. Прав оказался и Николай, когда сказал, что церковнославянский — это колыбель русского языка. Поняв его, откроешь очень многое в значении современных русских глаголов.

Об этом он говорил еще совсем молодым, в Петербурге, когда она приехала навестить сестру. Ее поразил и сам Петербург, и его дворцы, в особенности Зимний, когда был прием у императора Александра III.

Это было через пять лет после свадьбы Эллы, Аликс шел тогда восемнадцатый год.

Фигура ее уже оформилась, она была так красива, что Николай остановился, как вкопанный, когда увидел ее в Зимнем. Он спускался по лестнице, а она стояла рядом с сестрой на площадке, чуть поправляя прическу перед громадным овальным зеркалом.

— Ники, что же ты застыл, иди сюда! — весело сказала Элла и улыбнулась.

Никто из фотографов, художников не мог запечатлеть этой улыбки, и спустя годы Николай понял, в чем тут дело — земному не передать небесное.

Аликс такой не была. Ее красота, яркая, земная, запечатлевалась — кроме, разве, взгляда тоже неземных серо-голубых глаз.

— Аликс, это же Ники! Ты его забыла? Он был на моей свадьбе, помнишь?

— Помню! — она тоже улыбнулась.

Аликс сразу вспомнила о броши, отметила, что Николай возмужал, усы стали густыми и шелковистыми, появилась бородка. Она очень идет ему — мягкая, чуть волнистая, чуть отливающая золотом. А глаза остались такими, как прежде. Она еще в Кобурге обратила внимание, что они по цвету точно такие же, как у нее и у Эллы, будто он брат им.

— Нас звал папа. Можем встретиться позже, если хочешь, в зимнем саду.

— Меня тоже звал папа, — ответил Николай. — Вероятно, совпадение.

Но никакого совпадения не было, это сразу поняли все, когда император сказал: «Дети мои!» — и стал угощать сладостями, которые были приготовлены за чайным столиком.

Он был огромен, сидел в специально сделанном для него кресле, но и оно с трудом вмещало его. Аликс он казался сказочным богатырем, и она верила, что он удержал на своих плечах

крышу вагона, когда поезд, нырнув в лог, проломил рельсы и сошел с них, а вагоны стали налетать друг на друга и рушиться. Крушение поезда произошло в Беларуси, у станции Борки. Об этом писали все газеты мира, в том числе и немецкие.

Если бы крыша вагона упала, погибла бы вся царская семья, в том числе и наследник, вот этот красивый юноша, который сразу отводит глаза, стоит лишь ей посмотреть в его сторону.

Потом ей сказали, что это по милости Божией стены вагона сошлись так, что держали крышу, а не только император Александр своими могучими плечами; но и при дворе, и во всем народе твердо верили, что один император держал крышу вагона, как атлант держит своды неба.

Император говорил мягким басом, продолжая улыбаться. Его широкие усы, окладистая густая борода, открытый покатый лоб, большой, но не обманно, как у Людвига IV, а на самом деле означающий глубокий ум и государеву мудрость, — все располагало к себе.

Душа его, как и ум, были видны сразу же — и по взгляду, и по тем простым словам, которые он произносил.

— Знаешь, Аликс, я, когда в первый раз тебя увидел, сразу понял, что ты будешь красавицей. Оно так и вышло. И представь, рад этому не только я, а многие, кто здесь присутствует.

— Папа, — попробовал вставить слово Николай, но отец и не думал останавливаться.

— Что «папа»? Разве ты не рад, что Аликс вышла такой красавицей? Представь, Аликс, мы его прочили в женихи французской принцессе, а он даже и глазом не моргнул, то есть отнесся к нашему предложению совершенно равнодушно. И заметь, Аликс, что Ники послушный, даже очень послушный сын, — император совершенно свободно говорил по-английски, он знал, что дочери Людвига предпочитают этот язык всем остальным.

Он свободно говорил и по-французски, и по-немецки, еще сносно знал датский, потому что его избранницей стала принцесса датская София Фредерика Дагмара, теперь русская императрица Мария Феодоровна. Такое же блестящее образование он дал и своим детям, прежде всего старшему сыну Николаю, который рос, ничем не огорчая отца, кроме, может быть, излишней деликатности, которую, как знал император, можно легко принять за робость.

— В отличие от вашего папа, дорогие мои Элла и Аликс, я не настаиваю на выборе родителей, а считаю, что дети сами вправе распорядиться своей судьбой. При том, однако, непременном условии, что вы должны проверить свои чувства. Требуется время. Верно?

— Да, конечно, — сразу же согласилась она и улыбнулась, хотя слова, сама манера разговора русского императора были очень непривычны, как и весь его внешний вид, как и этот роскошный дворец, с которым и Версаль, наверное, не сравнится. Как и сама эта страна — огромная, великая, пред которой их крохотное герцогство с дворцом, скорее похожим на большой зажиточный немецкий дом, кажется просто-напросто карликом. Но с каким вниманием, с каким почтением и даже любовью относятся и к Элле, и к ней! И как прямо говорят — без намеков…

Она опять поймала на себе взгляд серо-голубых дивных глаз. Он не хочет жениться на французской принцессе…

— Аликс, я хотел бы, чтобы Ники показал тебе нашу северную столицу. И я был бы искренне рад, если бы ты побывала хотя бы на одном нашем богослужении. Знаешь, Ники назван в честь святителя Николая, Мирликийского чудотворца. У нас его зовут Николаем Угодником и любят

больше других святых, это я смело могу тебе сказать. Я даже и сам не знаю, почему. Русский народ считает, что он самый скорый помощник во всех начинаниях и делах.

И, представь, существуют десятки, если не сотни историй о том, что наши простые люди видели его живым, что он в образе простого сельского старичка входил в их дома и устраивал все, о чем они просили… Да-да, в самом деле так, Николай тебе все расскажет о своем небесном покровителе. Вы бы поездили по городу, ну хоть по Невскому, например. А потом на службу…

— В Исаакий или в Казанский?

— Эти соборы она и так посмотрит. Вы лучше идите в храм поменьше, где больше простого народа бывает… Ну вот хоть в Никольский… Знаешь, Элла?

Великая княжна Елизавета Феодоровна все поняла. Как же он умен и глубок, этот великий русский царь! При нем государство процветает, потому что он знает — сила народа в его вере. А в Никольском храме величие и простота слиты нераздельно, как в самом императоре Александре.

По взгляду Эллы государь понял — она обо всем догадалась.

— Ну вот что, Аликс, я тебе скажу. Ни в одной европейской стране не сыскать тебе ухажера, у которого двое именин в году, как у нашего Николая.

— Двое именин? — удивленно переспросила Аликс.

Видя это удивление, Александр раскатисто рассмеялся.

Встреча с отцом Ники была короткой, как и та, прощальная, в Ливадии, но запомнилась навсегда.

«Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззакония моя очисти».

Куда они поехали тогда с Ники от Зимнего? По Невскому. Да, она помнит. А как ехали потом? Кажется, в Александро-Невскую лавру, потом куда-то еще, а потом оказались в Никольском соборе. Они встали на правом клиросе, откуда хорошо был виден и величавый иконостас с Царскими вратами, и своды храма, и столпы, на которых были изображены неведомые Аликс святые.

Все здесь было непривычно для Аликс — наполовину англичанки, наполовину немки. По сравнению с немецкой кирхой или англиканской церковью православный храм казался слишком пышным, изукрашенным, как громадная драгоценная шкатулка.

И одеяние у священника было слишком красивое, и утварь слишком богатая — много золота, серебра, бархата, атласа, жемчуга. Для чего все это?

Разве Богу недостаточно одной смиренной, идущей от сердца молитвы? А зачем такой огромный, в несколько рядов, иконостас, более величественный, чем у католиков? Ну иконостас в Генте, написанный Ван-Дейком, — это шедевр искусства (она видела его в альбоме), а здесь что? Иконы красивые, но почему их так много?

Хор поет торжественно, величаво… Вот справа от нее, из боковой двери, с золотым кубком в руке, покрытым зеленой, расшитой золотыми нитями салфеткой (это был Потир со Святыми

Дарами, накрытый покровцом), медленно идет священник. Впереди него — мальчик с большой свечой в подсвечнике и дьякон. Потом идут священники с крестом и какими-то ритуальными предметами (это были лжица и копие). Священник что-то говорит… Она слышит прошение ко Господу за царя, за всех, потому что весь народ хором отвечает: «Спаси, Господи!» Священник и его помощники уходят, врата закрываются…

Чей-то прекрасный голос взмывает к самому куполу. Ему вторят другие, столь же прекрасные голоса. Но первый, который ведет, поднимается все выше и выше… Выше купола, к самому небу. Господи, да это лучше, чем «Аве Мария» Шуберта! Нет, «лучше» не то слово! Возвышеннее — вот как надо сказать…

Здесь нежность и мощь одновременно, это она поймет потом. А сейчас Аликс чувствует, что сердце ее плывет на волнах песнопения, как легкая белая лодка под белым парусом, устремляясь к белым облакам, плывущим по ясному голубому небу.

И своды храма, и столпы, и иконостас, и священник в своем облачении — все как раз и подходит к этому небесному пению. Аликс чувствует, как теплые слезы сами собой катятся по ее щекам.

Она не знает, почему плачет, почему ей так хочется опуститься на колени, как это сделали и Ники, и Элла, и все люди, молящиеся в храме.

Песнопение окончилось. Она полезла в сумочку за платком и увидела светлый, радостный взгляд Николая. Она ответно посмотрела на него — открыто и с благодарностью.

День по милости Божией выдался прекрасным. Отвесно падал белый-белый снег. Ни ветерка, а морозец легкий, радостный, теплый.

— Так почему у тебя два раза в году именины? — спросила она уже в карете.

— Потому что есть Николай зимний, а есть Николай летний. Один праздник — в день, когда он почил, другой в память о перенесении его мощей из Мир Ликийских, что в Передней Азии, — в Бари (это городок на юге Италии).

— Я теперь побольше хочу узнать о святом Николае, — сказала Аликс. — Ты поможешь мне в этом, Элла?

— Поможет Ники — у него, наверняка, много книг о своем небесном покровителе. Скажи, а тебя ведь тронула православная служба?

— Да, очень. Особенно, когда они пели о Херувимах… И еще когда обращались ко Господу…

— Это после «великого входа». Я тебе потом расскажу, что это означает.

Карета остановилась у входа во дворец. Они вышли из нее, остановились на ступеньках. Снег продолжал падать отвесно, и Аликс подставила ему свое лицо, ладони:

— Какой чудесный снег!

Она улыбнулась Николаю и протянула ему руку ладошкой вверх. На ладошку падали снежинки. Он осторожно взял ее ладонь снизу и поцеловал. Ладонь была теплой, мягкой, родной.

— Я никогда не забуду этот день, — сказала она.

И сейчас, почти через тридцать лет после той встречи, она снова почувствовала на щеках те же теплые слезы.

«Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей», — прочла она про себя стихи пятидесятого псалма.

Глава пятая. «Машкины блюдца»

14 июля 1918 года. Утро

Мария слышала, как в комнату вошла Татьяна. Вот скрипнула кровать — значит, легла.

«Как она умеет все запоминать, — подумала Мария о сестре. — Я бы обязательно ударилась о стол или стул свалила… Который сейчас час? Скоро, должно быть, рассвет. Что сегодня надо сделать? Во-первых, поговорить с папа об этом охраннике, который лазил в сундук».

Сундук стоит в коридорчике, у двери в комнату горничной Анны. Во время прогулки, когда на верхнем этаже никого не было, Мария осталась дома — у нее разболелся живот. Она выглянула из комнаты, чтобы посмотреть на часы, висевшие на стене в гостиной, и увидела, что охранник роется в сундуке.

Воровство началось при Авдееве, но после того, как папа все высказал коменданту, тот вынужден был приструнить подчиненных, хотя и оскорбил отца, назвав его «заключенным, не имеющим прав». Новый комендант «навел порядок», но оказалось, что и эти бойцы революции умеют воровать.

Охранник вытащил из сундука женские ботинки и, рассмотрев их, сунул в заранее припасенный мешок. Когда он вновь полез в сундук, Маша потихоньку подошла к нему и сзади похлопала по плечу.

— Това-а-рищ, — насмешливо сказала она.

«Товарищ» вздрогнул и испуганно посмотрел на Марию. У него было желтое нездоровое лицо. Под глазами — обвисшие складки. Он был худой, высокий, и сейчас, согнувшись, оказался лицом к лицу с Марией. Осознав, что перед ним девушка, он справился с испугом и улыбнулся, показав желтые зубы. Приложил палец к губам, просипев: «Т-с-с!»

Маша показала пальцем на мешок, а потом на сундук.

Охранник отрицательно покачал головой и помахал ладонью, показывая, чтобы Маша уходила. Крышку сундука он не закрывал.

Тогда Маша, вынув из мешка охранника ботинки (это оказалась обувь государыни), положила их в сундук и закрыла крышку. Навесила замок и защелкнула его.

Охранник, придя в себя, достал из кармана полинялых брюк отмычку, показал ее Марии и снова открыл замок.

Гимнастерка и ремень на охраннике были то ли австрийского, то ли немецкого образца. Такие же гимнастерки были и на некоторых других солдатах охраны. Большинство же из них были одеты кто во что — в рубашки и пиджаки, гражданские брюки и галифе (кому что досталось из

«трофеев»). Но у всех на поясах висели бомбы, в руках были ружья. У некоторых еще имелись наганы. Говорили они на разных языках. Камердинер Алексей Егорович Трупп, поляк по происхождению, родился и вырос в Латвии. Он сказал, что среди охраны есть латыши. Евгений Сергеевич Боткин, который практиковал и в Петербурге и в Москве, сказал, что среди охранников есть чехи и мадьяры. Немецкую речь знали многие из узников. Таким образом, стало понятно, что комиссар Юровский специально набрал «интернационал», чтобы они не разговаривали с заключенными и между собой.

Мария не знала, кто по национальности охранник и на каком языке к нему обращаться. Поэтому она продолжала вести с вором немой разговор. Улыбнулась и показала, что хочет посмотреть отмычку. Он тоже улыбнулся, спрятал отмычку в карман и снова полез за ботинками государыни.

В это время послышались шаги. Охранник поспешно закрыл сундук. Опять приложил палец к губам и прошипел: «Т-с-с!»

Сразу рассказать отцу об этом инциденте она не решилась. Но сейчас, на рассвете, обдумывая план на грядущий день, Мария решила, что высокого солдата с отмычкой она выведет на чистую воду. Сколько вещей разворовано из подсобных помещений, которые находятся во дворе, не сосчитать. Об этом узнали от повара Харитонова — кухня находилась на первом этаже, и Иван Михайлович частенько выбегал во двор по разным делам и не мог не заметить, что там творится. При коменданте Авдееве не только воровали, но и пьянствовали, добыв за украденные вещи деньги, а потом купив самогонки.

Юровский твердо пообещал, что воровства и пьянства не будет. Обещал, что не будет и матерщины, и похабных частушек, которые авдеевские молодцы орали, напившись и забравшись на забор, — как раз напротив окна комнаты княжон, чтобы, значит, они лучше слышали.

Частушки, и вправду, прекратились, зато бранные слова слышали теперь не только на русском языке.

«Во-вторых, — думала Мария, — сегодня надо закончить вышивку. Потом…»

А вот что делать потом, она решительно не знала. Конечно, в течение дня какие-то дела найдутся. Но они такие мелкие. Они придумываются лишь для того, чтобы скоротать или даже убить время. Потому что они в заключении. И этот дом мало чем отличается от тюрьмы. Даже рукоделие прежде носило совсем иной смысл. Их вышивки, кружевные скатерки, рисунки продавались на благотворительных базарах и вечерах. Деньги шли на нужды госпиталей, приютов имени государыни и великих княжон.

Конечно, когда они работали сестрами милосердия в военных госпиталях и не только убирали помещения или ухаживали за тяжелоранеными, но ассистировали хирургам (этим занимались мать, Ольга, Татьяна и она, Мария), было тяжело. На базарах и вечерах — радость и праздник, улыбки и смех, а в госпиталях — стоны и вопли, пот и кровь, отрезание изувеченных рук и ног.

Но когда она уже научилась, как мать и старшие сестры, не бояться ни крови, ни развороченных частей человеческих тел с выпирающими костями и мясом, словно на скотобойне, ни гнойных ран, которые надо было промыть и забинтовать, когда вечером, ложась в постель и закрыв глаза, она снова видела и раны, и искаженные болью лица, она все равно чувствовала не ужас и отвращение, как в первые дни дежурств, а усталость труженицы, без которой не могут обойтись страждущие люди.

Один случай в госпитале запомнился ей особенно. В палате, где она делала перевязки, на глаза ей попался молоденький солдат. У него была прострелена нога под коленом.

Глаза солдата цвета полинявшего голубого ситца глянули на Марию с такой кротостью и тоской, что у нее невольно вырвался тихий вскрик. Голова у солдата была круглая, волосы сбриты, он походил на мальчика, которого несправедливо наказали.

Мария любила говорить не только с ранеными, но и со всеми, кто ей встречался, неважно, из какого сословия попадался ей новый знакомый — из дворян, купцов или простолюдинов.

Заговорила Маша и с этим солдатом, спросив, как обычно, откуда он, как его зовут и как ранило.

Солдатик отвечал крайне неохотно и прятал тоскливые глаза.

— Да что его спрашивать, ваше высочество, Мария Николаевна, — глухо сказал солдат с соседней койки, раненный осколками снаряда. — Самострел. Это самый натуральный предатель Родины и трус!

— Как самострел? — не поняла Маша. Прежде она о таких не слышала.

— А это те, кто в себя стреляет. Разве вы не знали? Чтобы подлечиться и по ранению уйти домой.

Мария на минуту перестала снимать бинты с ноги раненого. Ноги были худыми и короткими — не вышел ростом солдат.

— А вот я его не очень-то и виню, — сказал с другой койки темноволосый, курчавый и, видать, бойкий человек. — Потому как, видать, ему шибко домой надоть. Вы уж извиняйте, ваше высочество. А что в деревне у нас некому хлеб убирать, все хозяйство без мужика как есть в опустошение пришло — так это факт.

— Ежели мы все орудия побросаем, чё ж тогда будет? — спросил первый, кто начал разговор. — Я вот ранения принял в бою, царя и Отечество защищая. А этот? Не стоит он ваших забот, Мария Николаевна!

Мария сняла окровавленный бинт, промыла рану — она была запущена. Пот выступил на лбу самострела, он откинулся на подушку и застонал.

— Потерпи немного, сейчас легче будет. Рана-то у тебя запущена, как следует обработать надо.

— Так к нему, как привезли, считай первая вы и подошли — сказал кучерявый. — У нас тут эвон сколько народу, и все герои, вроде вон того, — он кивнул на курносого, широколицего пехотинца, который первым заговорил с Марией.

Курчавый был из питерских мастеровых, на фронт попал в команду обслуживания орудий. Но по рождению он был псковским крестьянином.

Обработав рану, Мария стала готовиться к перевязке.

— Ну все, все! — сказала Мария. — Зачем ты себя так? Неужто дома так плохо?

Раненый откинул голову на подушку. Из глаза, который видела Мария, выкатилась слеза.

— Маманя помирает… А папаня год как умер. Брата Митрия убили, а сестер у меня трое…

— И у меня сестер трое, — сказала Мария и поняла, что невпопад. — Сестры у тебя маленькие?

— Старшей десять…

— Вот видите, — сказал мастеровой, внимательно слушающий разговор. — Положеньице-то у него какое? Да один он, что ли, такой?

— По крайности у нас один, ваше высочество, — сказал курносый пехотинец. — А что с нами возитесь, наши раны врачуя, за это вам от нас великая благодарность!

Закончив бинтовать самострела, Мария, по примеру матери, вынула блокнотик с карандашиком и записала фамилию, деревню, из которой призвали в армию этого солдатика.

— Выздоравливай скорее! — сказала она. — А я через наш комитет семье твоей постараюсь помочь.

Теперь Мария занялась курносым пехотинцем. Здесь дело обстояло тяжелее — раны были на груди, руке, ногах.

— Всего изрешетило, — сказал пехотинец. — Только я все одно поправлюсь и снова пойду в бой! Не как этот слабак, которому вы вздумали помочь, ваше великокняжеское высочество. Его все равно судить должны трибуналом. Я бы таких на месте расстреливал. Из-за них мы и не можем так долго немчуру одолеть. Но все одно одолеем, — он дернулся, потому что Мария проверяла состояние раны на груди.

Государыня вместе с дочерями окончила медицинские курсы. Анастасия, которой к началу войны было 13 лет, тоже прошла курсы, но ее работа сводилась к выполнению простых поручений — уходу за больными. Однако уже само присутствие этой милой, скорой на ногу девочки, улыбчивой, задорной, похожей на птаху, залетевшую в дом и без испуга разглядывающую новую для себя обстановку, — одно ее присутствие благотворно действовало на раненых и у многих вызывало добрые улыбки.

Старшие сестры допускались, как императрица, к ассистированию, а чаще других — Мария. Теперь, на второй год войны, ей шел семнадцатый год, и она лучше, чем старшие сестры, работала у операционного стола — без страха относила отрезанные у раненых части тела (ноги, руки), и вид ужасных ран не пугал ее. И руки у нее не дрожали, и сил у нее было больше, чем у Ольги и Татьяны.

— Это хорошо, что вы такой мужественный, — сказала Мария пехотинцу. — Но ведь вы помните, что сказал Христос: «Не праведных Я пришел спасти, но грешных». Как же не следовать Его словам?

— А если, скажем, нет никакого Христа? — вступил в разговор еще один раненый, который находился рядом с мастеровым.

Это был студент, которого выгнали из университета за участие в беспорядках. На фронт он попал по заданию партии социал-демократов, членом которой состоял.

— А если, скажем, наука неопровержимо доказывает, что никакого бессмертия нет, а есть живая плоть и кровь? Человек рождается, живет, стареет, умирает. Или его насильственно калечат ради своих интересов правящие классы — вот как калечат и убивают на войне всех

нас. Вот и все. Тут арифметика, даже не алгебра!

— Вы человек ученый, сразу видно, — Мария закончила бинтовать пехотинца и перешла к мастеровому. — Скажите, господин материалист, отчего вы радуетесь, плачете, смеетесь? Или души тоже нет?

— Конечно, нет. Это все выдумки поэтов. Есть рефлексы, вот и все.

— Я читала, читала! — Мария засмеялась. — Это у Тургенева так Базаров говорит, роман «Отцы и дети». А вот вы когда последний раз Евангелие читали?

— Поповских книг не читаю.

— Почему «поповских»? Евангелие есть в каждой семье. Вот у вас разве нет? — обратилась она к мастеровому.

Этому немецкая пуля угодила в бок, и перевязывать его было трудно — бинт Маша протаскивала под туловищем, и мастеровому приходилось приподниматься. Мария видела, что каждое движение приносит раненому боль.

— Есть, — с трудом ответил он.

— Вот видите? Теперь так. Вот, например… о помощи падшим… Ну о той, которую за блуд камнями забить хотели, все помнят. Или о Марии Магдалине…

Мария думала, о какой притче или событии земной жизни Христа следует сейчас напомнить. В ее сознании как бы перелистывались страницы Евангелия.

Сейчас бы Ольгу сюда или Татьяну! Они Священное Писание знают и помнят в сто раз лучше, чем она. Неужели ничего не вспомнится? Неужели она ничего вразумительного не сможет сказать ни этому студенту, который смотрит на нее насмешливым взглядом, ни мастеровому, ни крестьянину-пехотинцу? Но самое главное — «самострельному» солдатику с кроткими скорбными глазами… «Господи, помоги и вразуми!» — молилась Мария.

— Вот, например, о начальнике мытарей Закхее, — вдруг вспомнила она, и глаза ее заблестели.

Палаты раненых находились в каменном доме с высокими окнами. Зимнее солнце ярко освещало комнату, и все хорошо видели Марию, ее серо-голубые глаза, улыбку на свежем девичьем лице. Она была в сером длинном платье из тонкого сукна, в такой же косынке, глухо закрывающей голову и шею, наподобие апостольника, как у монахинь Марфо-Мариинской обители милосердия, которую создала сестра императрицы Елизавета Феодоровна.

— Помните о Закхее, помните? — спросила она у студента.

— Каком еще Закхее? — раздраженно ответил он.

Евангелие студент читал давно, по принуждению, помнил из него лишь расхожие выражения. Даже «Отцов и детей», которых упомянула Мария, он помнил плохо, потому что учился на естественном факультете и к литературе относился как к предмету ненужному.

— Закхей. Это имя такое. Он был маленького роста, а чтобы видеть Иисуса, залез на дерево. Закхей был очень богат. Он хоть и маленький, да удаленький, — Маша улыбнулась, и невольно улыбнулся курносый крестьянин, который боялся, что княжна стушуется и не сможет достойно

ответить ученому студенту.

И мастеровой, и многие другие в палате тоже улыбнулись, слыша звонкий девичий голос, в котором было много искренности и еще чего-то такого, что сразу привлекало к себе.

— И надо сказать, — продолжала Маша, — что этого Закхея очень не любили в Иерихоне и в окрестностях города, потому что он был жадный и беспощадный к должникам. И вот Иисус, увидев Закхея сидящим на дереве, остановился. А шел Спаситель среди целой толпы народа, которая хотела Его видеть и слышать. Многие пришли в надежде на исцеление. И вот Христос говорит: «Закхей, скорее слезай с дерева, ибо Я буду сегодня обедать в твоем доме!» Все удивились: откуда Он знает, как зовут этого начальника мытарей? И как можно заходить в дом к такому человеку? Ибо, по закону фарисеев, нельзя было вступать в дома грешников. Но Иисус вошел в дом Закхея и трапезничал там, и вел с ним беседу. А когда Он уходил, Закхей упал на колени и сказал: «Раздам половину моего имения нищим. А кого обидел, воздам тому вчетверо!» Иисус ответил: «Ныне пришло спасение дому сему. Потому что Я пришел взыскать и спасти погибающих». Вот ведь как, вы понимаете? Вот чему Он учил всех нас. Вот что мы должны помнить. Ведь правда, правда?

Она так смотрела на бывшего студента, такая чистота исходила от нее, столько было надежды и веры в ее голосе, что он неожиданно для себя ответил:

— Правда!

Машины глаза сияли, они были огромны и прекрасны — недаром в семье их называли «Машкины блюдца».

Глава шестая. Невесты

14 июля 1918 года. Утро

Татьяна вслушивалась в тишину. У Алеши опять была беспокойная ночь, и она снова сидела у его постели. «Как же тяжело ему жить, — думала Татьяна. — Тяжелее всех. Потому что ему часто приходится вспоминать о своей болезни. Если бы он рос спокойным ребенком — ну хотя бы как Ольга! Но ведь он самый бойкий и резвый из всех нас. Даже Настя не может за ним угнаться, если он войдет в азарт. Да и может ли мальчишка быть иным? Может, наверное. Но только не Алеша, не Солнечный Лучик. Пусть Господь дарует ему если не полное выздоровление, то хотя бы избавит от постоянных страданий — каждый, даже незначительный, ушиб у него превращается в гематому. Происходит внутреннее кровоизлияние. Кровь очень тяжело свертывается. Боль нарастает, каждое движение становится мучительным, ушиб перерастает в опухоль. Тонкие, ломкие, как хрупкое стекло, сосуды долго не заживают. Гемофилия — так называется наследственная болезнь, которую он получил от матери. Она передается только лицам мужского пола. В роду Александры Феодоровны от гемофилии умерли ее брат и дядя. Ах нет, нет! Ведь кого Бог любит, того и наказует!

Кто бы мог подумать, что этот „дядька“, боцман Деревенко, окажется предателем?

Он был приставлен государем к Алеше следить, чтобы Лучик не ушибся во время игр. Он носил Лучика на руках, катал на санках с горки, а летом — на лодке. Казалось, не было в целом свете человека, который бы заботился о Лучике так, как боцман яхты „Штандарт“. За грубоватой простотой скрывались нежность и отцовская забота. Разве можно было представить, что все эти качества у боцмана исчезнут, как только ситуация переменится? В царский дом пришло страдание, и боцман сразу же стал другим.

Тогда в Царском Селе, в первые дни заключения, когда папа приехал с фронта уже не императором, боцман и проявил себя. В доме все были больны. Они с Ольгой уже переболели корью, могли вставать и ходить. Лучик мог играть, но был бледен и слаб. А Настя и Мария, помимо кори, заболели еще и воспалением легких».

В эти дни страдание наполнило весь дом, пропитало, казалось, даже стены дворца. Семья находилась под стражей, арестованная Временным правительством. Татьяна пошла в игровую комнату — проведать, как чувствует себя Лучик (ее попросила мама). Дверь в комнату была приоткрыта, и Таня увидела боцмана, который сидел, развалившись в кресле, спиной к двери.

— Ну-ка, принеси мне теперь паровоз! — приказывал Деревенко Алексею.

— Но я его уже приносил, — ответил мальчик.

— Сказано — неси!

Алеша принес паровозик из дальнего угла комнаты. Лицо его было бледным и испуганным.

— Теперь отнеси обратно!

— Но зачем, Дина (так Алеша звал боцмана)?

— Никакой я тебе не Дина, а Андрей Еремеевич. Повтори!

— Андрей Еремеевич, — прошептал Алеша.

— Громче!

Алеша выполнил приказание.

Татьяна быстро вошла в комнату и подошла к брату, взяла его за руку.

— Так вот вы как, Андрей Еремеевич!

Деревенко и глазом не моргнул.

— А ты как думала? Дальше, что ль, на вас спину гнуть? Нет уж, теперь мы над вами поцарствуем!

— Никто вас здесь не держит, Деревенко, — Татьяна прижимала к себе Алешу и, бледная, слабая после болезни, без боязни смотрела на боцмана. — Можете командовать в другом месте. А здесь вам никто не позволит!

Она хотела увести Алешу, но боцман преградил ей дорогу.

— Мне приказано революционным правительством следить за бывшим царенком.

— Если вы нас немедленно не пропустите, я стану кричать, — твердо сказала Татьяна.

Деревенко смотрел на княжну с ненавистью и злобой, но она выдержала этот взгляд и не отступила назад ни на полшага.

— Проклятое отродье, — скаля зубы, сказал Деревенко. — Вылитая мамаша!

Он не посмел задержать Татьяну, и она увела брата в комнату, где жила вместе с Ольгой.

Лицо Алеши было бледно-серым, в глазах скорбь — без слез.

— Зачем он так? — Алеша дрожал, как будто продрог на морозе. — Зачем он так со мной?

— Давай я тебя укутаю одеялом. Сейчас все пройдет!

Она завернула его, как маленького, в одеяло, прижала к себе.

Алексей понемногу успокаивался.

— Может, ляжешь? Поспи, а я посижу рядом.

— Не хочу. Скажи, почему папа теперь не император? Петр Иванович говорит, что теперь царя не будет. Это потому, что все стали такими, как Дина?

— Не все, Алеша. Это генералы предали.

— Почему?

В самом деле, почему? Они присягали, клялись в любви и верности. Все эти рузские, алексеевы, корниловы…

Позже она узнала — все до единого командующие фронтами, в том числе и дядя Николай Николаевич, требовали отречения. А дядя Кирилл Владимирович привел Гвардейский флотский экипаж, которым командовал, будучи контр-адмиралом Свиты, к Думе, чтобы выразить солидарность с революционерами. И красный бант на грудь нацепил…

— Мама сказала, что они все давно хотели, чтобы папа не был на престоле. Они тайно и долго готовили отречение, а в глаза лгали изо дня в день… И теперь, когда в Царское Село пришло страдание, одни сбежали, другие откровенно предали и злорадствуют… не хуже Деревенко…

— Деревенко тоже разные бывают. Ведь наш другой доктор, Владимир Николаевич, по фамилии тоже Деревенко. Но он не чета боцману, верно?

— Я понимаю, — ответил Алеша. — Но как же они будут без царя?

— Выходит, можно и без царя.

В комнату вошла Ольга. Во время болезни волосы им остригли, и они ходили в туго повязанных косынках, как будто их только что выписали из лазарета. Ольга исхудала, заметнее стали скулы, а глаза как будто увеличились. Она села рядом с Алешей, тревожно глядя на него. Алексей сказал печально:

— Ничего особенного. Просто Дина…

Татьяна рассказала о боцмане.

— Это как у Салтыкова, — сказала Ольга, — «Песнь торжествующей свиньи».

— Но он был такой добрый.

— Большинство оказались актерами. Получше Насти.

— Пусть актеры, — сказал Алеша. — Но вот ты, самая старшая и самая умная, понимаешь, почему они победили? Наш папа… а они сильнее?

— Нет, — твердо ответила Ольга. — Разве Иуда был сильнее Христа?

— Бога распяли, — тихо сказал Алеша.

— И даже Петр трижды Его предал, прежде чем пропел петух, — вспомнила Татьяна.

* * *

Алеша спит. Мама и папа тоже, кажется, спят — иногда слышно их дыхание.

Если так тяжело детям, то каково сейчас родителям? Все осуждают их. Все говорят и пишут, что рухнула прогнившая власть. Папа называют подкаблучником, развратником и пьяницей. Мама перестали называть Гришкиной бабой, зато при каждом удобном случае называют немецкой шпионкой, повинной в поражениях русской армии и гибели тысяч людей. Требуют суда. Суда требовало и Временное правительство, но он не состоялся. И теперь не состоится. Да и какая разница, будет суд или нет? Потому что идет Гражданская война.

Христа приговорили те же самые люди, которые пели Ему осанну.

Жаль, конечно, что счастливые дни пролетели так быстро. «А какие дни были самыми счастливыми?» — подумала Ольга. И сразу вспомнилось море, залитое солнцем. До самого горизонта переливаются и вспыхивают на поверхности воды золотые монетки. Какой простор, как легко дышится! И паровая яхта «Штандарт» скользит по воде легко и быстро, и пенный след остается за кормой. Они плывут по Черному морю в порт Констанца, где их ждут румынские король и королева. И румынский принц Карл, который просит руки Ольги.

На яхте все прекрасно, да и вообще жизнь на воде — это совершенно иная жизнь, нежели на земле. Утро начинается в восемь, и начинается так, что заряд бодрости вливается на весь день. Поднимается императорский флаг. Оркестр играет старинный марш времен Николая Первого. Весь экипаж стоит, замерев, равняясь на флаг. Все в белой форме, и папа в белой офицерской морской форме, которая так идет ему.

Сестры наблюдают подъем флага издали. Все они в белых платьях, в летних шляпках, Алеша стоит рядом с папа, тоже в матросской форме, серьезный и красивый.

Флаг поднимается выше и выше, свежий ветер развевает его, и сияет на солнце императорский герб на золотом полотнище. Музыка звучит все громче, все торжественней, и сердце трепещет от радости и полноты жизни.

Команда расходится по своим местам. Начинается день, полный разных занятий. Можно покататься на роликовых коньках — верхняя палуба ровная, море спокойно, и кататься так весело! За ними присматривают молодой мичман и боцман Деревенко. Мичману и самому хотелось бы покататься, да нельзя. Если княжны катятся слишком близко к перилам бортов, мичман бежит рядом, подталкивает девушек к середине палубы. А девушки убегают, смеются, катятся быстрее и быстрее, особенно Маша. За ней никто не угонится.

«Мария Николаевна, Мария Николаевна! — кричит запыхавшийся от бега мичман. — Нельзя так близко к борту!»

Маша обеими руками на лету ловит руки мичмана, кружит его и весело смеется. «Меня

покружи!» — кричит Алексей. Тут боцман начинает беспокоиться: он, боится, как бы Мария не выпустила рук брата. Но беспокоится он напрасно, потому что руки у Маши надежные.

После катания можно посидеть в плетеном кресле и полюбоваться морем.

Это только совсем равнодушному человеку неинтересно смотреть на море. Оно такое разное, в нем такое множество оттенков! Можно помечтать, можно пообщаться — на палубе или в кают-компании иногда возникают такие интересные беседы!

В тот раз, когда шли в Констанцу (моряки говорят «идем», а не «плывем»), Татьяна думала о замужестве. Потому что хотя официально не говорилось, что принц Карл сватается к Ольге, но все об этом знали. Ольга ни словом не обмолвилась о предстоящей встрече с принцем Карлом. Татьяне не терпелось поговорить с сестрой, узнать, что она думает. Ольга вела себя как обычно — была задумчива, читала, на вопросы отвечала коротко, а в затеях сестер если и принимала участие, то как-то формально, словно по обязанности. Ее надо было назвать Татьяной, потому что характером она походила на пушкинскую героиню. А великий князь Константин Константинович, генерал и поэт, который подписывал свои прекрасные стихи псевдонимом К. Р., назвал Ольгу «тургеневской девушкой».

Вечером были танцы.

С Татьяной танцевал Николай Петрович Саблин, капитан «Штандарта». Если бы Татьяну спросили, каким должен быть мужчина, она ответила бы: «Как Саблин!» Он строен, подтянут, форма всегда безукоризненно белая. От него исходит свежесть молодой, цветущей силы. Он предупредителен, но без заискивания и лести. Хорошо говорит — с ним всегда интересно. Лицо волевое, как и положено капитану. Он все умеет, все знает, к нему с искренним уважением относится вся команда. А папа и мама его просто любят. Вернее и надежнее Николая Саблина нет.

А как хорошо с ним танцевать! Рука его твердая и в то же время мягкая. Он танцует с Ольгой, Машей, но Татьяна знает, что он хочет танцевать только с ней. И она ждет, когда он подойдет, когда поклонится. Она протянет ему руку, улыбнется, и они начнут танец. Любимый, конечно, вальс. Она чуть касается пола пальчиками ног и, кажется, летит. Как Наташа Ростова на первом балу. А он — князь Андрей. Ах, если бы так! Если бы он действительно был князем, если было бы возможно соединить их судьбы! Но он из бедных мелкопоместных дворян, выучился, сделал блестящую карьеру. Но им все равно нельзя жениться. Даже если он полюбит ее, потому что она царевна, и муж ее должен быть из королевской или царской семьи.

Мама объясняла, что люди царского рода — особые, не такие, как все. Для них на первом месте стоит долг, служение Родине. И все человеческие желания и чувства должны быть подчинены только этому. Существует уклад царской жизни, и никто не может нарушить его. Пример показывают папа и мама. Например, когда Лучику было очень плохо и надежды на спасение уже не оставалось никакой, во дворце принимали каких-то важных гостей. Прием не прекратили, и мама осталась с гостями. Татьяна видела, как мама пробежала мимо, даже не заметив ее. Потом бежала от Лучика снова к гостям. Перед тем как войти в зал, с лица исчезла боль, и его выражение стало обычным, как будто ничего не случилось, как будто ее сын не умирал. Вот такое у мама было самообладание, так она исполняла свой долг! Лучика тогда спасли. Мама считала, что не доктора, а телеграмма Григория Распутина, в которой он сообщал, что все обойдется, Алеша будет жив. Так и произошло.

Татьяна во всем старалась походить на мама. И разве могла она хоть намеком показать, что ей очень нравится капитан Саблин?

— Вы отлично танцуете, Татьяна Николаевна!

— И вы, Николай Петрович!

Потом, перед самым ужином, выдалась минутка, когда они вдвоем оказались на палубе. Солнце уже купалось в море. Розово-красное, круглое, как шар.

— Вот выйдет замуж Ольга Николаевна, а потом вы. И не будет больше танцев.

— Почему?

— Потому что у вас будут свои заботы. И жить вы будете где-нибудь в Европе.

— Не знаю, Николай Петрович. И никто, кроме Господа, не знает.

— Все же, Татьяна Николаевна… Если будет надобность во мне, в моей жизни… Вы только позовите.

Он взял ее тонкую ладонь и нежно поцеловал.

Ах, Саблин, Саблин! Почему же и вы оказались предателем? Почему сбежали, когда пришла беда? Почему под такой прекрасной внешностью оказалась такая мелкая и жалкая душонка?

И все же воспоминания о «Штандарте» были самыми прекрасными. Потому что яхта — это море. А море огромно и бесконечно, как любовь.

О любви были мысли, когда шли на «Штандарте» в Констанцу.

— А что, если этот Карл тебе не понравится? — спросила Татьяна старшую сестру.

Ольга пожала плечами:

— Я не думаю о нем.

— Но почему, Оля? Завтра очень важный для тебя день. Решается твоя судьба!

— Ничего завтра не решается. Я уже давно все решила.

— Как решила?

— Не пойду замуж за этого Карла, какой бы он ни был раскрасавец.

— Но почему?

— Потому что я русская и никуда из России не уеду. Никогда.

— Оля, а если папа, — начала Татьяна после паузы, — будет настаивать?

— Нет, Таня. Никого из нас принуждать к замужеству он не будет, потому что он сам все это пережил. Разве ты не знаешь?

— Мама мне говорила, что он ждал разрешения отца десять лет. Дедушка один раз принял мама приветливо, а в третий ее приезд в Россию вообще не принял. И только в Ливадии, когда умирал, мама вызвали из Дармштадта.

— Я знаю. Вот так и надо жениться, как наши родители. И любить, как они любят.

— Но таких как папа и мама разве много?

Татьяна помолчала. Каюта у них была одна на двоих, они постарались сделать здесь все так же, как в Царском. В красном углу киот с иконами. Повесили на стены несколько фотографий в рамках, столик застелили кружевной скатертью.

— Скажи, Оля, а папа знает о твоем решении?

— Нет. Сейчас говорить рано. Я думаю, этот визит в Румынию нужен ему в государственных целях.

— Да, конечно, — согласилась Татьяна. — Знаешь, мне мама как-то сказала, что самые счастливые дни она провела в поместье на Темзе, в Уолтоне, когда стала невестой папа… После помолвки в Кобурге…

Татьяна была ближе всех детей к матери, а Ольга — к отцу. Сестры делились между собой тем, что рассказывали родители, каждой в отдельности. Чаще это были рассказы Татьяны, но и Ольга не скрывала от сестры самое главное — вот как тогда, на «Штандарте»…

В Констанцу прибыли солнечным утром. Все суда на рейде были расцвечены флагами, раздавался артиллерийский салют. Старик в раззолоченном мундире и статная дама в пышном платье, в шляпе с перьями — это румынский король Карл и королева Елизавета. Ее настоящее имя Кармен Сильва. В молодости она, наверное, была так же красива, как героиня новеллы Проспера Мериме и оперы композитора Жоржа Бизе. Сейчас она все еще хороша собой, хотя накрашена и напудрена очень обильно.

А вот и два принца — Карл и Фердинанд. У обоих черные напомаженные волосы, оба в мундирах. Лица смуглые, глаза черные. У Карла тонкие черные усики.

Он улыбается, приветливо и учтиво здоровается, чуть прикасаясь мягкими, красивыми губами к руке русской императрицы, потом целует руку Ольги.

Великая княжна ничуть не смущена, столь же приветливо улыбается принцам.

После молебна в соборе их ведут в прекрасный павильон, установленный в самом конце мола.

— Здесь я люблю слушать море, — сказала Кармен Сильва, — в одиночестве. Не правда ли, здесь находишься как бы между небом и морем?

Она говорила по-французски, но с акцентом, Татьяна сразу это отметила. Король тоже говорил по-французски, но еще хуже королевы.

И как же отличались речи русского государя — и по звучности, и по мысли, и по правильности построения фраз! Николай Второй одинаково превосходно говорил и по-французски, и по-английски, и по-немецки. С детьми он говорил только по-русски, с мама они говорили по-английски. Как потом поняла Татьяна, этот язык они выбрали в память о самых своих счастливых днях в усадьбе на Темзе, в Уолтоне…

И на военном параде, и на торжественном обеде, устроенном в честь приезда царских особ, Ольга была приветлива с принцем Карлом, который постоянно был рядом с ней.

Татьяна видела, что Ольга отвечает на его вопросы, улыбается ему. Они очень хорошо смотрелись рядом — сероглазая русская великая княжна и черноволосый, стройный румынский принц.

Всем было видно, что Ольга нравится принцу. Может быть, чувство станет взаимным?

К вечеру яхта «Штандарт» взяла курс на Одессу. Яхту сопровождали миноносцы, и когда солнце погрузилось за край моря, зажглись прожектора, световой стеной защищая яхту.

Звезд на темном небе было не счесть, они горели ярко. И так хорошо было стоять на палубе и смотреть то на лучи прожекторов, то на небо! Татьяна подошла к старшей сестре. Ольга, предупреждая вопрос, сказала:

— Он, кажется, хороший. И красивый, правда? И брат его Фердинанд славный… Он старался произвести на тебя впечатление, Таня.

— Ухаживал так трогательно. А ты, Оля…

— Я не переменила своего решения и уже сказала об этом папа.

— Он огорчился? Просил еще подумать?

— Нет, он сказал, что я вольна в своем выборе. И, кажется, даже обрадовался, когда я сказала, что из России никогда не уеду.

— А мама?

— Она сказала: «Устала и хочу скорее домой!»

— И все?

— Нет, еще просила, чтобы мы не занимались пересудами. Идем в каюту, а то наша мадам уже проявляет беспокойство.

Они ушли в каюту, прочли, как обычно, вечернее молитвенное правило и легли спать…

«Если бы Ольга тогда согласилась выйти замуж, — думала Татьяна сейчас, сидя у постели брата, — она не оказалась бы здесь, в заключении. И жизнь ее была бы совсем другой. Но Господь судил иначе…»

— Танечка, иди! — услышала она шепот матери. — Мне лучше, я сама, если что с Алешей…

— Хорошо, — Татьяна встала и, осторожно ступая, пошла в девичью комнату.

Глава седьмая. «Со святыми упокой…»

14 июля 1918 года. День

Протоиерей Иоанн Сторожев сидел в своем любимом кресле, поставленном сбоку от письменного стола. В окно косо падал луч солнца, освещая цветущую герань на подоконнике. Герань нынче очень хорошо цвела. Розовые цветочки, тесно прижавшись друг к другу, образовали гроздья соцветий, и они, освещенные солнцем, нежно алели.

В обычные дни отец Иоанн залюбовался бы раскидистой цветущей геранью, непременно

улыбнулся бы, прихлебывая чай из большой голубой кружки с его инициалами. Эта кружка была подарена батюшке к его юбилею прихожанами.

Но сейчас отец Иоанн видел и не видел цветущую герань, не ощущал вкуса замечательного чая с душицей и зверобоем, который приготовила ему матушка, и пил механически, смотря куда-то в пустоту.

«Почему так произошло? — в который раз спрашивал он сам себя. — Почему?»

День с самого утра не задался. И не потому, что отец Иоанн боялся идти служить в дом к царственным узникам. Однажды он уже служил там, в особняке инженера Ипатьева, которого лично не знал, но слышал о нем отзывы как о человеке вполне порядочном.

И в прошлый раз, и нынче к отцу Иоанну прислали какого-то малого в засаленной телогрейке. Если бы не винтовка на ремне и не пояс, охвативший телогрейку, на котором висела бомба с ручкой (потом отец Иоанн узнал, что такие бомбы называются гранатами), малого можно было бы принять за воришку с городского рынка.

— Это… зовут вас. К бывшим этим… царю.

— Как? — машинально спросил батюшка, сразу узнав малого.

— Это… к царю.

— Служить? А как именно, тебе не сказали? Какую службу?

— Это… — малый призадумался, потом улыбнулся, показав мелкие, уже подгнившие зубы. — Обедницу опять.

— Обедню или обедницу? — на всякий случай переспросил отец Иоанн.

Малый опять призадумался, а потом произнес:

— Сказано, что обедницу, и дьякон чтоб тот же.

— Ну хорошо, иди! Я сейчас соберусь, и мы с отцом дьяконом придем.

Малый ушел. Отец Иоанн вызвал дьякона Василия Буймирова, с которым любил и привык служить, и скоро они пришли к особняку Ипатьева, обнесенному двойным высоким забором.

Комендант Юровский еще с первой службы не понравился батюшке. Все в нем было отталкивающим: и мясистое лицо, и напомаженные густые волосы, которые, видать, плохо слушались гребня, и щегольские усы, и ядовито-нахальные глаза. Несколько раз Юровский повторил, чтобы не было никаких лишних разговоров, никаких движений и передач предметов. Только служба, как в прошлый раз.

Тяжкий осадок от разговора с Юровским прошел, когда отец Иоанн увидел царя и всю его семью.

В первый раз служба прошла очень хорошо. У царицы было сильное контральто, у великой княжны Татьяны — сопрано, у остальных детей голоса чистые, ясные. Царь подпевал приятным баском.

Вела пение царица. И отца Иоанна, и дьякона Василия не могло не удивить, что вся семья

составляла слаженный, прекрасно звучащий хор. А самое главное — семья молилась с искренним усердием, хорошо зная последование молитв, чтений и песнопений. Царица вступала как раз там, где нужно, а затем к ней присоединялись голоса детей, царя и доктора. То есть отец Иоанн понял, что он служил в семье набожной, понимающей суть и смысл каждой молитвы и песнопения.

Когда семья подходила к кресту, целование было искренним, и царь благодарил священника просто и сердечно.

После такой службы, казалось бы, волноваться нечего, но отец Иоанн почему-то волновался. Наверное, потому, что не готовился к еще одной встрече с царской семьей. Служить должен был другой священник.

Вот опять прислали малого, опять провели мимо охранников, через двор, потом по лестнице на второй этаж, где располагалась царская семья.

Гостиная разделялась с залом аркой. Царь стоял у правого проема. Он был в военной форме, с Георгиевским крестом на гимнастерке. Царь поклонился священнику и дьякону, и все, находящиеся в комнатах, поклонились, кроме Юровского. Тот сидел на подоконнике, свесив ноги. Он был во френче, черных брюках и до блеска начищенных сапогах.

Как и на первой службе, цесаревич сидел в кресле, за которым стояла царица. Алексей был в белой рубашке с открытым воротом, и отец Иоанн опять подивился белой коже царевича, его чистому лицу, на котором, точно на иконах древних мастеров, светились огромные серо-голубые глаза. Глаз царицы и великих княжон отец Иоанн рассмотреть не успел. Запомнились именно глаза цесаревича, его открытая беззащитная шея. Слово «беззащитный» почему-то сразу пришло ему на ум.

Все княжны были в белых кофточках и черных юбках. На царице — свободное лиловое платье.

Еще в гостиной, у самой стены, разместился высокий плечистый господин, сразу располагающий к себе: одет в добротную тройку, на носу пенсне. Сосредоточен, спокоен. Это доктор Боткин.

Отец Иоанн и дьякон Василий облачались в комендантской, где стояли кровати с неубранными постелями, захламленный грязный стол, на котором лежали недоеденные куски хлеба, колотый сахар, стаканы со спитым чаем. На стене висело чучело головы оленя, покосившиеся картины в рамах.

Запах в комнате стоял удушливый, тяжелый, так как окна были закрыты. Пахло потом и грязным бельем.

Священник и дьякон поторопились поскорее выйти из комендантской.

В гостиной отец Иоанн положил на небольшой столик Евангелие и крест. Дьякон Василий был строен, крепок, с курчавыми черными волосами, мягкой окладистой бородкой. Когда он служил, многие девицы приходили поглазеть на него и послушать его рокочущий мощный бас, который, перекатываясь волнами, несся по всему храму, особенно когда отец Василий заканчивал чтение Евангелия и, приложив его ко лбу, нес в алтарь.

Сейчас отец Василий уже затеплил угольки в кадиле, положил на них ладан, и когда зазвенели бубенцы на цепях кадила и запах ладана стал распространяться по залу и гостиной, отец Иоанн успокоился.

— Благослови, душе моя, Господа! — начал он обедницу.

От обедни она отличается тем, что в чине ее не содержится Евхаристического канона. Государь понимал, что причаститься им не дадут, потому что надо договариваться еще и об Исповеди. А Исповедь есть Таинство, и чекисту Юровскому при ней присутствовать нельзя. «Мало ли о чем вы можете договориться со священником во время исповеди, — откровенно сказал государю Юровский, усмехаясь. — Пробку-то от бутылки с молоком мы хорошо запомнили…»

Эта пробка была бумажной, а на бумаге — записка от якобы «верного офицера» — призыв к побегу. Письмо и всю затею придумал Вайнер (Войков), он и записку сам написал. Но затея провалилась, потому что государь догадался о ловушке чекистов — их целью было убийство узников при попытке к бегству.

«Иже Петрово приемый рыдание, приими и мое, Христе, покаяние и даруй ми согрешений прощение», — читал отец Иоанн.

Совершая каждение, он видел, как погружены в моление и государь, и царица, и дети. И сам отец Иоанн, как обычно с ним бывало в таких случаях, воспарял духом, ничего не неся в душе, кроме молитвы ко Господу. Тут с ним происходило то, что невозможно описать, и слова молитвы лились сами собой, без всякого принуждения.

«Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», — произнес отец Иоанн.

Дальше дьякон должен был прочесть кондак из чина панихиды, но отец Василий, в нарушение канона, вдруг скорбно запел: «Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих».

Батюшка услышал за спиной шум — все молящиеся упали на колени. И вдруг они тоже запели, хотя петь в этом месте не положено: «Идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание». И отец Иоанн вдруг понял, что и он поет вместе со всеми: «Но жизнь безконечная».

* * *

Вот и сейчас, сидя в любимом кресле, батюшка в который раз спрашивал себя: почему отец Василий запел, когда надо было читать?

Об этом он спросил у дьякона, когда они возвращались домой.

— Не знаю, — ответил тот растерянно. — Как-то само собой получилось…

— То есть ты заранее не думал, что в этом месте будешь петь? — допытывался отец Иоанн.

— Не думал.

— Но почему запел?

— А вы почему запели?

— Да и я не знаю, — тоже растерянно сказал отец Иоанн. — И все запели… да на коленях!

— Это, батюшка, знаете… наверное, свыше, а?

— Да, вот и я… — отец Иоанн как-то странно огляделся по сторонам, словно кого-то искал. — Ладно, прощай, отец Василий! Сегодня у нас что? Бессребреников Коему и Дамиана

поминали… А завтра? Ладно, я дома посмотрю! — и отец Иоанн направился к своему дому.

Он надеялся, что попьет чайку и успокоится. Но чай нисколько не помог. Грудь теснило, он почувствовал, что плачет.

— Да что с тобой, батюшка? — матушка, наблюдавшая за мужем из-за портьеры, отделявшей столовую от кабинета отца Иоанна, вошла к нему быстрой походкой.

— Да я…

Отец Иоанн уже не плакал, а рыдал.

— Батюшка, миленький, ну не надо, не надо! — она взяла его голову в руки и прижала к себе. — Ну что ты, что? Неужели не надеешься на милость Божию?

— Да как, как не надеяться? И на гнев его надеюсь! Призовет мучителей всех Господь к ответу, призовет! И пойдут они — все до единого — в геенну огненную на веки вечные!

— Пойдут, батюшка, пойдут! Они же кого под охраной-то держат? Помазанника Божия!

— Ох, тяжело мне, сердце рвется!

Рыдания не стихали, и он не знал, как их остановить. Все же взял кружку, которую протянула ему матушка, попробовал сделать глоток.

— Они, царь-то… и все… сами себя нынче отпели!..

— Как?

— А так! Василий запел «со святыми упокой», и все запели… и я…

— Запели?

— То-то и оно!

Он еще отхлебнул. Руки его тряслись, кружка ударялась о зубы. Матушка помогла мужу сделать глоток.

— А может, оно и хорошо! А то кто же их отпоет, если…

Они посмотрели друг другу в глаза и замолчали. Прожили они вместе уже больше тридцати лет и научились все понимать без слов.

— Значит… — начала матушка.

Однако отец Иоанн ее перебил:

— Они, выходит, поняли. Да и как не понять! Ты бы на коменданта посмотрела. Во время службы на подоконнике сидел. Только что не курил.

— Батюшка, давай я тебе другого чайку сделаю. У меня в шкатулочке запасец остался — «индейского».

— Ну давай «индейского», — отец Иоанн улыбнулся сквозь слезы, глядя на лицо жены, которое

он знал до каждой черточки.

Лицо это, с пухлыми щечками, с мягким округлым подбородком, с голубенькими, совсем детскими глазами, так и светилось добротой.

Отец Иоанн встал, вытер слезы, прошелся по кабинету, остановился у книжного шкафа со стеклянными дверцами. Он много читал, с семинарской скамьи откладывая копеечку, собирая деньги на покупку книг. Уже в академии, когда его переводили из одной кельи в другую, он таскал за собой большой чемодан, битком набитый книгами. Студенты над ним посмеивались, а он отшучивался, как мог.

Теперь, в зрелые годы, библиотека у него составилась превосходная.

Он раскрыл дверцы шкафа, еще не зная, какую книгу взять, что почитать. Лучше всего его успокаивало именно чтение.

В прошлый раз после службы он прочел в «Истории государства Российского» Карамзина о венчании на царство Михаила Феодоровича Романова и невольно отметил, что депутация из Москвы умолила мать Михаила отдать сына на российский престол именно в Ипатьевском монастыре Костромы.

«Господи, так они специально привезли их в дом инженера с фамилией Ипатьев? Чтобы, значит, династия царей Романовых закончила свой путь с тем же именем, что и начала? Заранее решили убить их именно здесь?»

Он взял том «Настольной книги священнослужителя», чтобы прочесть о святом Ипатии. Оказалось, что епископ Ипатий из города Гангры, что в Пафлагонии, был зверски убит разбойниками. Святого Ипатия очень любили христиане за праведное служение Господу, за проповеди, которые многих и многих привели ко Христу. Пафлагония была дальней провинцией Римской империи в Передней Азии. Еще отец Иоанн узнал, что разбойников подговорили убить епископа, когда он возвращался из поездки в один из приходов епархии.

«Разбойники его зарезали, — думал отец Иоанн. — А эти, чекисты, разве не разбойники? Святой Ипатий был епископом, а это царь… Убьют царствующего, разве устоит Россия? Сказано: „Не трогайте помазанников Моих…“ Они не понимают, что будет со всей страной, со всеми нами, если мы останемся без головы. Труп смердящий будет, вот что…»

Он поставил книгу на полку. Перекрестился, глядя на икону святого праведного Симеона Верхотурского.

«Им и надо убить такого царя, как наш… Он скольких прославил за свое царствование! Да за весь прошлый век не прославлялось в России столько святых, сколько при Николае Александровиче!»

И вспомнились ему дни, когда шли торжества, посвященные праведному Симеону Верхотурскому…

Отец Иоанн родился недалеко от Сарова и Дивеево. Он был счастлив, что святой Серафим подвизался на его родине. И вот теперь, уже служа в Екатеринбурге, выпало и ему самому участвовать в торжествах, связанных с памятью еще одного святого чудотворца, имя которого стало распространяться по России с такой же быстротой, как и святого Серафима.

Симеон Верхотурский не был священнослужителем и подвигов великих не совершал. Летом

ловил рыбу, зимой шил шубы для всех, кто имел в этом нужду. Жил жизнью уединенной, отшельнической, любуясь красотами реки Туры и величавых окрестных лесистых гор. Преставился он около 1642 года и был погребен жителями села Меркушино у приходской церкви во имя святого Архангела Михаила. Спустя 50 лет после этого гроб с мощами праведного Симеона стал восходить от земли. Жители Меркушино обрели его открывшееся нетленное тело. Это необычайное явление поразило не только меркушинцев, уверовавших в святость праведного. От святых мощей обильным потоком потекла благодать исцелений. Мощи были освидетельствованы митрополитом Игнатием со священным Собором, исцеления записаны. Затем мощи перенесли в Верхотурский монастырь. Исцеления продолжались и в XVII, и в XVIII веках. А в 1914 году отцу Иоанну Сторожеву предстояло возглавить крестный ход к святым мощам праведного Симеона, «Сибирской страны чудотворца».

Война помешала царю и его семье приехать на торжества, но в Верхотурье побывала великая княгиня Елизавета Феодоровна — старшая сестра императрицы.

Владыка Серафим, епископ Екатеринбургский и Ирбитский, благословил крестный ход ко гробу праведного Симеона из Екатеринбурга в Верхотурье. С иконой святой великомученицы Екатерины, которую в дар Никольскому монастырю нес отец Иоанн, двинулись от кафедрального собора по улицам Екатеринбурга с пением: «Спаси Господи, люди Твоя».

Сначала не так много шло людей с хоругвями, иконами, но чем дальше шли, тем больше становилось паломников. Точно ручейки с гор, втекали они в уже полноводную паломническую реку и пели, и молились с усердием праведному Симеону. И весть о том, что могучий крестный ход идет ко гробу чудотворца, опережая идущих, неслась впереди них. И всюду их встречали со слезами радости и русским хлебосольством.

И пришли к Верхотурью, и пение было столь мощное, сильное, что поднималось до самого неба, и видел их всех Господь, потому что сияло солнце, и яркая радуга опрокинулась дугой над монастырем.

«Да, — думал отец Иоанн, вспоминая эти радостные дни, — он, государь, стольких угодников Божиих возвеличил! Он и есть истинно православный государь. Оттого и лютуют силы безбожные… Господи, спаси и сохрани царя нашего! Неужто так мы прогневали Тебя, что нет нам прощения? Неужто позволишь убить его?»

Отец Иоанн стоял на коленях перед иконой Христа Спасителя, изображенного в полный рост. Христос шел навстречу и благословлял.

Пред иконой теплилась неугасимая лампада. На аналое лежало Евангелие, которое было подарено отцу Иоанну его отцом, тоже священником.

«А дети? — вдруг подумал отец Иоанн, вспоминая беззащитную шею цесаревича. — Неужели и на детей поднимется рука? Нет! Господи, помилуй!»

Но мысль нельзя было остановить. Отец Иоанн читал «Записку о ритуальных убийствах» Владимира Ивановича Даля, где описывались злодеяния, совершаемые иудеями с древнейших времен. Составитель знаменитого «Словаря живого великорусского языка» исследовал и исторически точно записал свидетельства о ритуальных убийствах младенцев, известных в Испании, Франции, Германии и России. Вплоть до самого последнего, потрясшего всю страну, известного как «Вележское дело», когда ритуально был убит мальчик трех с половиной лет — Федор Емельянов — в городе Вележе Витебской губернии.

Для ритуальных убийств выбирали именно невинных младенцев и обескровливали их особыми

ритуальными способами. Кровь употреблялась в мацу. Тела жертв не хоронились, а выбрасывались, как падаль, в какое-нибудь подлое место. Или сжигались, разрубленные на жертвеннике…

«Нет, этого не может быть! — продолжал молиться отец Иоанн. — Господи, разве это возможно? Я знаю, нам не дано понять теперь замысел Твой… А посему не так, как я, ничтожный, а как Ты хочешь. Ведь Отец Твой Сына Своего возлюбленного отдал на поругание, чтобы Его смертью спасти всех нас. Господи, Господи, велика Твоя сила и безгранична Твоя власть! Спаси нас и помилуй…»

Отец Иоанн молился, стоя на коленях, и слезы текли по его щекам и бороде. Матушка тихо вышла из кабинета, держа в руках кружку с заваренным «индейским» чаем.

Глава восьмая. Молитва

15 июля 1918 года. Утро

Семья вставала утром в восемь часов. Собравшись в одной комнате, свершали утреннее молитвенное правило и шли завтракать.

После завтрака разрешалась на тридцать минут прогулка, а потом, до обеда, назначенного в три часа дня, занимались чтением и рукоделием. Больше заняться было нечем. Алеша придумал делать цепочки из проволоки для своих игрушек, но и эта затея скоро ему надоела.

По примеру отца, который постоянно вел дневник, Ольга завела тетрадь, куда записывала понравившиеся ей стихи, песни.

Тетрадь была и у государыни, но она записывала туда свои наблюдения. Иногда она зачитывала их детям.

Ольга, когда уставала вязать или вышивать, садилась к столу и раскрывала свою тетрадь. Здесь и письма. Если писали письмо от имени всех сестер, то текст сочиняла Ольга, остальные или подсказывали фразы, или поправляли отдельные слова. Подписывались: «ОТМА». (Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия).

Ольга старается подражать отцу. Она больше других похожа на него характером, хотя учитель французского, а в последние годы наставник Алексея Петр (Пьер) Андреевич Жильяр говорит, что в характере Ольги есть и материнские черты. Это, например, склонность к философии (мама в молодости окончила философские курсы в Оксфорде), любовь к поэзии и музыке, вообще к искусствам.

Ольга рисует и вышивает столь же хорошо, как и мама, и ее голос такой же выразительный и певучий, как и у государыни.

Но основные черты все же отцовские. Это можно сразу увидеть, хотя бы только раз взглянув в ее серо-голубые глаза. Кто-то из придворных назвал их «лесными озерами», какие бывают в наших северных русских краях. Они задумчивые, тихие, в них глубина и тайна. Может быть, именно в одном из таких озер сокрыт град Китеж, жители которого не сдались врагу, а ушли на дно озера и остались там со своей верою и укладом жизни.

Ольга знает это предание и любит его так же, как и музыку композитора Римского-Корсакова, который написал прекрасную оперу на этот сюжет.

Если светит солнышко, озеро серебрится, весело играет тысячами искр. Они летят прямо в сердца тех, кто находится рядом. Если случается беда, наползают тучи, то озеро темнеет, по нему бегут волны, и становится грустно, а иногда даже больно.

Ольга ростом выше всех сестер. Стройная, с высоким чистым лбом, густыми темно-русыми волосами, которые обрамляют ее лицо с четко обозначенными скулами.

Ольга отличалась от сестер более живым восприятием, пытливым умом. К ней обращались, когда не могли найти ответ на какой-нибудь вопрос, связанный, например, с изучением языков.

Все в семье искренне верили в Бога, но у Ольги эта черта выразилась так же сильно, как и у отца. То есть нельзя сказать, что государыня или, например, Татьяна, верили в меньшей степени, чем государь и его любимая дочь. Нет, дело заключалось в том, что вера отца и дочери была более приближена к народной русской вере, чем у других членов семьи. Как это произошло, объяснить невозможно. Но для себя самой Ольга объясняла это тем, что русским и церковнославянским языками она интересовалась больше всех других предметов.

Она любила изучать происхождение слов, выстраивать в ряд синонимы, которых в других языках было крайне мало по сравнению с русским.

Наш язык красочен, богат, в нем можно найти такие разные глаголы, имена существительные и прилагательные, которые, выражая как будто бы один и тот же смысл, придают выражению иные оттенки, как на картинах Рембрандта.

Слова с одинаковым начертанием, но разным значением можно было найти и в других языках. Это забавляло, вызывало улыбку, и только. А есть богатство и разнообразие оттенков смысла. Сопоставляя, видишь, что они позволяют докопаться до подлинного, глубинного значения слова. Она поняла, почему Пушкин в «Пророке» написал: «Глаголом жги сердца людей». «Глагол» в переводе с церковнославянского означает «слово», «речь». Но это та речь, которая передает не только видимое, но и невидимое.

Когда ее спрашивали, что такое поэзия, она вспоминала Лермонтова:

Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

Вот это и есть поэзия.

Услышать, что говорят звезды, увидеть, как сквозь туман «кремнистый путь блестит», может только тот, кому Господь дал возможность выразить то, что другие лишь смутно чувствуют. Такое же, но еще более сильное воздействие на нее оказал церковнославянский язык — праматерь языка русского.

Она вспоминала, как ее поразило значение глагола «взыскать». Глагол заинтересовал ее в связи с иконой Богородицы «Взыскание погибших».

Она не поняла, почему Божия Матерь должна «взыскивать» (то есть требовать ответа, наказывать) погибших. Богородица — Защитница и Заступница, Она вымаливает прощение у Господа за каждого, кто прибегает к Ее помощи. Русский народ настолько сильно почитает Божию Матерь, столько храмов построено в Ее честь, столько явлено чудотворных икон на русских просторах, что землю нашу не зря зовут «Домом Пресвятой Богородицы».

Почему же Она должна «взыскивать»? Икона-то чудотворная, любимая в народе!

Все встало на свои места, когда Ольга узнала, что «взыскать» означает «найти, прилепиться, обрести». То есть я, найдя, узнав Богородицу, молюсь, прилепляюсь к Ней, и Она становится моей Заступницей. Значит «взыскание» — это «спасение».

Но и это не объясняет полноты смысла сокровенного слова. В нем есть тайное, непереводимое, что понятно без всяких толкований лишь верующему человеку. Разговор с Небесами может быть именно на таком языке.

Пустыня «внемлет» Богу. Если бы Лермонтов употребил другой глагол, например «слушает», величавость и сокровенность стиха сразу бы разрушилась.

Сосредоточиться не так-то просто, потому что снята дверь и слышно, как переговариваются охранники. Они сторожат впятером и меняются по несколько раз в день.

Юровского просили навесить дверь, но он отказал на том основании, что «возросла опасность».

— Но если возросла опасность, как раз и надо навесить дверь, — возразила Юровскому Маша.

Он сразу даже не нашелся, что ответить.

— Без двери мы как раз беззащитны, — продолжала наступать Маша. — И потом, господин комендант, нельзя ли объяснить вашим революционным бойцам, что подглядывать за девушками, когда они находятся в уборной, не только неприлично, это скотство?

— Прекратите сочинять! — рявкнул Юровский.

— Сочиняю как раз не я, а ваши революционные бойцы, — не унималась Маша. — Вы почитайте, какие надписи они сделали в уборной. А какие рисунки! Наскальные рисунки первобытных людей намного благородней, чем «творчество» ваших революционных бойцов.

— Вам, я вижу, очень нравится выражение «революционные бойцы», Мария Николаевна! — глаза Юровского стали свирепыми. — Они таковыми и являются. А если у них недостает культуры, то это не их вина, а царской сатрапьей власти, которая держала народ в темноте. Ясно?

Маша не дрогнула и при выражении «сатрапья власть».

— Сатрапьей власти теперь нет. И вы совершенно свободно можете приказать вашим свободным бойцам по части культуры свободно замазать известкой всю похабщину!

— А вот и замажьте сами, раз вы не можете не читать похабщину! — злорадно парировал Юровский. — И впредь знайте свое место и в споры не вступайте!

Маша бы ответила, но Ольга уже была рядом и увела сестру в комнату.

— Негодяй! — шептала Маша, и плечи ее вздрагивали.

Ольга обнимала сестру и успокаивала:

— Тише, Машенька, прошу тебя! Надо научиться терпеть. Разве ты не знаешь, что терпение — удел сильных? Только слабый кричит и раздражается.

— Умом я все понимаю, — ответила Маша, справившись с чувствами и уняв слезы, — надо терпеть, раз Господь послал нам такие испытания. Но ведь надо додуматься до такой гадости, какую они там нарисовали! Я бы взяла этого художника да об стенку!

— Об стенку, — Ольга невольно улыбнулась. — И стала бы такой, как они.

— А вот и нет, не стала бы! Разве христианин не имеет право защищать свое достоинство?

— Конечно, имеет. Но ведь мы не на свободе, а в тюрьме. У нас иное. Иной путь.

— Какой путь? О чем ты говоришь, Ольга? Мне 19 лет, тебе 23 скоро будет, а ты не можешь согласиться с такой простой мыслью, что если не давать врагу отпор, он тебя растопчет! На войне побеждает тот, кто сильнее. Когда этот Авдеев локтем специально ударил папа, я не знаю, как удержалась, чтобы не кинуться на него!

— Тише, Маша, ты очень громко говоришь.

— Да пусть слышат, мне-то что!

Вошла Татьяна, села рядом. Она почти все слышала, находясь в соседней комнате с государыней.

— Действительно, все слышно. Эх, Машка, тебе бы саблю и на коня! Была бы кавалерист-девицей, как Надежда Дурова.

— И была бы. Разве это плохо? И стрелять, и рубиться на саблях научилась бы.

— Это нетрудно, Маша, — сказала Ольга, погладив сестру по голове.

Голова у Маши крупная, волосы густые, пышные, темнее, чем у других сестер. И глаза темнее. Сейчас они блестели, но не от слез, а от внутреннего напряжения.

— Гораздо труднее научиться битве духовной. Вспомни, что говорил Спаситель: «Возлюби врагов своих».

— Да как возможно их возлюбить? Юровского? Авдеева? Или этого солдата, который подглядывал, когда я в уборной была? Этого я возлюбить должна, этого?!

— Этого! — подтвердила Ольга. — И как раз папа показывает нам пример, как надо вести себя.

— Папа такой… каких на земле нет, — убежденно сказала Мария. — Он терпит… как святой!

Маша сама удивилась тому, что сказала. На пороге комнаты стояла государыня, рядом с ней Настя.

— У вас тут такой разговор! — сказала царица. — Можно нам поучаствовать?

— Ну что за вопрос, мама!

— Неси меня к вам, Машка! — позвал Алексей.

— Хорошо! — Мария быстро встала и принесла на руках Алексея.

Несла она его легко, без всякой натуги. Усадила на свою постель.

— Удобно?

— Вот тут немного поправь… подушку.

Мария принесла кресло-каталку, которое государыня просила взять, когда они уезжали из Царского Села в Тобольск, а потом сюда, в Екатеринбург.

В Тобольске они жили в доме губернатора, и охрана, как и в Царском Селе, вела себя прилично. С приходом к власти большевиков заключение становилось все ужаснее, а здесь, в Екатеринбурге, вообще превратилось в постоянную ежечасную пытку.

В Царском Селе они были дома, пусть и под охраной. Совершали длинные прогулки. Государь затеял огород, и вся семья с радостью принялась возделывать грядки. Чистили сад, государь с караульными пилил и колол дрова.

В Тобольске можно было ходить в городскую церковь, и сад у губернатора был достаточно большой. Потом служить приказали только на дому. Прогулки сократились. Здесь, в Екатеринбурге, садик был крохотный. Прогулки разрешались два раза в день по полчаса.

Так последовательно нарастали испытания. Особенно тяжко стало сейчас, когда сменились комендант и вся внутренняя охрана. На некоторые окна навесили толстые решетки. Похабные рисунки и надписи в уборной Мария забелила сама, но через день появились новые надписи и рисунки прежнего содержания.

— Терпение легко принять за трусость, — сказала государыня, — потому что у терпения нет внешнего показного вида. То, что видимо, получает одобрение тысяч людей сразу. А то, что невидимо, оценивается потом. Таня, возьми Евангелие. В Нагорной проповеди как раз говорится об этом.

— Там, где «если ударят по правой щеке, подставь другую»?

— Вот все помнят только эти слова. Потому что граф Толстой перетолковал их на свой лад. Он вырвал слова из сказанного Спасителем и создал целое учение. Это сектантство. Читай, Таня!

Татьяна взяла Евангелие. Она была в сером льняном платье, воротник стойкой, пуговицы белые, идут в ряд от горлышка. Волосы уложены венчиком, перехвачены белой лентой. Лицо белое, носик припудрен — Татьяна всегда следит за собой. Несмотря ни на какие обстоятельства, всегда подтянута, собрана. Она, как и Ольга, подает пример младшим — Марии и Анастасии.

Татьяна нашла нужное место в Евангелии: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.

Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И

если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?

Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».

— Вот, остановись здесь, — сказала Александра Феодоровна. — Последние слова как раз и говорят о главном — всю жизнь надо стремиться быть подобным Богу. Ведь мы рождены по образу Его и подобию. Но «во грехах рожден я матерью», как поется в псалме.

А «обратить другую щеку, если тебя один раз уже ударили», надо понимать в том смысле, что надо научиться выдерживать удары жизни, то есть те испытания, которые посылает нам Господь. Неужели не понятно, что у Спасителя притча, иносказание? А граф Толстой все понял буквально. Как и его ученики, которые за деревьями не увидели леса. Потому что у них слишком большое преклонение перед его литературой.

— Но, мама, разве он не замечательный писатель? — спросила Мария. — И потом: разве я могу быть совершенна, как Бог? Это невозможно.

— Сын и говорит, что надо стремиться быть похожим на Отца. Ты сама сказала, что не выдержала бы, если Авдеев ударил бы тебя локтем.

— Но разве жизнь — это одно сплошное терпение? — спросила Анастасия. — А как же веселье, праздники? Ну хотя бы Рождество?

Ее личико — милое, чаще всего веселое, с лукавинкой в серых глазах — сейчас было серьезным. Ей исполнилось 17 лет, но выглядела она гораздо моложе, потому что в осанке, движениях, выражении глаз были бойкость и детская шаловливость, хотя временами уже угадывался острый ум.

— Делу — время, потехе — час. Это понятно, — сказала Мария. — Но разве я могу любить дальнего так, как ближнего? Как Алешу, например?

— А мне снилось, что я с одним солдатом на штыках дрался, — признался Алеша.

— На штыках? — переспросила Татьяна.

— В Могилеве, когда я у папа был, меня учили. К ружью приставлен штык, и ты колешь. А если тебя колют, отбиваешь удар.

— Ты, конечно, своего обидчика заколол! — сказала Мария.

— Нет, мы сражались, а потом он упал. Я приставил штык к его груди, потребовал, чтобы он покаялся и встал на колени.

— Он встал? — спросил государь, заходя в комнату.

Улыбаясь, он подошел к сыну и присел на кровать.

Теперь царь с наследником оказались в центре комнаты, царица — слева, а по бокам, полукругом, — все четыре княжны.

— Да, он упал на колени и даже плакал. И я почему-то заплакал и проснулся… Нога болела. Мне казалось, что это во время нашего поединка он штыком ранил меня…

— Ну теперь рану подлечили, и ты совершенно здоров. Хорошо вы тут сидите! Читали Евангелие?

— Да… Зашел разговор о терпении в скорбях, — сказала государыня. — Маша не совсем понимала, что значит подставить другую щеку, если тебя ударили по одной.

— И что же? Как вы растолковали?

— Мама сказала, что имеется в виду удар жизни. То есть надо уметь выдержать и следующий удар судьбы, быть готовым к нему.

Государь задумался. Он тоже исхудал за последнее время — ему не хватало прогулок, к которым он так привык. Не разрешено пилить и колоть дрова, как он это делал с солдатами из охраны в Тобольске. Находиться все время в душном помещении с закрытыми и замазанными известью окнами в самый разгар летней жары было для государя невыносимо тяжело. Спасало чтение, но ведь не будешь читать весь день напролет! Угнетало бездействие, которым он всегда так тяготился. С юных лет отец приучил его к работе. Один вид работы сменялся другим, и тогда не было утомления.

— Я бы только хотел обратить ваше внимание на слова Спасителя: «Но кто ударит тебя в правую щеку твою…» Понимаете, правую. Вера наша потому и называется православной, что она правильно славит Бога, отстаивает правое дело. Следовательно, можно заключить, что правая щека подразумевает, что ты получил удар за правое дело. Верно? Хотя я тут не настаиваю… И потом, речь идет о твоей щеке, а не о чужой. То есть страдания принимай сам. А уж если за другого… Тут Суворов верно сказал: «Сам погибай, а товарища выручай!»

— А помните, папа, как сказано: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших»?

Это сказала Ольга.

Мария взяла Евангелие и проверила старшую сестру.

— У меня нет такой памяти, — вздохнула она. — Зато я из «Евгения Онегина» помню…

— Помните, мама, нам еще в Тобольске один поэт прислал стихотворение. «Молитва» называется. Помните? — глаза Ольги оживились, заблестели, и нельзя было не любоваться ими — выглянуло солнышко и осветило гладь лесного озера.

— Помню, но не наизусть, — ответила императрица.

— А я его переписала себе в тетрадь.

— Тогда прочти, пожалуйста, — попросил государь. Ольга кивнула и, не вставая, только чуть отклонившись от спинки стула и приподняв голову, прочла:

Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных, мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.

Дай крепость нам, о Боже Правый,

Злодейство ближнего прощать
И крест, тяжелый и кровавый,
С Твоею кротостью встречать.

И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и оскорбленья,
Христос Спаситель, помоги!

Владыко мира, Бог вселенной,
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыносимый, страшный час!

И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы —
Молиться кротко за врагов.

Они сидели, задумавшись, семеро детей Божьих, одна семья, одно неразделимое целое — и в жизни, и в смерти.

Глава девятая. Первая тайна убийц

16 июля 1918 года. Утро

Янкель Юровский завтракал. Он удовлетворенно хмыкнул и вытер салфеткой рот — так, чтобы не испачкать усы. Откинулся на спинку венского стула и посмотрел на Моню, жену. Она робко улыбнулась ему и тут же встала, по взгляду Янкеля поняв, что надо подавать чай.

У нее был открытый лоб. Черные волосы коротко, по моде подстрижены, глаза карие, глубокие, в которых почти всегда было выражение покорности и тоски. Ходила она быстрыми мелкими шажками, сутулясь, торопясь угодить мужу.

И ее взгляд, и походка — все, что прежде так нравилось Янкелю, теперь раздражало. Он уже пожалел, что приехал повидаться с Моней — лучше бы этого не делать. Жена такого человека, как он — революционера, партийца, чекиста, — должна быть гордой и смелой, ходить с прямой спиной и поднятой головой. И шея должна быть не с преждевременными морщинами, а как у этих…

У этих!

Он отхлебнул из стакана с подстаканником крепкий сладкий чай и резко поставил стакан на стол.

О чем бы он ни думал в эти июльские дни, часто, совсем некстати, перед глазами вставали царица, ее дети, реже царь.

— Не горячий? Мало сахара? — спросила Моня.

— Нет! — раздраженно ответил он.

Встал и, посмотрев на себя в зеркало, еще раз причесал черные волосы, зачесанные назад, и

усы, которыми он особенно гордился — они были густыми, загибались волной, приподнимались на концах кверху. Такие усы он увидел у одного франта на картинке парижского журнала, который попался ему еще в те времена, когда целый год он жил в Берлине, учась там настоящей цивилизованной жизни.

— Ночевать не буду, не жди. Работы много. И не спрашивай ни о чем… Меня может не быть дня два-три.

Моня и не думала спрашивать. Он часто ночует не дома. Хорошо, что хоть сегодня заехал и сказал, что много работы. Наступают белые, об этом все говорят.

Работа у Янкеля действительно очень трудная, а главное — опасная. Люди боятся всех, кто служит в «чрезвычайке». Янкель там один из главных. И он никого не щадит. А это значит, что и его не пощадят, если он попадется к белым.

Кто победит, Моня не знала и не хотела знать. Она лишь боялась, как бы не поймали Янкеля, ведь тогда их могут всех убить, в том числе и их сына, такого смышленого и умненького мальчика.

Вот он вошел в комнату, увидел отца и улыбнулся ему. На нем хорошая рубашка, штанишки. Сандалики, правда, старые, но ничего. Скоро будут ботиночки или хромовые сапожки.

— Яша, ты уходишь? — это вошел отец Юровского, Хаим.

Это крепкий, с седой курчавой бородой старик. На голове — ермолка, поверх застиранной холщовой рубашки — старый жилет из черного сукна. Он внимательно смотрел на сына.

Отца Янкель не любит. Ведь это по его милости из благодатных полтавских мест они были сосланы в Сибирь — Хаим попался на воровстве.

Местом их ссылки оказался город Каинск в Томской губернии. Название города словно призывало к раскаянию, но Хаим, как рано понял Янкель, не мог измениться душой — был упрям, хитер и по-прежнему брал то, что плохо лежит, вовсе не считая это воровством. Он и Янкеля учил тому, что отнимать у гоев не только можно, но и нужно, как учит Талмуд. Чтобы сын лучше усвоил иудейскую веру, Хаим определил его в еврейскую школу «Талматейро» при синагоге, но курса Янкель не окончил. Прилежнее он учился у часовщика Пермана, и Хаим был доволен, что сын получает надежную, хлебную профессию. Правда, Янкель это не сразу понял, пришлось его упрямство одолевать ремнем, поэтому он невзлюбил отца.

— Вы почему до сих пор не уложили вещи? — спросил Янкель, не отвечая на вопрос Хаима. — Разве я не говорил вам, что белые приближаются и будут здесь со дня на день?

— Мы собираемся, но только не так быстро, как ты хочешь, — вступила в разговор мать Янкеля, Эстер.

Она тоже была в возрасте. Волосы седые, до сего дня курчавые, расчесанные на пробор. Взгляд с прищуром, нос прямой, с годами заострившийся. Губы тонкие, поджатые.

Когда Янкель думал о матери, он чаще всего видел, как она наливает суп в тарелки, строго следя, чтобы клецки были разделены между домочадцами в соответствии с занимаемым положением в семье — отцу на пять клецек больше, чем детям (Янкелю, Эле-Мейеру и Лейбе). То же самое происходило и с другими блюдами. И избавиться от этого унижения Янкель смог, только переехав жить отдельно, уже став часовщиком, а потом, после Берлина, будучи

владельцем часового магазина в Томске.

Мать с отцом пришлось взять к себе, и теперь Эстер накладывала в тарелку Янкеля лучшие куски, и клецек в супе у него оказывалось на пять штук больше. Янкель видел, как бледнеют щеки отца и как опускают глаза Эле-Мейер и его жена Лея-Двойра. Янкель не один раз приказывал варить только мясные и куриные супы, но время от времени Эстер вновь готовила или суп с клецками, или луковый, любимый Хаимом.

Янкель одернул френч и направился к выходу.

— Чтобы за два дня все вещи были уложены! Позовите Двойру, если вам самой трудно. Эле позовите. Я больше повторять не буду.

— А куда мы поедем, можно спросить?

Янкель был готов к ответу:

— Не в Париж и не в Берлин. Узнаете в свое время.

— Но все же, Яша…

Не ответив, Янкель вышел на улицу и сел в авто. Теперь надо заняться главным.

В Уралсовете он сразу направился в кабинет Белобородова. Как он и ожидал, здесь уже был человек из центра. Он сидел в кресле Белобородова и просматривал какие-то бумаги. Белобородов стоял у края стола, искоса глядя то на гостя, то на те бумаги, которые гость читал. Обычно осанистый, уже привыкший к начальственным позам, Белобородов сейчас чувствовал себя крайне неуютно и был опять похож на конторщика, к которому нагрянула ревизия. Таким и был до революции Александр Георгиевич — Янкель Гершевич Вайсбарт.

Гость оторвал взгляд от бумаг, встал и протянул руку. Костюм на нем был черный, черный жилет, белая рубашка, наглухо застегнутая, без галстука. Волосы черные, густые, борода еще чернее, длинная, клином. Глаза черные, навыкате. Оттого, что черный цвет главенствовал, ладонь с длинными пальцами, которую он протянул Юровскому, показалась особенно белой.

«Я где-то его видел? — рассуждал Юровский, с откровенным любопытством рассматривая представителя центра. — Да, видел. Но где?»

— Очень приятно, Яков Михайлович, — сказал гость. — Ваш тезка, Свердлов, отзывался о вас как о надежном и верном товарище. И вижу, что он не ошибся. Присаживайтесь, пожалуйста! Как чувствует себя ваш отец Хаим и матушка Эстер? Надеюсь, и супруга ваша Моня в полном здравии?

«Откуда?» — чуть было не спросил Юровский, но лишь улыбнулся и кивнул головой:

— Спасибо, все в полном здравии. Я только сейчас от них.

Пришли Сафаров и Войков. К каждому из них гость обратился с приветливым словом, о каждом он знал такие подробности, какие могли быть известны только хорошо подготовленному к подобному визиту человеку, безусловно, занимающему высокое положение.

«Да кто это такой? — опять подумал Юровский. — Наверное, недавно занял руководящее место».

— Пригласить еще товарищей? — спросил конторщик Белобородов. — Председателя ЧК товарища Лукоянова, заместителя председателя товарища Сахарова?

— Нет, больше никого не надо. Состав у нас очень хороший. — Он улыбнулся. Зубы у него были крупные, белые. — Садитесь.

В кабинет вошел Голощекин. Передвигаясь быстро, несмотря на свою тучность, Шая шел прямо к гостю.

— Рад видеть, товарищ Филипп! — сказал гость и вышел из-за стола навстречу ему. — Вид у вас бравый, это приятно отметить. Такой и должен быть у комиссара.

Шая был в гимнастерке. Живот выпирал вперед, и похвала гостя насчет «бравого вида» была явным преувеличением.

— Вам сердечный привет от товарищей Ленина и Свердлова. Они одобряют все, что здесь происходит, и твердо верят, что все будет выполнено четко и быстро!

Шая улыбнулся:

— Предлагаю еще раз посмотреть план.

Он достал из командирской сумки, висевшей у него на боку, план дома инженера Ипатьева.

Юровский усмехнулся. Зубной техник Шая разыгрывает из себя начальника штаба армии. И вырядился по-военному, и сапоги у него начищены, и офицерские ремни достал. А того не видит, стратег, что точно такой же план лежит на столе у Белобородова. Значит, гость уже знаком с ним.

— Спасибо, товарищ Филипп, спасибо! Яков Михайлович, встаньте поближе к столу. Вот здесь, смотрите сюда, на плане есть стена. В ней дверь ведет в кладовую. А сама стена какая?

— То есть в каком смысле? — не понял Шая.

Юровский не удивился тупости стратега, который не понял простого вопроса. Он же гимназию в Витебске закончил, а потом зубоврачебную школу в Риге, кажется. И кичится образованием. Да дело даже не в этом, а в том, что эти бывшие гимназисты кроме примеров из римской истории ничего не знают. То есть не понимают реальной жизни.

— Стена деревянная, а не каменная, — сказал Янкель. — Оштукатурена, поэтому рикошетов — даже при промахах — не будет. Мы войдем вот в эту дверь, а приговоренные встанут напротив нас, как раз у этой стены, о которой вы спрашиваете.

Гость удовлетворенно кивнул.

— Окно? — спросил он, показывая на план и уже обращаясь к Юровскому.

Окно, единственное в полуподвальной комнате, находилось слева от входа.

— Зарешечено, — пояснил Юровский. — Семь отобранных чекистов скрытно будут находиться в соседней комнате. Нас войдет четверо. Как только мы введем приговоренных, чекисты замкнут входную дверь и войдут. По моей команде исполняем приговор. На каждого приговоренного — по стрелку. Одиннадцать на одиннадцать.

— Состав чекистов?

— Интернационал. Австро-венгры, немцы, латыши.

— Как рекомендовал товарищ Свердлов, внутреннюю охрану сформировали так, чтобы не было общения с царской семьей, — вставил Голощекин, явно недовольный тем, что разговор пошел с Юровским, а не с ним.

Гость дружески глянул на Шаю, кивнул.

— Покажите решение исполкома.

Белобородов раскрыл папку и взял уже отпечатанный на «Ундервуде» текст решения.

Гость внимательно прочел бумагу, удовлетворенно кивнул:

— Вот тут прекрасно написано, что, «ввиду приближения контрреволюционных банд к красной столице Урала и возможности того, что коронованный палач избежит народного суда, так как раскрыт заговор белогвардейцев, пытавшихся похитить его самого», — гость поднял голову от бумаги, его черные глаза блеснули, по-кошачьи пустив искру.

Впрочем, это только могло показаться и Голощекину, и Юровскому, которые смотрели на него завороженно. Гость продолжил:

— То есть я хочу сказать, что вы прекрасно сформулировали необходимость расстрела. Что у вас иного выбора нет. Так?

— Так. А что? — Белобородов стоял рядом с гостем и не видел его глаз.

Но вот гость повернулся к нему. Тогда и Янкель увидел нечто, что удивило его соратников, потому что рот председателя слегка приоткрылся.

— Итак, решение принимаете вы, а не центр. Вы отдаете себе отчет в том, какие вопли могут поднять всякие там царственные особы в Европе и прочие акулы капитализма? Вы объявляете всему миру, что не оставляете никакого места для кривотолков. Президиум ВЦИК одобрит ваше решение именно как неизбежное.

— Конечно, одобрит. А как же иначе? — опять ничего не понял конторщик Янкель Вайсбарт.

Туговато ворочались его мозговые извилины. Это ведь не на трибуне ораторствовать о неизбежности победы мирового пролетариата.

— Ты, Александр Георгиевич, пойми, — Голощекин в упор посмотрел на Белобородова. — Товарищи Ленин, Свердлов и Троцкий должны только утвердить наше решение. Вожди мировой революции не должны отдавать приказ о расстреле.

Белобородов наконец понял, в чем дело.

— Их приказ остается в тайне? Но что для этого надо сделать?

— Нужна ваша телеграмма. Одна уйдет сегодня, сейчас. Другая завтра утром, — глаза гостя снова метнули искры.

«А, это солнце поднимается с той стороны и отражается в его очках», — подумал Голощекин.

— Телеграмму должен был составить Войков, — сказал Юровский. — Где она, Александр Георгиевич?

— Да вот, читайте!

Гость взял лист бумаги и прочел: «Москва. Кремль. Ленину. Свердлову. Сообщаем, что условленного Филипповым суда по военным обстоятельствам ждать не можем. Срочно сообщите решение. Белобородов. Голощекин».

Гость разгладил бороду. Шая обратил внимание, что хотя руководящий товарищ и немолод, ни одного седого волоска нет в его черной, будто покрытой лаком бороде.

— Хорошая телеграмма. Но только пошлем ее в Петроград, председателю ЧК Зиновьеву. И по нашему шифру. Добавим: «Сообщите вне всякой очереди». И подпись поставим товарищей Голощекиа и Сафарова. Пусть инициатива исходит от стражей революции.

— А надо ли… так запутывать? — возразил Белобородов.

— Надо, товарищ Александр, — сказал гость ледяным тоном. — Всю операцию надо провести, чтобы никто никогда не узнал, как на самом деле мы свершили великое дело освобождения трудового народа от сатрапа России. Что непонятно, я потом поясню… А сейчас приведите сюда шифровальщика, а потом с товарищем Юровским мы осмотрим помещение, а с товарищем Филиппом осмотрим дорогу, ведущую в деревню… Коптяки. Урочище Четырех Братьев?

— Место хорошее, сами увидите, — ответил Юровский. А про себя подумал: «Вспомнил. Он похож на раввина из еврейской школы. Вот только борода у ребе была не такая черная… Ему бы еще указку в руки, которой он бил нас по головам».

У подъезда дома они сели в авто и по Главному проспекту поехали к «Дому особого назначения». Было раннее утро, но солнце, поднимаясь над городом, уже сейчас обещало жаркий день, какой был вчера. Зелень садов, прижавшихся к задним фасадам особняков, была покрыта свежей ночной росой. Воздух чистый, особенно у Плотинки, перегородившей реку Исеть. Здесь широкий пруд, а сама Плотинка и скверик вокруг нее — место для гуляний и увеселений местной публики. Для богатых были устроены павильоны с закусками и напитками, столики под тентами на столичный манер. Но и простой народ сюда ходит охотно, ласково называя это место Плотинкой. С одной стороны пруда находится дом с белыми колоннами, мраморными ступенями у парадного входа. Это горнозаводское управление, построенное по проекту архитектора Малахова. С другой стороны возвышается дворец промышленников Расторгуевых-Харитоновых, тоже с белыми колоннами. Здесь высокие окна отделаны полуколонками и лепниной. Вдоль главного проспекта немало двухэтажных зданий, построенных в парадном и дворцовом стилях, уютных особняков, и весь Екатеринбург, распланированный регулярными прямыми улицами с зеленью деревьев по обеим сторонам проезжей части, не может не радовать глаз. Сразу было видно, что жили здесь основательно, зажиточно, добывая золото, руду упорным трудом с тех самых пор, когда Василий Никитич Татищев, посланный сюда Петром Великим, нашел место, чтобы перегородить Исеть именно здесь и начать горнозаводское дело. Он основал город, назвав его в честь Екатерины, любимой жены Петра Первого.

Екатерина в переводе с греческого означает «всегда чистая». Но как жена Петра не соответствовала имени своему по жизни своей, так и город, названный в ее честь, имел тяжелую судьбу.

«Хороший город, — думал гость, не в первый раз проезжающий по главной улице Екатеринбурга. — Он теперь наш, мы назовем его нашим именем».

Авто он приказал остановить за квартал до «Дома особого назначения».

Дом этот был определен для царской семьи заранее. Одной стороной он выходил на широкий Вознесенский проспект, находясь напротив церкви с величавой колокольней, но на солидном от нее отдалении, а другой — на Вознесенский переулок, спускаясь по склону в сторону пруда. Второй этаж был полуподвальным, выходил во двор со стороны переулка и оказался хорошо приспособленным для того, чтобы осуществить все задуманное. Ничего лучше и выбрать было нельзя, потому что дом находится в центре, но в то же время в отдалении, и были у него помещения, скрытые от глаз. К перевозу царской семьи из Тобольска инженеру Ипатьеву чекисты дали два дня на переезд. Он, разумеется, моментально управился со всеми делами и подписал все необходимые документы на передачу своего дома новой власти. Ему и в голову не могло прийти, что его дом понадобится чекистам для царя, царицы, их детей, ведь в городе столько особняков, богаче и удобнее… С другой стороны, Николай II — бывший царь, и ему не подобает роскошествовать. Тогда выбор его особняка, удобного, со всеми службами, вполне подходит.

Но инженер Ипатьев не мог догадаться о том, что неведомые ему силы выбрали его особняк еще и по другой, мистической, причине.

— Что сейчас делает семейство? — спросил гость, шагая вверх по Вознесенскому переулку к дому.

— Все в своих комнатах, не беспокойтесь.

— Проследите, чтобы никто не смел высунуться. Меня не должны видеть.

— Можете не беспокоиться, охрана строго предупреждена.

У входа в калитку дома, обнесенного двойным глухим забором, помещалась сторожевая будка. Из нее, едва увидев Юровского со спутником, тотчас вышел начальник охраны Павел Медведев. Он был в картузе, гимнастерке, на ремне висела граната. Гость отметил, что охранник физически крепок — рубашка облегала развитые плечи и грудь, живот плоский. По профессии Медведев был сапожником. С начала войны, чтобы не попасть на фронт, устроился на оборонный завод. Все же воевать, как большевику, пришлось — с отрядами атамана Дутова. Вернувшись домой, он пошел работать в охрану — знал, что будут хорошо платить. Именно он, Пашка, донес чекистам на Авдеева. Это был хороший повод для полной замены внутренней охраны, караулов и главное — коменданта, потому что Авдеев не годился для завершения операции. Комендантом назначили Юровского, начальником охраны — Медведева, так как он хорошо себя проявил.

— Ну что, Павел? — спросил Юровский.

— Все в порядке, товарищ Яков. Пройдем по постам? — и, открыв дверь калитки, он пропустил вперед себя гостя и Юровского.

Посты были при входе в дом со стороны двора и со стороны улицы. Медведев показал, где установлены пулеметы, комнаты охранников на нижнем этаже. Дверь на лестницу верхнего этажа выходила во двор. Такая же дверь в другом конце дома вела на лестницу нижнего этажа. По ней гость спустился вниз, в нужную комнату нижнего этажа, осмотрелся. Пол деревянный, выкрашенный желтой краской, стены оклеены обоями. Потолок сводчатый, лежит на двух

арках. Хорошая комната, примерно четыре на пять метров. И окно одно, забранное решеткой, и одна стена, напротив входной двери, действительно деревянная, а остальные каменные. Все хорошо. Гость перестал трогать и простукивать стены, вышел, кивнув.

Посмотрел и соседнюю комнату, где размещалась охрана. Увидев его, охранники встали. Он кивнул им. Комната охранников размером была такая же, как и та, пустая, где предстояло провести дело. «Все нормально. Главное, чтобы эти, на втором этаже, ни о чем не догадались. Поэтому надо скорее уходить». Снова кивнув и не сказав ни слова, гость вышел из дома. Проходя через двор, он бросил взгляд на окна второго этажа. Они были закрыты, а стекла замазаны белой краской. «И это правильно и хорошо».

— До урочища ехать верст десять-двенадцать, — сказал Юровский. — Так что команда вернется к обеду.

— Погоди, Янкель, не торопись, — сказал гость.

Они шли вдоль забора, огораживающего Ипатьевский дом, и человек, так напоминавший раввина, замедлил шаги.

— Мне необходимо сказать тебе важную вещь. По нашему закону тела убитых должны быть выброшены на помойку, а не захоронены. Поэтому ты прикажешь Ермакову выкинуть тела в шахту. И все. А потом, когда мы приедем туда, то по закону предадим тела огню. Это будет жертвенник, ты меня понял?

Юровский напрягся, хмуря свой начальственный лоб.

— Я понял, — ответил он. — Ермаков ничего не поймет. Он раб, который всего лишь выполняет наш приказ.

— Но потом за дело возьмешься ты. Как фельдшер, ты сделаешь вот что…

Гость привлек Янкеля к себе и зашептал ему на ухо команду. Потом резко отстранился, пристально глядя в глаза Юровскому:

— Ты к этому готов?

— Может быть, Шая, а не я? — Янкель был бледен, лицо его стало мучного цвета.

— Ты фельдшер, а Шая — зубной техник!

— Но я… Никогда прежде… Послушайте, Ермаков делал это прежде.

— Ермаков… Хорошо, посмотришь по обстановке.

Юровский кивнул. Он снова чувствовал себя мальчишкой, которым распоряжается ребе из еврейской школы «Талматейро» при синагоге.

Глава десятая. «Царице моя преблагая»

16 июля 1918 года. День

Она записала в своем дневнике: «Как счастлив дом, где все — дети и родители, без единого исключения, — вместе верят в Бога. В таком доме царит радость товарищества. Такой дом — как преддверие Неба. В нем никогда не может быть отчуждения».

Записи государыни были совсем иными, чем у государя. Она записывала лишь то, что ей казалось особенно важным. Ей надо было записать мысль, чтобы потом к ней вернуться. И, может быть, поделиться с мужем, детьми.

Если ей попадалось какое-то изречение из творений святых отцов, духовных писателей, которые выражали то, о чем она думала, или то, что было для нее открытием, она обязательно вносила это изречение в свой дневник.

Не сразу она научилась отличать красивые образные выражения от тех, которые, не имея внешнего блеска, содержали в себе подлинную глубину. Это пришло с годами, когда внешняя излишняя впечатлительность сменилась зрелым размышлением, мудростью.

Про себя государыня никогда не думала, что она «мудрая». Когда про нее писали, что она «лезет управлять государством», что царь — «подкаблучник» и запутался потому, что выполняет ее «дурацкие советы», она не ожесточалась сердцем, лишь снова возвращалась к той своей мысли, что в доме, где все без исключения верят в Бога, царит радость товарищества. Ведь ее письма в Ставку к мужу были лишь советами родному человеку, а решения он всегда принимал сам. Они не знали и сейчас не знают высоты его духа. Они не понимают и не поняли до сих пор (Керенский, наверное, понял, когда начали свирепствовать большевики), что значит стремиться поступать в согласии с совестью и верой, как поступал государь. Они-то думают, что обманули его, как мальчишку, обвели вокруг пальца, не верят, что политик может быть нравственным человеком. А именно он и доказал, что это может быть так — только вера должна двигать поступками. Она и сама поняла это с годами, когда сумела осмыслить многое в характере мужа. И разобралась в его отношении к ней самой.

Государыня закрыла дневник и положила его в ящик небольшого бюро. У этого ящика и ключ есть, да что толку. Юровский уже лазил в него, читал ее дневник. Пусть.

Для него ее записи — китайская грамота. Он не просто невежественный человек, а невежа, убежденный в своей абсолютной правоте. Такие люди особенно страшны как раз тем, что их невозможно сдвинуть с точки их убеждений. Они считают, что истина у них вроде кошелька с деньгами, который лежит в кармане.

Государыня перекрестилась перед Феодоровской иконой Божией Матери. Она всегда была рядом, как и молитвослов, «Лествица», «Книга о терпении скорбей».

Икона дома Романовых — Феодоровская. Именно Феодоровской в 1613 году благословили на царство первого из Романовых — шестнадцатилетнего Михаила Феодоровича. Это произошло в Ипатьевском монастыре, в Костроме.

Совсем недавно, всего пять лет назад, были грандиозные торжества по случаю 300-летия Дома Романовых. Сколько было приемов, речей, балов, шествий, народного ликования, безграничной радости!

И вот теперь они всей семьей заключены в доме инженера с фамилией Ипатьев. Это случайность?

Она давным-давно знает, что для верующего человека случайностей в жизни не бывает.

Сейчас наступает время прогулки. Садик крошечный, пройтись по нему — как по тюремному двору. Но для Ники, для детей это все равно радость — подышать свежим воздухом, посмотреть на небо. Может быть, какая-нибудь птаха сядет на ветку яблони или вишни и весело свистнет.

— Аликс, ты пойдешь прогуляться? — спросил государь.

— Идите без меня.

— Опять ноги?

— Я лучше полежу, почитаю.

— Может быть, твое кресло вынести во дворик? Немного посидишь на солнышке.

— Спасибо, дорогой. Пожалуй, было бы хорошо, но эти… не разрешат.

Государь прошел по коридору к комнате, в которой размещался комендант, и постучался.

— Да! — отозвался Юровский.

— Прошу разрешить вынести кресло-коляску супруги в садик. Во время нашей прогулки она посидит на свежем воздухе — у нее болят ноги.

— Пожалуйста! — усмехнулся Юровский. — Как будто в первый раз. Торопитесь, однако, время вашей прогулки уже пошло!

Вместе с Машей государь вынес кресло-коляску в садик. Надо было спуститься по лестнице мимо охранников, затем, во дворе, пройти через навес на деревянных столбах, где тоже стояла охрана. Под навесом — калитка. Она выводит в садик. И здесь стояли все те же инородцы — австрийцы, венгры, немцы, одинаково угрюмые, с тупым выражением лиц. Время от времени они поглядывали на заключенных, наблюдая, как они ходят по садику.

Рядом с калиткой находилась небольшая беседка, и государыне можно было бы расположиться в ней, но там обязательно сидели охранники — развалившись, они курили махру. Папиросы курит только Юровский. Охранники хорошо знали, что семья не переносит запаха махорки. Тем не менее курили всегда, затягиваясь с каким-то сладострастием, пуская изо рта длинные вонючие клубы.

Поэтому и дети, и государь уходили в другой конец садика. Там и ставили кресло-коляску государыни. Это кресло путешествует с Александрой Феодоровной с тех пор, как их выслали из Царского Села.

Николай Александрович держал Алешу на руках. Оба были в гимнастерках, форменных брюках, ботинках. Фуражки не надели — день выдался жаркий. Но все же дул легкий ветерок, и как ни мал садик, а хорошо было пройтись по нему. Солнце уже не такое жаркое, да и деревья дают тень. На девушках были белые летние платья, шляпки. Горничной Анне и камердинеру Алексею Егоровичу помогала содержать одежду в порядке и сама Александра Феодоровна. Ее платья были глухими, длинными. И когда она спускалась по лестницам дома, выходила в гостиную или в сад, охранники замечали ее царственную осанку и невольно подтягивались.

Были среди наемников и такие, которые тушили свои самокрутки, втаптывая их ботинками с обмотками в землю, когда приближалась императрица.

Александра Феодоровна села в кресло и посмотрела на детей. Ольга шла рядом с Татьяной. Они старшие, у них свои разговоры. Мария — рядом с Настей. Эти младшие, хотя Анастасии 5 июня исполнилось 17 лет. Она уже девушка, которую можно выдавать замуж…

Алеше 30 июля будет четырнадцать.

«Господи, четырнадцать! А выглядит он и того старше, отец уже с трудом несет его, хотя мальчик исхудал», — подумала Александра Феодоровна.

«Если в доме горе, оно сближает домочадцев, — записала она недавно в своем дневнике. — Оно делает всех более терпеливыми друг к другу, более добрыми, заботливыми, стойкими. Испытания нам посылаются не для того, чтобы нас погубить. Бог хочет, чтобы мы очистились от всяческого зла и стали подобными Ему». Именно так. Она сама видела это еще в Царском, в страшные дни отречения, когда все дети тяжело болели. Но ведь все выжили, всех Бог сберег. И если бы не Он, не Промысл Его, разве дожил бы Алеша до сегодняшнего дня?

Сколько раз он умирал, и если бы не поддержка всей семьи, разве бы он остался жить? Льют грязь на Григория Ефимовича, а разве не его молитвы спасали Алексея? Сделали его, друга семьи, чудовищем, а сами-то как злодейски, как страшно и жутко его убили!

Да, разные были у нее исповедники, разные священнослужители допускались в царский дом. Да, она искала спасения у людей Божиих. Так какая верующая мать не сделала бы то же самое ради больного сына? Да и вера у каждого человека разве всегда одинакова? Разве человек за жизнь свою не проходит путь? Разве этот путь не есть изменение души в лучшую сторону, если вера, конечно, не оставляет человека? По крайней мере, про себя-то она хорошо знает, что от внешнего она шла к внутреннему, сокровенному содержанию, к тому, чему и учат святые отцы. Но разве предатели видят это? Они, отрекшиеся от веры своих отцов и дедов… Ее, которая приняла и поняла именно русскую веру, объявили немецкой шпионкой, а сами сделали своим богом немецкого еврея Маркса. Но и те, кто Маркса не принял, — нисколько не лучше. С немцами заключили самый позорный в истории России мир, лишь бы прорваться к власти и узурпировать ее.

Она решила больше не думать об иудином племени. Зачем? Если она ответила себе на главные вопросы, если муж понял ее, а она поняла его, что еще надо? Отчаяния у нее нет, потому что она знает — страдания не повергают верующего человека, а ведут ко Христу.

Прав Федор Тютчев, который написал, что Христос обошел всю Русь. Если бы это было не так, разве могли бы петь простые русские бабы, как пели тогда, собравшись у церкви, когда они пришли с Ники помолиться после кончины великого императора?

Этот могучий человек, огромный, как сама Россия, ушел из жизни так неожиданно, что нельзя было поверить, что его теперь нет.

Ее срочно вызвали из Дармштадта, когда стало ясно, что он умирает. Он должен был успеть благословить их брак.

Когда они с Ники вошли в спальные покои императора Александра и подошли к постели, в которой он полулежал, обложенный подушками, она едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть — так сильно он изменился. Лицо исхудало так, что кожа обтягивала скулы. Огромный лоб стал еще больше. Глаза запали, но смотрели пристально и зорко, как раньше. Рядом с кроватью на стуле сидел худощавый священник с мягкой бородой, посеребренной сединой, с гладко зачесанными назад чистыми волосами, тоже поседевшими. Это был отец Иоанн Кронштадтский, которого император почитал как святого.

— Что, страшен я? — спросил Александр, увидев испуг в глазах Аликс. — Что поделать, милая, смерть редко хорошее лицо имеет… А вот ты расцвела еще краше… Подойди ближе. Отец

Иоанн, правда, она хороша?

— Даже очень, — ответил отец Иоанн и встал.

— Нет, не уходи, от тебя у меня секретов нет, — сказал священнику император. — Я ведь, батюшка, не хотел, чтобы Николай на ней женился. Невестой французскую принцессу видел… Ан нет, они меня переупрямили… Любишь ли ты сына моего теперь и готова ли стать его супругой?

— Да! — твердо сказала Аликс, и румянец выступил на ее нежных щеках.

— Ну вот и славно!

Он улыбнулся, и на минуту Аликс увидела прежнего императора — белозубого, крепкого… Может быть, они преувеличили опасность болезни? Ники говорил, что он может пятаки медные пальцами гнуть, железную кочергу в узел связать… Но Аликс знала, что у него отказывают почки, еще какие-то внутренние органы. Это следствие того, что он держал на руках крышу вагона во время крушения поезда. Пусть несколько минут, пусть стенки сошлись углом, но держал! А потом он застудился на охоте, долго шел по ледяному болоту…

— Скажи, милая, — продолжил император уже без улыбки, через паузу, потому что боль, видимо, полоснула его, — ты готова перейти в нашу веру? Николай тебе говорил, что иначе ваш брак невозможен?

— Да! — снова твердо ответила Аликс. — Я не все понимаю в Православии… Может быть, даже мало понимаю, но знаю главное…

— И что же это? — спросил император.

Говорили они на английском, а тут император спросил Аликс по-русски.

— Русский я пока знаю плохо, — ответила Аликс, — изучаю. Можно, я отвечу по-английски?

Император кивнул.

— Если враг голоден — накорми его, если жаждет — напои его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.

— Постой, это ведь из Евангелия? — спросил император. — Отец Иоанн, где об этом сказано?

— В Послании апостола Павла. Вы, принцесса, стоите на правильном пути. Что же касается самой службы, то вы скоро ее поймете.

Потом император попросил отца Иоанна дать ему Феодоровскую икону Божией Матери.

Молодые опустились на колени, и он благословил их иконой.

— Ну вот и славно! — сказал он. — А теперь вот о чем я тебя, милая, попрошу. Попробуй сказать по-русски: «царь-батюшка».

— Царь-батьюшка, — сказала Аликс.

— Нет, не так. Смягчи «р»: «царь». Ну, повтори!

— Царь-батьюшка.

— Батюшка. Попробуй еще!

— Царь-батюшка.

— Превосходно, дело пойдет. В прошлый раз, на свадьбе Эллы, подарок ты от Николая не приняла. А от меня возьмешь, тут твой отец не вправе запретить. Вот, прими!

Он взял коробочку, раскрыл ее. На алом бархате лежал восьмиконечный крест с бриллиантовыми подвесками на левой и правой сторонах.

— Ну что, нравится? Дай-ка я тебе его надену. Снимешь его только в тот час, если захочешь отдать кому-нибудь из своих детей.

«Этот час настал, — подумала Александра Феодоровна, сжимая правой ладонью крест, который оставался на ней с того дня. — Отдам крест Татьяне, она его сохранит. Она позаботится о детях, потому что нас могут убить в любой день. Но детей, детей-то они не тронут!..» Государыня стала вполголоса молиться: «Царице моя Преблагая, Надеждо моя, Богородице...»

Впервые она услышала эту молитву в те дни, когда умирал великий император. Они с Николаем ехали на авто мимо какой-то маленькой церкви, совершая прогулку в окрестностях Ливадии. Николай предложил остановиться и войти в храм.

Шла вечерня. Увидев наследника с невестой, народ расступился, пропуская их вперед, к клиросу. Там стоял небольшой хор — несколько женщин.

И вот тогда Аликс впервые услышала эту молитву. Слов она не поняла, кроме «Богородице». Но ей сразу же стало ясно, что молитва обращена именно к Ней, Матери Божией.

Пение было протяжным, печальным и нежным одновременно. Женщины пели просто, но с такой силой чувств, что сердце Аликс дрогнуло и учащенно забилось.

«О, они просят Ее, просят о заступничестве, конечно. О спасении просят. И я попрошу». Неожиданно для самой себя она опустилась на колени: «Приятелище сирых и странных Предстательнице, скорбящих Радосте, обидимых Покровительнице!»

Сердце сладко замирало, уносило куда-то, почему-то хотелось плакать от умиления и радости — тихой, прежде незнакомой: «Зриши мою беду, зриши мою скорбь; помози ми, яко немощну, окорми мя, яко странна...»

Когда они вышли из церкви, она стала расспрашивать Николая об этой молитве. И он объяснил ей, как мог. С того вечера она стала учить эту молитву, и скоро ей открылась прямая дорога ко Господу, по которой она шла двадцать три года, вплоть до этого часа — 16 июля кровавого 1918 года.

Глава одиннадцатая. Теплые слезы

16 июля 1918 года. День

Когда они все вместе были на воздухе в этом маленьком садике, на душе становилось легче. Она с детства знала, что уныние — грех, но, всегда склонная к задумчивости, размышлению, из-за своей молчаливости многим, даже родным людям, казалась если не гордячкой, то

слишком отстранившейся от всех и замкнутой. Ее всегда прямая спина, уверенно-твердая поступь, весь вид говорил о том, что это именно царица, а когда она была юной — принцесса. А прямой нос, мягкий рисунок губ, нежность щек, покатость высокого, без единой морщинки лба, который обрамляли густые, от рождения вьющиеся волосы цвета красноватого золота, невольно вызывали в душе одно слово — «красавица».

Даже сейчас, когда ей было 46 лет, измученная постоянной, ни на минуту не оставляющей ее тревогой за жизнь больного сына, многие свои болезни получившая из-за этих и множества других страданий, связанных с судьбой мужа, ее семьи, всей России, она все равно оставалась красавицей. Конечно, уже не той, что была в апреле 1894-го, в двадцать два года, когда красота ее цвела, как весенний сад. Теперь юная красота преобразилась молитвенным предстоянием перед Господом. Страдания сделали ее возвышенно-скорбной, строгой и мудрой, и выражение глаз стало, как у святой Софии, матери трех дочерей по имени Вера, Надежда, Любовь.

Дочь знатного вельможи знала, что на ее глазах убьют трех дочерей, если она не отречется от Христа. Она не отреклась и отдала душу Господу, оплакивая убитых чад своих. Так и Александра, царица русская, знала, что и ей предстоит скорбная участь. Только у нее, императрицы, детей не трое, а пятеро, еще любимый муж, который из всех живущих на земле один знает, что она готова на любые страдания во славу Божию.

Она закрыла молитвослов, посмотрела на мужа, который остановился у яблоньки, опустив сына с рук на землю. Яблонька была молоденькая, но на ней уже висели маленькие зеленые яблочки, набиравшие силу.

Государь показывал на них и что-то говорил Алеше, а тот, подняв голову, смотрел то на дерево, то на отца.

Алеша за последний год заметно вырос. Выглядел он сейчас старше своих лет. Волосы его потемнели, расчесаны на пробор и уже не вьются, как раньше. Он строен, подтянут, любит надевать гимнастерку, а не матроску, как раньше. И брюки у него сшиты по-военному, узкие по всей длине, опоясанные сверху ремнем с широкой пряжкой. Когда он стоит вот так или ходит один, без посторонней помощи, когда у него нет ушибов и внутренних кровоизлияний, взгляд его проясняется, глаза светлеют, как будто внутри кто-то поворачивает выключатель, и вспыхивает такой свет, который иначе как небесным не назовешь. Это замечала не только она, мать, но и всякий, кто находился рядом с царевичем.

Она видела это даже по угрюмому коменданту Юровскому, который изо всех сил старался показать, что он доброжелательно относится к узникам, исполняя свой долг по обязанности, и только. Но государыня, научившаяся по глазам людей, с которыми ее сталкивал Господь, определять саму суть того, что составляло характер человека, видела, что Юровскому нравится положение коменданта, заставляющего ее, царя и всю царскую семью вести себя согласно его воле.

Государыня видела и внезапно появляющуюся искреннюю симпатию коменданта к Алеше, которую он тут же подавлял, и наигранную благосклонность к цесаревичу, и трудно скрываемое презрение к государю императору, и злобу к ней, царице. Юровский, как и охранники из австрийцев, немцев, венгров, латышей и русских, с которыми она сталкивалась то в коридорах дома, то в гостиной, то в столовой, то на прогулке, не могли не видеть, что она царица, хотя она была в простом сером длинном платье со всегдашней ниткой жемчуга на шее, который очень любила. Она не один раз слышала, как Юровский нарочно громко говорил подчиненным: «бывший царь», «бывшая царица», но сам при ее появлении замолкал и несколько раз невольно вставал, хотя потом спохватывался и тут же садился, кривя толстые

губы в насмешливой гримасе.

И после рождения пятого ребенка фигура царицы осталась стройной, спина ее не согнулась. Хотя глаза уже не лучились сине-серым сиянием, но все равно она оставалась царицей. В ее облике, взгляде, посадке головы, словах и движениях была видна красота зрелой женщины, величие государыни, несущей свой скорбный крест.

Солнышко выглянуло из-за листвы яблоньки и осветило лицо государыни. Она закрыла глаза, положила ладонь на шею, ощутив цепочку, на которой вместе с крестом висело кольцо с рубином — подарок жениха. С этим прекрасным кольцом она не расставалась никогда. В Кобурге, на свадьбе брата Эрнеста, где присутствовали все европейские монархи, было объявлено, что Николай, наследник престола Российской империи, и Аликс, дочь Людвига IV, великого герцога Гессен-Дармштадтского, становятся женихом и невестой. И вот тогда он подарил ей это золотое кольцо с крупным рубином, отливающим темным багрянцем. Сначала она носила его на среднем пальце правой руки, а потом, после того, как приняла Православие, повесила кольцо на ту же цепочку, что и крест.

Она сделала это без чьей-либо подсказки, сама не зная, почему, лишь потом осознав, что поступила так по воле Божьей. Православный крест и замужество с будущим императором российским слились в единое целое, стали нераздельны.

В те счастливые дни он разрешил ей читать свой дневник и, если ей захочется, делать в нем свои записи.

Когда они прощались, она написала: «Мы навсегда принадлежим друг другу. Я — тебе. В этом ты можешь быть уверен.

Ключ от моего сердца, в котором ты заключен, потерян, и тебе никогда не выйти оттуда».

Это отношение к Николаю она сохранила до сего дня, и свежесть их чувств не была утрачена. Потому что в разные годы жизни он открывался ей, словно заново, когда ей казалось, что она знает его до самых заповедных глубин души. Но он нередко поступал так, как она не могла и предположить.

И само Православие открывалось ей тоже не сразу, а после долгой работы души. Ее мать Алиса, дочь английской королевы Виктории, была человеком верующим, поэтому воспитывала детей в строгом соответствии с заповедями Божиими. Но православная вера во многом оказалась совсем не такой, как вера англичан и немцев.

То, что для протестантов означало конец, самую последнюю остановку на пути к Богу, для русских было началом спасения. Англичане и немцы говорили: «Люби Господа, и Он все даст тебе». Русские говорили: «Верь и каждый день трудись во славу Божию, постоянно молись, и тогда поймешь, почему Спаситель сказал: *иго Мое благо, и бремя Мое легко*». Вот тогда и пойдешь узкой тропой к вратам небесным, а откроются они или нет, зависит только от тебя, потому что только *претерпевший… до конца спасется.*

Когда она узнала, что государь подписал отречение от престола, то не поверила. Этого быть не может, потому что он помазанник Божий и венчан на царство. Он в ответе перед Самим Господом за врученное ему Отечество и народ. Разве мог он отступить, даже под пытками, от самого главного, что дано ему Господом?

Она нисколько не сомневалась в силе его духа, знала, что он человек мужественный, что сломить его волю невозможно, если он убежден в правильности своего решения. Это многие

царедворцы считают его слабовольным, а продажная пресса раздувает миф о его малодушии, называя царя марионеткой в руках немецкой шпионки, как они именуют ее, русскую царицу.

И когда она, напрягая все свои духовные и телесные силы, ходила от постели к постели больных корью детей, которые все перестрадали, один за другим, а жизнь Марии, самой крепкой из них, висела на волоске, когда она ежеминутно ждала возвращения из Ставки мужа, молясь теперь только об одном — чтобы он остался жив, ей открылась судьба мужа и всей ее семьи.

Это произошло, когда она перечитывала то место в Евангелии от Иоанна, где Иисус в храме объясняет фарисеям, кто Он, а они поносят и бесчестят Его: *Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам умер и пророки, а Ты говоришь: кто соблюдет слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? и пророки умерли: чем Ты Себя делаешь?*

Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если Я скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец.

И она уверилась, что государь и муж ее поступил по слову Божию. Она еще не знала обстоятельств отречения, не знала, что государя императора предали все — и командующие фронтами, и думские главари масоны, исполнители воли мировой закулисы, и почти все члены императорской фамилии, и начальник генштаба генерал Алексеев, «косоглазый друг», как называл его император, считая, что тот предан и верен до конца, тогда как Алексеев и был главным губителем и царя, и государства Российского.

Ничего этого Александра Феодоровна не знала. Не знала, что телеграммы за отречение прислали после провокационного запроса Алексеева все командующие фронтами, что масоны Родзянко, Пуришкевич и Шульгин в вагоне императора лгут государю, что «положение безвыходное», что иного пути, кроме отречения, нет. Не знала она и о гнусном предательстве генерала Рузского, командующего Северо-Западным фронтом, который остановил вызванные царем конные и пешие части. А они без особого труда навели бы порядок в Петрограде, где на сторону митингующих, громящих магазины и убивающих всех, кто следил за порядком в столице, стали переходить солдаты из запасных, то есть плохо организованных и не готовых к серьезным испытаниям частей.

Не знала Александра Феодоровна, что, подписывая отречение, государь император не хотел кровопролития своих, поступал так во имя России, коли те, кто руководил армией, обществом, были против него как царя и главы государства. Он весь отдался в руки Божии, поступая точно так же, как поступил Христос, предавая Себя на поругание и смерть, но зная, что Он будет искупительной Жертвой и спасет мир.

Государь, спасая Россию, подражая Христу, проявил не слабость, а силу духа и глубинное понимание роли помазанника Божьего.

Все это Александра Феодоровна узнала позже, когда встретила мужа, уже не царя, а заключенного Временного правительства, которое в полном составе, от первого до последнего человека, было жидомасонским.

Но тогда, ожидая мужа, напрягая все силы, которые дал ей Господь, она снова и снова читала девятую главу Евангелия от Иоанна, где Христос исцеляет слепого. Прозревший сказал: *От не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы*

творить ничего. Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою.

Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему. И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас.

Государыня поняла тогда, что она и есть тот самый слепой, который прозрел благодаря вере православной. И муж ее тоже прозревший, но только намного раньше. А те, кто предал его, или слепые душой, или ослепшие от грехов своих, продавшие душу дьяволу ради власти, славы, золотого тельца.

Когда ей сказали, что государь вернулся, что он уже в Царском Селе, она побежала к нему навстречу.

Аликс быстро спускалась по лестнице, подобрав платье и держась за перила. Она пробежала гостиную и распахнула дверь, оказавшись в комнате для приемов. Он был в шинели, перетянутой ремнями, в фуражке. Она — в черном длинном платье с неизменной ниткой жемчуга на шее.

Секунду-другую они смотрели друг на друга, потом одновременно побежали и обнялись посреди зала.

Слуги с удивлением и восторгом смотрели на них, потому что они были похожи не на мужа и жену, имеющих пятерых детей и проживших вместе уже двадцать три года, а на влюбленных юношу и девушку, которые встретились после долгой разлуки.

Он касался губами ее мокрых щек, а она вытирала его теплые слезы тонкими нежными пальцами.

Когда государь рассказал ей все, что произошло и в Могилеве, и во Пскове, и рядом со Псковом, на станции Дно, она убедилась, что ее размышления об истинном смысле отречения правильны. Она уже не плакала, а только крепко сжимала его руки и смотрела в его серо-голубые неземные глаза. И ей неожиданно вспомнились слова Евангелия: *Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее.*

Глава двенадцатая. Яблоня и яблоки

16 июля года. День

— Посмотри, как наливаются яблоки. Здесь Сибирь, а яблоки родятся не хуже, чем в центре России.

— Почему говорят, что это Сибирь?

— Ну да, правильно, это Урал. Но раньше, когда Татищев по велению Петра Великого основал здесь город и началась добыча золота, отсюда и до самого океана все Сибирью называлось.

— А яблочки как называются?

— Это осенние полосатые. Они будут розовые, наливные.

— Нам их уже не попробовать.

Государь быстро взглянул на сына.

— Все в воле Божией, Алеша. Давай я подниму тебя на руки. Еще пройдемся.

— Нет, постоим. Они все время на нас смотрят. Неужели думают, что мы убежим?

— Убежать отсюда невозможно. Они просто плохо воспитаны.

— Если будут убивать, лишь бы не мучили.

— Сынок, Алеша. — Государь взял Алексея за руку и крепко сжал ее. — Страшна не сама смерть, а ее ожидание. Если постоянно думать об этом, очень просто сойти с ума.

— Но и не думать нельзя.

— Конечно. Но у нас есть оружие посильнее их пулеметов и бомб.

— Я знаю — молитва.

— Да, сынок. Разве ты не веришь в жизнь вечную?

— Верю. Но мне хочется, папа, — он посмотрел на отца и прижался к нему: — Мне хочется иногда… чтобы Ангел Господень, может, Архистратиг Михаил, с мечом… чтобы этих…

— Успокойся, Алеша. Всему свой час.

— А они специально набрали инородцев, да? Русские не смогли бы?

— Ты уже забыл Авдеева и Мошкина? Конечно, им удобнее управлять латышами или венграми. Но негодяев в какой хочешь стране можно отыскать.

— Я понимаю, они ведь были пленные. Они хотят отомстить.

— Давай не будем говорить о них… Вот, например, яблоко. Что ты можешь о нем рассказать? Какую историю?

— Историю?

— Ну да, историю, легенду какую-нибудь…

Алексей задумался, опустил голову.

— Как в райском саду! — подсказала Мария, подошедшая сзади вместе с Анастасией.

— Сам знаю! — Алеша резко обернулся, обиженно глядя на сестру.

Та засмеялась:

— Ладно, я буду змеем-искусителем! — она надула щеки, выставила вперед руки, согнув пальцы так, чтобы они были похожи на клешни.

— Не так, не так, — быстро сказала Настя. — Во- первых, змей соблазнил Еву. И соблазнил, не пугая, а льстиво, сладкими речами…

Государь невольно улыбнулся, глядя, как Анастасия, сделав умильные глазки, словно кошечка поднырнула к брату.

Настя умела изображать близких, знакомых, с большим удовольствием принимала участие в домашних спектаклях. У нее был несомненный актерский талант.

— Ты вместо змея кошку показала, — сказала Мария.

— Домой придем, я покажу, как змеи ползают, — быстро ответила Настя.

— Домой? — переспросил Алексей.

— Не придирайся к словам! — Анастасия поправила шляпку, улыбнулась брату.

— Не будем про змея, — примирительно сказала Мария. — Начали-то про яблоки?

— Вот именно! — Настя весело посмотрела на брата.

— Если ему про яблоки не вспоминается, пусть вспомнит про клубнику!

Тут засмеялась не только Настя, но и все, включая государя.

И Алеша не мог не улыбнуться, и глаза его повеселели.

В каждой семье есть истории, которые домочадцы вспоминают с особой радостью. Истории именно этой семьи. Здесь одно слово служит паролем, и сразу вспоминается, что же произошло.

Алеше было четыре годика, когда на одном из семейных обедов в Царском Селе он залез под стол и снял туфельку у молоденькой фрейлины, которая ему очень нравилась.

Фрейлина вздрогнула от неожиданности, испуг исказил ее милое личико.

— Что с вами? — спросила государыня.

— Ваше величество, — ответила фрейлина, — цесаревич Алексей изволил снять с меня туфельку.

— Ах, вот оно что! — как можно строже сказала государыня, увидев, что белокурая, вся в кудряшках, голова Алеши выглядывает из-за края стола. — Немедленно встаньте и верните туфельку!

— А никакой туфельки у меня нет! — сказал он.

— Покажите ваши руки! — сказала государыня, с трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться.

— Руки? Пожалуйста! — цесаревич вытащил из- под скатерти руки, и все услышали, как туфелька шлепнулась о паркет.

— Вот, поглядите! — и Алеша покрутил ладошками. — Ничего нет!

— Алексей, немедленно поднимите туфельку и сами наденьте ее на ногу фрейлине! — сказала государыня. — Вы все поняли?

— Конечно, — Алеша вздохнул, лицо его стало грустным.

Он оглядел стол, взял с тарелки клубничку, съел ее. Потом взял еще одну ягодку — крупную и сочную. Вдруг какая-то мысль мелькнула в его глазах, и они мгновенно оживились. Он быстро нырнул под стол.

Надев фрейлине туфельку, он вылез из-под стола, обежал его и встал у окна, чтобы хорошо видеть милое лицо фрейлины.

— Ну что, туфелька на месте? — спросила государыня.

— Да, ваше величество!

Вдруг она вскрикнула и резко встала, подняв ногу и сбрасывая с ноги туфельку. В испуге вскочили со стульев и те, кто сидел рядом. Встала и государыня.

— Что там такое? — грозно спросила она.

Дворцовый комендант Воейков, подняв туфельку, увидел в ней на внутренней стельке большое красное пятно.

Воейков был статный, грудь колесом, усы безукоризненно изгибались волной. Голос у него был громкий, командирский.

— Здесь, ваше величество, — сказал Воейков, разглядывая туфельку, — раздавленная клубника.

— Что?

— Клубника, ваше величество, — повторил Воейков.

В наступившей тишине раздался негромкий смех. Это не выдержал и первым засмеялся князь Василий Долгоруков. Он был честен, смел и бесконечно предан царю. В семье его звали Валя. Вслед за князем засмеялся и доктор Евгений Сергеевич Боткин — могучий, плечистый, такой же открытый, как и князь. Широкое, чистое лицо фрейлины Анны Вырубовой, дочери знаменитого композитора Танеева, озарилось веселой улыбкой, и она засмеялась звонко, заливисто. Даже государь, всегда сдерживающий себя, тоже тихонько засмеялся.

Но надо было в это время видеть лицо Алексея — выражение его то и дело менялось. Сначала было ожидание, потом, когда юная фрейлина вскочила, — испуг, затем ожидание наказания. Наконец, когда все уже смеялись и хохотали, — веселая улыбка.

— Графиня, отведите его, пожалуйста, в детскую, — сказала, обращаясь к Анастасии Гендриковой, государыня. — Вы, Алексей, наказаны и остаетесь сегодня без прогулки в саду. Извинитесь перед мадемуазель.

Графиня с выразительными темными глазами, строгая и добрая, подвела цесаревича к фрейлине.

— Простите меня, — сказал Алексей. — Но я хотел, чтобы всем весело было.

Мадемуазель как-то растерянно улыбнулась и пожала плечами.

— Ну все, идем! — графиня Анастасия увела цесаревича…

Долговязый охранник, тот, который играл в карты, когда государь пришел за свечой, с насмешливой гримасой смотрел на царя и детей.

— Веселятся, — сказал он своему напарнику. — Можешь представить, над чем они смеются?

— Тебе-то какая разница? — лениво отозвался второй охранник.

У него было одутловатое лицо, мешки под глазами. Он страдал от болезни печени, разрушаемой алкоголем. Здесь, на Урале, служа вместе с русскими уголовниками, которые теперь стали революционерами, он приучился пить денатурат.

Говорили охранники по-немецки.

— Пусть повеселятся — недолго осталось.

— Тебе не кажется, что они даже не догадываются? Или так легкомысленны?

— Тише. Ты забыл, что она немка?

— Да не слышат ничего. Видишь — опять хохочут, идиоты!

В это время дети вместе с государем подошли к Александре Феодоровне.

— Вам весело, — сказала она. — Ты, Настя, насмешила?

— Вспомнили Алешкину клубнику, — радостно отозвалась Мария. — Туфельку фрейлины. А теперь давайте вспомним Настины башмачки.

— А! Сколько можно об одном и том же! — Алексей поднял руку, в которой держал кусочек мяса, оставленный с обеда.

Спаниель Джой, любимый не только Алексеем, но и всей семьей, послушно встал на задние лапы и застыл, словно окаменел. У собачки была шелковистая светло-каштановая шерсть, мягкие длинные уши, свисающие почти до земли. Глаза карие, умные.

В них сейчас светились любовь к хозяину и ожидание награды.

— Молодец, Джой! — и Алексей отдал собаке мясо.

— А для Джерри ничего не припас?

Из-под рукава Настиной кофточки выглянула мордочка маленькой собачонки, с которой Настя почти никогда не расставалась. Глаза у Джерри были навыкате, блестящие, верхние зубки нависали над нижними, отчего казалось, что мопсик разозлен и сейчас кого-нибудь обязательно тяпнет. На самом деле Джерри была добрейшим существом, веселым и ласковым. Шерстка у нее была такая же шелковая, как у Джоя. Джерри тоже все любили, но особенно — государыня.

— Дай ее мне, — сказала Александра Феодоровна. — Я успела по ней соскучиться.

— Для нее у меня есть сухарик. — Алексей поднес на ладошке угощение.

Но Джерри, понюхав сухарик, отвернулась, да с таким чувством достоинства, что все невольно рассмеялись. Веселее всех — Анастасия, ласково шлепнувшая собачку по короткому хвостику.

Анастасия, взрослея, оставалась такой же веселой и озорной. История с ее туфельками, о которой не захотел вспоминать Алеша, была такова. Она играла в прятки с детьми Пьера Жильяра, швейцарского подданного, который учил царских детей французскому. Пьер Андреевич, как звали его в семье, учил французскому герцога Лейхтенбергского, который приходился дядей по матери государю Николаю Второму.

Рекомендованный царской семье, он, прекрасный человек и педагог, очень скоро стал своим в царской семье.

И вот, играя в прятки с детьми Пьера Андреевича, Настя спряталась за портьеру. Но башмачки ее были видны.

— Анастасия Николаевна, а мы вас видим, — сказала дочка Жильяра, Мари.

— Ну хорошо, я перепрячусь. Отвернитесь!

Настя снова спряталась.

— Анастасия Николаевна, а мы вас видим! — опять сказала Мари, потому что башмачки Насти по-прежнему выглядывали из-под портьеры.

В ответ — тишина.

Мари подошла к портьере и резко отдернула ее. Насти за портьерой не было, на полу стояли лишь башмачки. Пока Мари соображала, что же произошло, Настя вынырнула из-под стола, подбежала к двери и постучала по ней:

— Тук-тука, тук-тука! — и весело, заливисто рассмеялась.

Белые зубы ее сверкали, глаза сияли — как ловко она всех провела!

Смеялся и Пьер Андреевич, принимавший участие в игре. Из-под его прекрасных усов тоже сверкали белые зубы, карие глаза озорно светились. Он всей душой полюбил царскую семью и не оставил ее, когда после отречения государя почти все царедворцы разбежались, как крысы с тонущего корабля. Пьер Жильяр, как и учитель английского Сидней Гиббс, последовали за семьей в ссылку и оставили ее только в Тобольске, когда чекисты приказали им возвращаться в Петроград или идти на все четыре стороны.

— Вот и прогулка закончилась, — сказал Алексей.

Из-за своей неизлечимой болезни, гемофилии, он с годами становился все более печальным. Алеша уже не устраивал розыгрыши, потому что игры внезапно обрывались, пустяковый ушиб на много дней приковывал его к постели.

— Ну и что? Продолжим игру в доме. Маман, ведь мы можем здесь сыграть сцены, как в Царском? Пусть не будет костюмов, но мы придумаем, — сказала Настя.

— А у тебя есть что-то на примете?

— Я вот думала… «Жил-был у бабушки серенький козлик…»

— Что-о?

— Да, козлик! А сделать это, как в «Риголетто». Например, вступление поется, как песенка Герцога.

Настя подбоченилась, правую руку откинула в сторону, ножку отставила (ну просто первый тенор в роли Герцога!) и запела:

— Жил-был у бабушки серенький козлик…

Все так и покатились со смеху.

— Надо же! — государыня смеялась, вытирая слезы. — Маша, Оля, возьмите кресло. Пойдемте, а то наши церберы уже нервничают.

Тем же путем — мимо беседки, где была калитка, через двор, по лестнице на второй этаж — вернулись в свои комнаты.

Государь нес сына на руках. Усадил его в кресло.

— Или ты хочешь лечь?

— Нет, папа, посижу. Не хочется лежать. Если бы ты рассказал мне что-нибудь…

— Из истории?

— Нет, лучше из своей жизни.

— Но в ней нет ничего такого, — он улыбнулся сыну. — Может, ты сам скажешь мне, что хотел бы узнать? Наверное, о войне?

— Да, о войне.

Государь задумался.

Комната, в которой они размещались, была довольно просторной, так что кресло, стоящее у кровати, на которой спал цесаревич, находилось достаточно далеко от кровати государыни. Александра Феодоровна, положив под спину подушки, лежала, взяв в руки книгу, — ноги по-прежнему болели. Лучшим лекарством для нее всегда было чтение.

Она слышала разговор мужа и сына. Между ними не было никаких секретов, но есть обстоятельства, когда самые близкие люди не все могут сказать в присутствии третьего, который не лишний, но все же в данную минуту при подобном разговоре нежелателен.

Александра Феодоровна нашла выход из положения:

— Идите в гостиную, там сейчас лучше, чем здесь, не так душно.

— Право, Аликс…

— Идите. Алексея посади в мое кресло, он его любит.

— Спасибо, мама, — Алексей обнял отца за шею, и государь встал, обхватив сына…

Глава тринадцатая. «Во имя отца и сына…»

16 июля 1918 года. День

— Видишь ли, сынок, — начал государь, — не очень-то я умею объяснять, да и не люблю, если ты заметил. Я старался ставить вопросы так, чтобы собеседник сам нашел ответ. Если же возникало такое положение, что мои высокопоставленные подчиненные не находили ответа и не понимали меня, я молчал, давая им время найти правильное решение. Или хотя бы понять, что заставило меня поступить так, а не иначе. Я знаю, что часто мое молчание они принимают или за согласие, или за мою слабость, но все равно я вел себя именно так, потому что таким меня создал Господь Бог. Иначе вести себя я не могу и не умею. Это такие господа, как Родзянко или Пуришкевич, могут объяснить что угодно, оправдать то, что они еще вчера осуждали с таким же азартом. Я всегда помнил слова Спасителя: *от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.* Поэтому не любил и не люблю говорунов, остряков, у которых все их дело заключается в пустопорожней болтовне.

Государь смотрел на сына серьезно, разговаривая с ним, как равный с равным. Так говорил с ним и его отец, когда выпадало время для серьезных бесед.

— Прости за длинное вступление, но мне хочется, чтобы ты знал: я не трусил в решающие моменты в годы моего правления империей. Двадцать три года… Если мне было страшно, я подавлял страх. Я понимал, что от моего решения зависит судьба России. Слишком велика была ответственность, чтобы позволить себе слабость. Никто не должен видеть государя слабым, да и не может правитель такой страны, как Россия, быть слабым!

Чтобы понять войну, надо знать, кто руководит войсками и какие перед собой ставит цели. Отец мне говорил: «Избегай войны, но держи в полной готовности войска». Еще он говорил, что у России только два надежных союзника — ее армия и флот. И это правда, потому что в моменты, когда надо было спасать Францию от полного разгрома, мы начинали наступление. Они же всегда медлили или вообще не помогали нам, и наши войска несли огромные потери. Им было все равно, в глубине души, конечно. Видишь ли, они лишь на словах считают нас европейцами, союзниками. На самом деле и Россия, и русские для них — люди второго сорта, дикие, отсталые. Кто-то из их острословов, Вольтер, кажется, сказал, что копни любого русского поглубже — и обязательно найдешь в нем татарина. Понимаешь, о чем я?

— Да, папа. Но ведь Пьер Андреевич, Сидней Иванович — совсем не такие.

— Конечно. Ты сказал: «Пьер Андреевич», «Сидней Иванович». То есть они стали по духу русскими, поняли и полюбили Россию и нашу семью. Ты, слава Богу, не читал тех газет, где маму твою называют немецкой шпионкой, подчеркивают без конца, что она немка, а не русская. Да и про меня писали много раз, что я никакой не русский царь, потому что мать у меня датчанка, а отец родился от немки, поэтому у меня ничего русского нет. Но они забыли, что все русские императоры Романовы — православные цари, что они венчаны на царство по закону Божьему, и управлять великой державой им всегда надлежало так, как Господь повелел в России. Поэтому мы были и есть русские цари, а императрица Александра Феодоровна в тысячу раз более русская, чем многие княгини и графини. Они кичатся своей русскостью, а на самом деле давно англичанки и француженки, потому что не понимают и не любят наш народ. В церковь ходят не потому, что душа зовет, а по обязанности, положение в обществе заставляет.

— Я слышал, сестры говорили, что они втайне и веры другой, и занимаются какими-то колдовскими делами.

— Да, это спириты. Развелось много тайных обществ. В них, к несчастью, входят и наши родственники.

— Но, папа, я не могу понять, — сказал Алексей с серьезностью, которая появилась в нем с марта прошлого года, после того, когда ему сказали, что его отец больше не император и что у России теперь уже никогда не будет императоров, — я не могу понять, почему они против России? Почему отрекся от престола и дядя Михаил? Мы будем такой страной, как Франция?

— Не знаю, сынок. Так, значит, Господу угодно, чтобы Россия претерпела страдания. Во искупление всех наших тяжких грехов.

Он замолчал, отвел глаза от сына. В углу гостиной, где они вели разговор, в деревянном вазоне росла пальма, опустившая ветви к полу — непременное украшение домов всех зажиточных обывателей. Над пальмой висела картина в тяжелой резной раме, пейзаж Шишкина. На переднем плане река, за ней лес, справа раскидистое дерево. Стены оклеены обоями, тоже самыми заурядными, с вазончиками, все это бледно-коричневого цвета. Мебель достаточно дорогая, наверное, дубовая, темно-коричневого цвета, как в домах у богатых купцов или промышленников.

Этот инженер Ипатьев недавно купил дом у промышленника, который уехал куда-то и, может быть, даже и мебель свою продал новому владельцу особняка.

Вся эта обстановка — начиная с люстр, кресел, покрытых бархатными накидками, массивных столов и высоких столиков с круглыми столешницами для цветов, — свидетельствовала о хозяевах как о людях, которые долгим и упорным трудом «вили гнездо», в строгом соответствии с представлениями о том, каким должен быть «порядочный» дом.

В гостиной, ближе к окну, стоял аквариум, довольно большой. Но ни воды, ни рыбок в нем не было. И всякий раз, когда на глаза государю попадался этот аквариум, он думал о том, что и его дом сейчас вот так же пуст. Но ни безвкусные обои, ни живопись, тут и там висевшая на стенах, ни пустой аквариум не раздражали государя. В доме было чисто, паркетный пол хоть и не натерт, но чист (за исключением тех комнат, в которых расположились наемники). В них-то, в их лицах, одежде, взглядах, было заключено как раз то, что государю надо было преодолеть, сохранив душу в том состоянии, когда можно думать и о Боге, и о России, и о своих близких.

— Конечно, Алеша, война — это целый ряд многих причин, обо всем не расскажешь, да и надо ли? — продолжил государь. — Ты теперь достаточно взрослый, чтобы самому во всем разобраться. Я лишь хочу сказать о некоторых понятиях, которые тебе самому нелегко уяснить… Тебе сейчас тринадцать. И мне было столько же, когда произошло событие, которое сильно изменило и мой характер, и мое отношение к людям. Я присутствовал при смерти моего дедушки, императора Александра Второго. Ты видел его портреты, но поверь, Алеша, твой прадед в жизни был другой, портреты не передают того, каким он был. Вот тетю твою, Елизавету Феодоровну, теперь игуменью, кто только ни пытался нарисовать, а никто не смог. Потому что есть непередаваемые черты души человека особого склада. Таким был и император Александр. Я восхищался им. И вот представь: он лежит с оторванными бомбой ногами, лицо белое, как мел. Он уже исповедовался и причастился, а теперь призвал всех нас, чтобы сказать последнее «прости». Можешь представить, какие боли он испытывал, как страдал! Но ведь ни слова о себе не сказал, стоны сдерживал, только просил простить его, если кому-то он причинил зло. Знаешь, Алеша, я, наверное, оттого и стал молчалив, что слишком много

перестрадал и передумал после этого дня. Я ведь тоже был шалун и озорничать любил, как и ты, когда был маленький. А после первого марта совсем другим стал… Ну ладно, ведь начали мы о войне.

— Нет-нет, рассказывай, мне очень нужно все это от тебя услышать! Мне, конечно, многое рассказывали и учителя, и сестры. Да я и сам читал. Все эти убийцы, папа… Я не понимаю, почему? Почему обязательно надо убивать? Французы даже гильотину придумали. Зачем?

— Да, Алеша, и я думал об этом… На дедушку покушались шесть раз. А скольких прекрасных людей поубивали! Как раз тех, кто не жалел сил во славу России… Вот это, Алексей, и есть настоящая война.

— Но почему они нас так ненавидят? Мы тираны? Убийцы? Разве ты не за народ?

— Они думают, что без царя им будет лучше. Как будто не было Французской революции, гильотины, о которой ты вспомнил. Вожаки потом головы друг другу поотрубали. Но дело, сынок, даже не в этом. Вернее, совсем не в этом. Отрубленные головы — итог, следствие. А надо найти причину. Верно?

Алексей кивнул. Он любил отца и хотел во всем быть похожим на него. Отец никого не боится и победит любого врага. Алеша видел, как встречали отца в дни торжеств, когда вся страна праздновала трехсотлетие Дома Романовых. Или в тот день, когда была объявлена война Германии. Или когда прославляли преподобного Серафима Саровского. А как отец любит маму, детей… В Ливадии, когда на моторе поднялись высоко в горы, а потом шли пешком, на площадке одной горы устроили настоящий бастион. Бегали, играли в снежки. И Пьер Андреевич бегал, как мальчишка. И папа бегал и весело смеялся, когда Алеша угодил снежком ему в лицо.

А как папа умеет даже в самые тяжелые минуты не пасть духом, найти для всей семьи занятие, которое приободрит, отвлечет от невеселых дум! Например, после кори, которой все переболели в Царском, а Мария и Анастасия — еще и воспалением легких. Уже они были под стражей, и отец спокойно вел себя, даже когда солдаты закуривали при нем и не отдавали честь. Отец придумал заняться огородом. В саду устроили грядки, стали выращивать овощи.

Еще отец очень добр и прост и никогда не будет превозноситься даже перед самыми обыкновенными солдатами. В Тобольске он пилил с ними дрова, играл в шашки, расспрашивая их о жизни и беседуя, как равный с равными. И все они, сначала настроенные против него, как врага народа, кровавого убийцы, очень скоро смотрели на него с восторгом и любовью.

Чекисты вынуждены были менять караульщиков, потому что сами видели — царь и есть настоящий отец солдатам, всему народу.

Но папа совсем другой, когда разговаривает с подчиненными. И хотя он никогда не кричит, редко повышает голос, они не могут ослушаться его.

Так почему же им надо убить такого царя? Где они найдут человека лучше папа, который сможет управлять государством? В самом деле, в чем причина ненависти? Почему результат — отрубленные головы не только королей, императоров, но и самих революционеров?

— Я не знаю причину, папа. Я не знаю, как это можно жить без царя…

— … и без Бога, — добавил государь.

— А, вот оно что! — понял Алексей. — Они считают, что Бога нет, — этот Мошкин орал похабные частушки про попов, а они все хохотали…

— Да, сынок, в этом-то все и заключено. Если не веришь в Отца и Сына… можно оправдать любое убийство. Понимаешь?

— Причина войны против нас — это война против Бога?

— Против нашей веры. Если не будет Православия, не нужен ни царь, ни закон Божий. Тогда очень легко завоевать нашу страну. А она богата, огромна. Тогда они будут жить очень хорошо, потому что все наше отнимут и присвоят себе. Они говорят, что строят рай на земле для всех, а на самом деле строить будут его для себя. Потому что иначе не бывает. Есть те, кто управляет, и те, кем управляют. Таково общество. Все очень просто, верно?

— Да, я теперь знаю. То есть я и раньше… Но не очень-то ясно… представлял.

— Я рад, что помог тебе разобраться. В этом пункте и очень мудрые мужи спотыкаются. И лбы расшибают.

— Какие же они «мудрые»? — Алеша улыбнулся.

В это время в гостиную заглянул наемник.

— Вам надо идти в свою комнату, — сказал он по- немецки.

— Оставьте дверь открытой, — ответил государь. — Я сейчас закончу разговор с сыном.

— Поскорее. Герр комендант не разрешает долго находиться здесь.

Алексей не знал немецкого, но понял, о чем говорит белесый охранник.

— Ну вот, сегодня мы хорошо с тобой побеседовали, — сказал государь. — Я давно собирался поговорить на эту тему, да как-то не решался. Признаться, думал, что ты меня не поймешь.

— Потому что я маленький?

— Тринадцать лет — не такой уж большой возраст! — государь протянул руки к сыну. — Скажи, ты скучаешь по ослику Ваньке?

Ослика Ваню купили в цирке Чинизелли. Этот ослик на арену не выходил по солидности лет. Он ленился, не выполнял команды, лишь ловко выворачивал карманы дрессировщика в поисках сладостей. Еще он умел закрывать левый глаз, щурился и подмигивал, чем потешал публику. Особенно Ванька был хорош, когда ему надевали на голову цилиндр, и он потихоньку бежал по арене, кивая головой и подмигивая, как заправский ухажер за дамами.

Ослика Ваньку Алеша очень любил, мог подолгу играть с ним. И Ванька полюбил Алешу, позволял ему кататься на себе, не взбрыкивал, хотя матрос Деревенко постоянно был рядом и зорко следил за тем, чтобы ослик не сбросил цесаревича.

— Ванька, наверное, уже умер, — сказал Алеша. — Или его убили за ненадобностью. Скажи, папа, а в нашем дворце в Царском кто-нибудь сейчас живет?

— Не знаю, сынок. Я просил, чтобы нам разрешили жить в Ливадии, да вот видишь, где они нас прячут «для нашей безопасности».

Государь поднял сына на руки и направился в комнату, где они жили втроем.

— Папа, я еще хотел спросить, почему люди… которые кричали «ура», когда мы ехали мимо них… почему теперь они так переменились? Почему?

Государь усадил сына на постель. На круглом столике лежало Евангелие, и государь взял его.

— Все ответы здесь, — сказал он.

— А о чем ты спрашивал, Алеша? — спросила государыня.

— Почему они кричали нам «ура» и даже плакали от восторга, а теперь ненавидят? — Алексей посмотрел на мать скорбным, недетским взглядом.

— Дайте мне Евангелие. Я прочту то место, где Иисус стоит на судилище.

— Я помню, не надо. Люди кричали: «Распни Его!» Но почему? Он же столько чудес совершил. Накормил, напоил. Что им еще было надо?

— Чтобы Он умер и не мешал им творить зло, — ответил государь.

Глава четырнадцатая. «Косоглазый друг»

16 июля 1918 года. Вечер

Государь сел к столу, достал дневник. Он вел его много лет каждый день, но в последние дни записи становились все короче. Мысли были такие, что записывать их было тяжело. Вот и сейчас, взяв ручку, он задумался…

— Почему ты не записываешь свои рассуждения, Ники? — спрашивала государыня, которой он еще с помолвки разрешил читать свой дневник и даже делать в нем свои записи. — У тебя очень интересные мысли, а ты записываешь, сколько подстрелил ворон или с кем обедал.

— Ну, во-первых, я не Руссо, «Исповедь» писать не собираюсь. А во-вторых, если я прочту, с кем обедал, сразу вспомню, о чем был разговор.

— Скрытничаешь?

— Такой характер.

— Ну а про ворон зачем?

— Воронье… это. Да ты разве сама не знаешь?

— Стреляешь… в зло?

— Возможно. Но не надо во всем искать скрытый смысл. Вот ты философские курсы прошла в Оксфорде, и я думаю, что они принесли тебе не только пользу.

— В чем же вред?

— Тебе хочется видеть меня генералом Скобелевым на белом коне. Или царем Соломоном.

— Но что здесь плохого?

— Да ничего. Просто мне больше по душе Михаил Кутузов и мой отец, при котором у России не было войн. И царь Алексей Михайлович.

— Но нельзя отрицать героическое… Ты излишне скромничаешь, излишне. Отец не успел произвести тебя в генералы, и ты, император, до сих пор ходишь в полковниках!

— Ах, Аликс. В чине ли дело? Если при мне, когда я стал главнокомандующим, положение на фронтах изменилось в нашу пользу, то какая разница, полковник я или фельдмаршал?

Не только Аликс, но и мать, и самые близкие люди говорили ему, что он должен придавать большее значение и чину, и общению с подчиненными. Нужно больше жесткости, силы, все должны чувствовать, что он император. Тогда прекратятся разговоры о его слабости, мягкотелости, о том, что им командуют жена и Распутин.

Надо быть… величавее! Они не понимали, что величие совсем в ином. Они забыли о Христе. «Стяжи дух мирен — и вокруг спасутся тысячи».

Не эти ли слова преподобного Серафима все повторяли, когда прославляли батюшку? И разве не видели, как шел народ в Дивеево? Разве не почувствовали, не поняли тогда, что по вере дается Господом всякому, от простого хлебопашца до царя?

Чего они добились, создав Думу, потом свое правительство? Где теперь Львов, Родзянко, генералы, которые требовали его отречения? Скоро все станет известно, потому что все тайное становится явным…

Он отложил ручку со стальным пером, закрыл чернильницу крышкой.

Пора совершить вечернее правило и ложиться спать — уже девятый час.

Они помолились, как обычно пожелали друг другу спокойной ночи и улеглись спать.

Стоило ему закрыть глаза, как снова перед ним поплыли лица — знакомые и незнакомые. Чтобы избавиться от этого, он постарался вспомнить что-нибудь такое, что порадовало бы и успокоило сердце. Но почему-то ничего особенного не вспоминалось. «Я не все сказал мальчику, — думал он. — Да и надо ли? Надеюсь, он правильно меня понял в главном. Конечно, и ему хотелось бы видеть меня на белом коне. Господи, да разве в детстве и я не видел себя таким? Господи, Ты все видишь и знаешь. Твой суд — праведный, Тебя одного убоюся! Ты и скажешь, какой я был царь. Кровавый, как говорят они, или православный, для которого на первом месте были народ и Россия».

Опять стали вспоминаться февраль и март прошлого года. Он не хотел думать о тех днях, но мысли упорно возвращались то в Могилев, то в вагон поезда «Литер А».

Ночью, накануне второго марта, ему тоже не спалось.

Правда, было не так душно, но чувствовал он себя гораздо хуже, чем сейчас.

Первый приступ острой боли он почувствовал в самый неподходящий момент.

Шла утренняя служба, и во время ектеньи он, занеся руку, чтобы перекреститься, едва сдержался, чтобы не вскрикнуть, — по сердцу внезапно резануло, как ножом.

Начальник штаба генерал-адъютант Алексеев, стоявший справа и чуть позади государя,

услышал, как император слабо застонал. Глаза у Алексеева от природы косили, и он, не поворачивая головы, увидел, что на лбу государя выступили капли пота.

Спросить, что случилось, он не решился, но продолжал наблюдать за ним.

— Еще молимся о богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, — возглашал дьякон высоким голосом.

— Господи, помилуй! — пел хор.

Государь, продолжая чувствовать острую боль, все же перекрестился. Он ждал, что боль отступит, как это бывало прежде. Сердце стучало так громко, что ему казалось — стук слышат стоящие рядом с ним.

— О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их Господу помолимся, — продолжал ектенью дьякон.

— Господи, помилуй! — завершал возглас хор.

«Мне нельзя упасть, — слабея, думал государь. — И уйти нельзя. Надо терпеть».

Сколько раз он так говорил себе! С юных лет, когда отец объяснил ему, что государь обязан претерпевать все тяготы, начиная с исполнения положенных норм и особенностей этикета и до высшей Господней воли, которую он должен услышать, понять и выполнить.

— Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию!

— Господи, помилуй!

— Помилуй, Господи! — повторил он за хором.

В Ставку он вернулся из Царского 22 февраля. Михаил Васильевич Алексеев, который молился рядом, приехал за три дня до царя. Начальник Генерального штаба несколько месяцев лечился, и тоже был не совсем здоров, как он сказал государю. У генерала болели почки, еще что-то. Ходил он трудно, часто вздыхал, разговор поддерживал чаще всего по надобности, говоря кратко и словно нехотя. Своей неторопливостью, основательностью, тщательной разработкой каждой операции, каждого шага Алексеев нравился государю. И хотя он знал, что начальника штаба называют «генералом в калошах» за кабинетность, нежелание и неумение общаться с чинами, вообще за отстраненность от реальной жизни, все равно Михаил Васильевич пользовался расположением верховного главнокомандующего. «Мой косоглазый друг». Так называл царь Алексеева среди своих близких. Он верил в преданность и надежность генерал-адъютанта, хотя знал, что Михаил Васильевич бывает недоволен решениями царя. Иногда врожденное косоглазие Алексеева словно помогало ему прятать от государя свои мысли.

Бывало, государь задавал себе вопрос: «А знаю ли я, кто такой Алексеев?» Но тут же он говорил себе, что лучшего начальника штаба не найти, а что до скрытности, то она все же лучше, чем развязность и нахальство многих генералов. Вызывал подозрение и недоумение не только у государя, но и у многих, кто знал Алексеева, его друг генерал Борисов. Это был маленький, толстый, почему-то всегда грязный и небритый человек, общение с которым было неприятно. Этот Борисов слыл знатоком стратегии Наполеона. Алексеев чрезвычайно ценил Борисова и держал его при себе, к удивлению многих.

Когда государь однажды пригласил Борисова к обеду, желая поближе познакомиться с ним, флигель-адъютанту генералу Воейкову пришлось приложить немало сил, чтобы Борисов выглядел прилично. Но через несколько дней он опять обрел свой засаленный вид.

Отношение Алексеева к Борисову стало понятно, когда государь узнал, что они вместе учились в академии, вместе начинали службу. Потом у Борисова случилось какое-то несчастье в семье — то ли жена бросила, то ли еще что-то, но только Борисов замкнулся, стал дичать, бросив службу и людей. Алексеев уговорил жену взять Борисова к ним в дом. Они выходили и вынянчили Борисова, а потом Михаил Васильевич взял его служить к себе в штаб.

Узнав все это, государь стал относиться к Алексееву еще лучше. Ему казалось, что набожность начальника штаба согласуется с его поступками в жизни.

Но государь лишь позже понял, что вера Алексеева шаткая, и он может совершать не только добрые дела.

— Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим! — возглашал дьякон.

— Тебе, Господи! — ответил хор.

Боль отступала, но медленно. Государь осторожно достал из кармана платок и вытер пот.

Немногословность генерала Алексеева, конечно, хороша, но за его скрытностью есть что-то нехорошее. Это государь ясно осознал, когда Владимир Николаевич Воейков сказал, что Алексеев обмолвился, будто положение в Петербурге катастрофическое, его уже не исправить. Это замечание потому так поразило царя, что он через Алексеева послал телеграмму на имя великого князя Михаила, своего брата. Государь сообщал, что он не считает возможным отложить свой отъезд в Царское (об этом просил Михаил Александрович) и выезжает 28 февраля. Также сообщалось, что в Петроград отправлен генерал-адъютант Иванов как главнокомандующий Петроградским округом, а с фронта направляются четыре пехотных и четыре кавалерийских полка для наведения порядка в городе.

Так в чем же дело? Почему положение «нельзя исправить»?

Уже потом он узнал, что Манифест об отречении вызревал в Мариинском дворце, был передан в Ставку, что на регентство уговаривали Михаила, говорили ему, что «ответственное министерство» должен возглавить князь Львов, что все это знает Алексеев.

— Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и добраго ответа на Страшнем Судищи Христове просим! — возгласил дьякон.

Государь уже смог поклониться и понял, что и на этот раз Господь его миловал: сердце теперь билось в обычном ритме. Когда после службы выходили из храма, Алексеев, пряча свои косые глаза, сказал, что он плохо себя чувствует, поэтому просит прощения, что не придет на ужин. Государь понял, что Воейков сказал правду: начальник Генерального штаба не верит, что государь восстановит порядок и победит. Но не хотелось даже думать, что Алексеев на стороне предателей.

— Ну так поправляйтесь, Михаил Васильевич, — сказал бледный, измученный государь своему генералу.

— Поцелуемся на прощание!

Государь ощутил на щеке прикосновение влажных губ Алексеева и посмотрел ему прямо в глаза.

Алексеев потупился и, кланяясь на ходу, суетливо повторял:

— Ангела Хранителя, Ангела Хранителя в дорогу…

И глядя на этого пятидесятилетнего человека, по виду уже старика, в принципе обыкновенного генерала-штабиста, которого он так возвеличил, государь вдруг понял, что произошло.

«Что делаешь, делай скорее», — вспомнились ему слова Спасителя, сказанные Иуде. И уже в вагоне, сидя у окна, смотря на сиротливую землю, в подтеках грязно-серого снега, на голые мокрые деревья и избы, казавшиеся сейчас такими же одинокими, как и он сам, государь все более и более приходил к той мысли, что он находится не в окружении верных друзей, а предателей. Даже те, кто говорил, что любит его, изменили.

Вот сообщили, что от станции Малая Вишера, куда прибыли в час ночи, дальше ехать к Царскому нельзя — следующие станции Любань и Тосно заняты бунтовщиками. Решено было ехать на Бологое — Дно.

На станции, название которой вызвало невеселые мысли, его ждала телеграмма от председателя Государственной думы и председателя Временного комитета Родзянко. Этот тучный, говорливый, такой важный и чрезвычайно ценящий себя господин всем поведением старался показать, что он хозяин положения. На самом деле он был пешкой в руках Совдепа — поезд ему не дали, к государю он не попал. Некто Бубликов, инженер-путеец, уже считался министром путей сообщения и держал управление железной дорогой в своих руках.

Но это государь узнал потом, а сейчас ему сообщили, что Родзянко не приедет.

«Дно, — думал государь. — Вот я и доехал *до дна*. Дальше пути нет».

— Государь, надо добираться туда, где есть аппарат Юза, — сказал генерал-адъютант Воейков.

«Какой он хороший человек, — подумал государь. — Вот этот никогда не предаст. Никогда».

Но именно по таким людям, как Владимир Николаевич Воейков, как князь Долгоруков, граф Татищев, как раз и наносились самые сильные удары.

У Воейкова в землях Пензенской губернии, потомственно ему принадлежащих, была обнаружена минеральная вода, которую по месту нахождения он назвал «Кувакой». Владимир Николаевич наладил продажу этой воды. В Думе Пуришкевич, один из «героев» убийства Распутина, известный еще и фельетонными стишками, выступил с обличением Воейкова, сказав, будто бы тот использовал государственные деньги на свою «Куваку». И под аплодисменты всей Думы он назвал Воейкова «генералом от кувакерии». Было учреждено расследование, все обвинения Пуришкевича оказались ложью. Но острота «генерал от кувакерии» пошла гулять по России.

Так клеветали и позорили не только близких царю людей, но и самих царя и царицу. Ловко назвал свой фельетон о Романовых беллетрист Амфитеатров — «Господа Обмановы»…

— Думаю, нам надо ехать во Псков, — сказал Воейков, когда «Литер А» стоял на станции

Дно. — Там штаб. Войска. Надеяться на Рузского особо не приходится, но что поделаешь…

— Да, конечно, — согласился государь, — Едем во Псков.

Отношение государя к генералу Рузскому, командующему Северо-Западным фронтом, было иным, чем к Алексееву. Рузский был человеком нервным, самоуверенным, все «метил в Бонапарты». О себе он был мнения чрезвычайно высокого и как личное оскорбление воспринял назначение Алексеева начальником Генерального штаба. По своим убеждениям Николай Владимирович Рузский был либералом, в царе видел причину всех бед России, так как считал его тряпкой, а при генералах своего штаба однажды выразился, что «страной правит безумная женщина».

Об отношении к себе Рузского государь знал (не в столь карикатурной, конечно, форме), но с поста командующего фронтом его не смещал, потому что знал и о способностях Рузского как военного специалиста.

Если Алексеев отмалчивался, прятал глаза, говорил предположительно, часто употребляя выражение «как бы», то Рузский наседал, говорил много, не давая собеседнику вклиниться в свою речь. Он относился к тому типу людей, которые, увлекаясь своей идеей, уже не видят ничего другого. Тех же, кто им возражает, считают или людьми недалекими, или просто дураками. Они, одушевляясь своими словами, тем больше верят в них, чем больше говорят. Бывает с ними и так, что если начнут с сомнения, еще плохо уверенные в своей правоте, то обязательно закончат утверждением уже категорическим, которое, по их мнению, единственно правильное.

Поезд пришел во Псков ночью. Никто царя не встречал. Платформа, слабо освещенная, была пуста — никого, кроме дежурного. Спустя минут пятнадцать показалась сутулая фигура Рузского, который медленно шел, перешагивая через рельсы. И по этой походке (государь смотрел в окно), и по платформе, мокрым рельсам, и, главное, по тому внутреннему чувству, которое не покидало его, он понял еще яснее, что вершится необратимое, уже заранее предрешенное.

Оставалось только узнать, как он будет отстранен, и увидеть лица предателей.

Впрочем, этого, Рузского Николая Владимировича, государь знал.

Вот он начал говорить. Нарисовал картину, из которой нет выхода, кроме одного: правительство надо распускать, создавать новое, ответственное перед Думой и Государственным советом министерство. Только что, сказал Рузский, он подробно говорил с председателем Временного комитета Родзянко Михаилом Владимировичем. Составлен Манифест, который государь должен подписать. Если этого не произойдет, народную стихию никто не остановит — рухнет и монархия, и государство, и армия. Если же подписать Манифест, ответственное перед палатами министерство начнет управлять страной, то есть «государь царствует, а министерство управляет».

— Мне для себя ничего не надо, — объяснял Рузскому государь. — Я ни за что не держусь. Но я не могу, нет у меня права передать все дело управления Россией в руки людей, которые сегодня у власти, а завтра где? Они могут нанести величайший вред России, а потом умоют руки и уйдут в отставку.

Доводы государя были просты и ясны. Рузский это понял, но говорить и действовать иначе, чем он договорился с Родзянко, уже не мог. Вопреки самозваному «временному комитету», который реальной власти не имел, Рузский спокойно мог сформировать сильный отряд и

двинуть его на Петроград, арестовав заговорщиков. Можно было быстро установить порядок среди солдат запасных полков, плохо обученных и не готовых к серьезным боевым действиям.

Но ничего этого Рузский не сделал. У него была иная цель — устранить от управления страной царя. Он верил, что в России будет — завтра уже — парламентская республика, что власть — у Родзянко и его комитета. Страна пойдет по правильному пути, как страны Европы. Он был не русский, а Рузский, как скаламбурил кто-то из его подчиненных. Ум его был настолько обужен понятиями исключительно военными, что не мог вместить мистического смысла понятия «помазанник Божий». Он не понимал и куда более простой, земной мысли: родзянки, гучковы и прочие милюковы нужны истинным хозяевам положения для того, чтобы устранить царя сначала «на законном основании», уничтожив монархию, а потом и уничтожив государя физически.

Тем более генерал Рузский, считая сейчас себя фигурой, вершащей историю, даже мысли не мог допустить, что и он сам не более как пешка в руках мудрейших гроссмейстеров. Он хотя и был членом масонской военной ложи, но знал только то, что положено было знать на его уровне.

— Я ответственен перед Богом и Россией за все, что случилось и случится, — сказал государь. — Будут ли министры ответственны перед Думой и Государственным советом, безразлично. Видя, что делается министрами не ко благу России, я никогда не буду в состоянии с ними соглашаться, утешаясь мыслью, что это не моих рук дело, не моя ответственность.

— Да ведь никто против этого и не говорит, — устало и раздраженно сказал Рузский. — Все знают… ваши качества. Но вы же понимаете, что иного выхода у вас нет? Для блага России… и чтобы не было междоусобного кровопролития! Родзянко сообщает, что войска, посланные в Петроград, надо остановить. В них нет никакой надобности.

— Почему?

— Потому что, создав ответственное правительство, мы выбьем главный козырь из рук восставших. Не нужны будут силы.

— Выдумаете?

— Конечно! Ну против кого им стрелять, если все их требования будут удовлетворены? Палаты выбраны народом, так? Правительство отвечает перед народом. Что еще надо? Да ничего! А пришлем войска — сразу накалим обстановку. Думать будут, что порядок восстанавливаем силой. Что обманываем.

Рузский был уверен в справедливости своих доводов. Ему казалось, что дело обстоит именно так, как он говорит. Он верил Родзянко, который был всего лишь мыльным пузырем, изображающим из себя правителя России. Реальная власть была в руках Совдепа. Суханов (Гиммер), Стеклов (Нахамкес) и другие руководители Совета рабочих и солдатских депутатов давали разрешение Родзянко на создание Временного правительства. Они хорошо понимали, что это правительство действительно временное, что как только не будет царя, прибудут в Петроград их вожди, скинут временщиков и свершат «всемирную социалистическую революцию». На деньги еврейских банкиров, подданных германского правительства, в запломбированном вагоне через линии фронтов беспрепятственно приедут Ленин (Ульянов), Зиновьев (Апфельбаум), Войков (Вайнер) — как раз те люди, которые и будут в числе главных действующих лиц в судьбе государя и его семьи.

Из Нью-Йорка на комфортабельном пароходе отправятся в Петроград не менее важные вожди «пролетариата», возглавляемые Львом Троцким (Лейбой Бронштейном). На царя, на Россию их двинет капитал, сосредоточенный на Уолл-стрите банкирами, среди которых особенно рьяным будет Яков Шифф.

Лидеры Думы, создатели Временного правительства, считали, что это они вершат историю, они ведут Россию к «европейской цивилизации», что на этом пути у них есть «добрые друзья» в Европе и Америке. «Добрые друзья» на февраль, потом на октябрь семнадцатого года дали сто миллионов долларов в ценах тех лет.

— Ну, решайтесь, Ваше величество! — резко сказал Рузский. — Вы должны думать и о себе, и о своей семье. Кто их защитит, если вы не остановите войска? Они будут знать, что вы решили, — я обязан телеграфировать. Михаил Васильевич возложил обязанности на меня, так как сам он нездоров… к аппарату не подходит.

Государь молча посмотрел на Рузского. Он ждал, что этот человек, так уверенный в своей правоте, обязательно скажет о семье царя. Это же очень веский аргумент, как его не использовать…

— Дело не столько во мне и в моей семье, — сказал государь. — Я вам говорил, что лично мне ничего не надо. Но я не верю в ваше «ответственное правительство». В то же время, если можно избежать кровопролития, надо идти на ваше предложение. Я никогда не хотел и не хочу, чтобы лилась кровь. Я согласен подписать Манифест. Текст, конечно, готов? Он у вас?

Рузский при всей своей наглости смешался. Он никак не ожидал, что государь в состоянии предвидеть действия Петрограда и Ставки.

— Я… сейчас принесу, — запинаясь, сказал он.

— Идите. А я составлю телеграмму Иванову.

Как только Манифест был подписан государем, Рузский вместе со своим начальником штаба генералом Даниловым отправился в город.

В половине третьего ночи і марта они были на связи с Родзянко.

Но теперь Родзянко сообщал, что Манифест опоздал. Требование другое: отречение Николая Второго в пользу наследника Алексея при регентстве великого князя Михаила Александровича.

Требовалось «дожать» царя. Родзянко властно сообщил, что для принятия отречения едут во Псков представители Думы Гучков и Шульгин. Рузский об этом должен доложить государю.

Такого стремительного развития событий генерал не предполагал. Накрывшись шинелью, он прилег на диван, приказав разбудить его на рассвете. Ему требовался хотя бы кратковременный отдых. Прилег, также накрывшись шинелью, и государь.

По-прежнему не было вестей из Царского, где все дети больны. В Ставке нет человека, который помог бы ему и России. Там помогают его врагам, это теперь совершенно ясно.

Алексеев сказался больным. Гимназический прием…

И тут опять государю вспомнился «косоглазый друг» на паперти храма в Могилеве, как он,

пряча глаза, торопливо говорит: «Ангела Хранителя, Ангела Хранителя в дорогу…»

В четверть второго марта 1917 года начальник Генерального штаба Михаил Васильевич Алексеев дал телеграмму номер 1833 вдогонку генералу Николаю Иудовичу Иванову, посланному верховным главнокомандующим в столицу для наведения порядка: «Частные сведения говорят, что 28 февраля в Петрограде наступило полное спокойствие. Войска, примкнув к Временному правительству в полном составе, приводятся в порядок. Временное правительство под председательством Родзянко, заседая в Государственной думе, пригласило командиров воинских частей для получения приказаний по поддержанию порядка. Воззвание к населению, выпущенное Временным правительством, говорит о необходимости монархического начала в России, о необходимости новых выборов для выбора и назначения правительства. Ждут с нетерпением приезда Его Величества, чтобы представить ему все изложенное и просьбу принять это пожелание народа.

Если эти сведения верны, то изменяются способы ваших действий. Переговоры приведут к умиротворению, дабы избежать позорной междоусобицы, столь желанной нашему врагу, дабы сохранить учреждения, заводы и пустить в ход работу.

Воззвание нового министра путей сообщения Бубликова к железнодорожникам, мною полученное кружным путем, зовет к усиленной работе всех, дабы наладить расстроенный транспорт. Доложите Его Величеству все это и убеждение, что дело можно привести мирно к хорошему концу, который укрепит Россию. Алексеев».

Копии этой телеграммы, остановившей войска, идущие за царя, за Россию против временщиков, были посланы всем главнокомандующим.

Предательство свершилось.

А *как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим.*

Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь.

Глава пятнадцатая. «Не моя воля, но Твоя да будет…»

16 июля 1918 года. Вечер

Не спится.

Духота. Если бы, как прежде, утомился работой, то бессонница отступила бы. И в Царском, и в походе, и в гостях, где приходилось ночевать, он всегда спал хорошо. Это отец приучил с детства всех пятерых детей спать на простых солдатских кроватях и жестких подушках. Утром, в любое время года, они обливались холодной водой. На завтрак ели кашу.

Как жаль, что быстро пролетело время! 6 мая, в день памяти Иова Многострадального, ему исполнилось пятьдесят лет. На один год он прожил уже больше, чем его отец. Восшествие на престол Александра III состоялось 2 марта 1881 года. И 2 марта 1917 года государь император Николай Второй подписал Акт отречения от престола.

Второго марта… Они пишут о Манифесте отречения. Но был другой Манифест — о создании «ответственного правительства», который они не приняли. Об отречении же был Акт, а не Манифест. Это ведь совсем разные понятия. Было еще «Прощальное слово к войскам». Как узнал государь, это «Слово» запретил распространять в войсках Гучков, военный министр.

«Слово» царя до войск не дошло.

Гучкова государь хорошо запомнил. Он, конечно, знал об этом «неторгующем купце», как сам себя называл этот думский лидер, красноречивый оратор с репутацией героя. Он воевал в Африке на стороне буров против англичан. Воевал в Македонии на стороне восставших. То есть изображал русского Байрона. Вот только стихов не писал. Зато был хорош собой, смел, решителен. Жизни своей не пожалеет за Родину. Родина его, разумеется, должна быть либеральной, но при сохранении монарха. Главные фигуры в правительстве — представители крупного капитала, как это и начертано на знаменах партии октябристов, один из создателей которой — он, Гучков Александр Иванович.

Он был председателем III Государственной думы. И еще председателем масонской военной ложи.

Вместе с Гучковым к царю ехал во Псков Василий Витальевич Шульгин. Это был лидер «прогрессивных националистов», депутат Госдумы, редактор газеты «Киевлянин». Его избрали во Временный комитет. Как человека, который сам себя называл монархистом, его решили направить к государю.

Но приезд Гучкова и Шульгина оказался формальностью — все было решено до их появления во Пскове.

Утром, после чая, с докладом опять явился Рузский.

Государь принял его все в том же вагоне-салоне, обшитом зеленым шелком. Он сидел у небольшого четырехугольного столика, бледный, спокойный, сосредоточенный. Все в той же темно-серой черкеске, с кинжалом в серебряных ножнах на поясе.

Но было и нечто в лице государя, что делало его выражение не таким, как вчера.

Рузский, сосредоточенный на том, что он должен сказать, не заметил ничего. Юрий Никифорович Данилов, начальник штаба фронта, человек куда более умный и наблюдательный, чем его начальник, заметил: под глазами государя кожа потемнела, появились морщины, которых прежде не было.

Но особенно поразили Данилова глаза государя. Непроницаемо-светлые, они вызвали в памяти генерала воспоминание о том, когда он впервые увидел Белое море. Это было летом. Светло-голубое море, ровное, совершенно неподвижное, казалось бескрайним. Вода прозрачная, но Данилов ничего не увидел сквозь ее толщу. Море хранило свои тайны.

Это воспоминание пронеслось в сознании Данилова, когда он попытался определить, о чем государь сейчас думает, но ничего не мог прочесть по глазам императора.

Генерал Саввич, Сергей Сергеевич, ныне занимал должность начальника снабжения фронта. Служить ему пришлось и во Владивостоке, начальником крепости, и в Сибири, где он командовал армейским корпусом. Был он и генералом от инфантерии по Генеральному штабу. Не думал генерал, что ему придется стать свидетелем события, которое он будет помнить до последней минуты своей жизни.

У Рузского глаза были в красных прожилках, под глазами мешки, но китель не помят, волосы аккуратно причесаны, усы нафабрены. Для официальности визита он взял с собой генералов Данилова и Саввича.

— Ваше величество, — начал Рузский, протягивая государю тексты переговоров с Родзянко, телеграммы Алексеева и ответы командующих фронтами, наклеенные на листы. — Вы должны ознакомиться с этим. Прошу вас!

Государь взял листы и стал внимательно читать. Тексты телеграмм были ошеломляющими, но ни один мускул на лице государя не дрогнул.

«Да он что, каменный? — подумал Рузский. — Или не понимает, что происходит?»

— Вашу телеграмму о создании ответственного правительства я не послал, — сказал Рузский, когда увидел, что государь прочел телеграммы. Говорил Рузский нарочито медленно, разделяя слова. — Так как вы сами видите — создавать ответственное правительство поздно. Речь идет о вашем отречении в пользу наследника при регентстве Михаила Александровича.

Государь отложил листы. Посмотрел на окно, плотно занавешенное шторами.

«Западня, — подумал государь, — Алексеев без моего ведома дал запрос всем командующим фронтами… Вел переговоры с Родзянко, а для меня сказался больным… Они все давно решили — без меня».

Тишина стояла такая, что не было слышно даже дыхания присутствующих.

Гробовая тишина.

«Господи, что же это он? — думал генерал Данилов. — Хоть бы крикнул, порвал листы, выгнал нас!».

И опять это сравнение глаз государя с морем, которое он наблюдал с борта парохода, возникло в его сознании.

Генерал Саввич вообще не смог бы вымолвить и слова, если бы его о чем-то спросили. Дыхание перехватило, в груди возникла боль — будто туда воткнули тупой предмет.

Больше всего государя поразила телеграмма великого князя Николая Николаевича, дяди, который был Верховным главнокомандующим, а сейчас командовал Кавказским фронтом. «Николаша» столько раз клялся в преданности государю. Его любили в войсках, ценили за мужество, связывали с ним надежды на победу. Высокий, худощавый, с удлиненным лицом, похожим на лицо деда, императора Николая I. Как ему верил государь! И вот он телеграфирует. Государь взял листы и еще раз прочел, что написал его дядя, выразитель мнения большинства Дома Романовых:

«Генерал-адъютант Алексеев сообщает мне создавшуюся небывало роковую обстановку и просит меня поддержать его мнение, что победоносный конец войны, столь необходимый для блага и будущности России, и спасение династии вызывает принятие сверхмеры.

Я, как верноподданный, считаю по долгу присяги и по духу присяги необходимым коленопреклоненно молить Ваше императорское Величество спасти Россию и Вашего наследника, зная чувство любви Вашей к России и к нему.

Осенив себя крестным знамением, передайте ему Ваше наследие. Другого выхода нет. Как никогда в жизни, с особо горячей мольбою молю Бога подкрепить и направить Вас.

Генерал-адъютант Николай».

«Какой же он „верноподданный“? — думал государь. — Так поступали и фарисеи. Командующие против меня, Дума и их правительство тоже против...»

Государь отвернулся от зашторенного окна и поймал злобный взгляд Рузского.

«Однако хуже Алексеева и Николаши вот этот... Но уже недолго мне осталось видеть его».

— Я еще вчера понял, что Манифест о даровании ответственного правительства не поможет, — сказал государь ровным голосом. — Если надо для блага России, чтобы я отошел в сторону, я готов. Но я опасаюсь, что народ этого не поймет. Скажут, что я изменил клятве своей в день священного коронования. Еще обвинят, что я бросил фронт.

— Отчего же «обвинят»? — ехидно сказал Рузский. — Вы объясните в отречении, почему оставляете трон. Именно на благо России, как вы сказали. И главнокомандующего назначите — Николая Николаевича... Впрочем, о назначениях можно потом. Сейчас — главное. Я, как главнокомандующий Северо-Западным фронтом, полностью поддерживаю решения начальника Генерального штаба и председателя Государственной думы. Они правы — у вас нет иного выхода, как отречение. Вот и генералы мои подтвердят... Юрий Никифорович?

— Да, положение действительно такое, ваше величество, — сказал Данилов.

— Сергей Сергеевич?

Саввич кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Внезапно странный звук вырвался из его груди, и он опустил голову. Плечи его затряслись, он прижимал кулак то к одному глазу, то к другому.

— Ну? — Рузский смотрел на государя так, будто это он мучает их. — Решайтесь!

— Я принял решение, — ответил государь, продолжая сохранять самообладание, а оно было в этот момент выше человеческих сил.

Он встал и осенил себя широким крестом.

— Я принимаю решение отказаться от престола в пользу своего сына Алексея, — сказал он ясно и твердо.

Потом, после небольшой паузы, сказал слова, поразившие даже Рузского:

— Благодарю вас всех за доблестную и верную службу. Надеюсь, что она будет продолжаться и при моем сыне.

Рузский, который минуту назад почти кричал на государя, смотрел на него с нескрываемым почтением. Чувство преклонения перед мужеством государя испытывал и генерал Данилов, а генерал Саввич залился слезами, чего с ним никогда не было до сего дня и часа.

Генералы ушли, но государь знал, что муки сегодняшнего дня не окончены. Предстояло сказать о своем решении генералам свиты и посланцам Временного комитета, которые уже были на пути во Псков. Надо еще написать текст Акта отречения, послать телеграммы в Ставку и Думу. Кроме того, он решил поговорить с лейб-хирургом профессором Федоровым — возможно ли в будущем вылечить наследника. От этого зависит текст отречения. И еще много других вопросов предстояло решить в теперешнем новом для себя положении, которое не принесет ему ничего, кроме новых страданий — государь это хорошо знал. Но он также хорошо

знал, что спасет его. Если он до последней минуты будет с Господом, то и Господь не оставит его.

А над Псковом, над Петербургом, над всей Россией, в самом имени которой заключена синь, сгустилась тьма. Небо опустилось низко и превратилось в сплошную черноту, а приятный легкий морозец, в эту пору веселящий душу, стал холодным, леденящим морозом.

Платформа вокзала, слабо освещенная, покрылась корочкой льда, и дежурный шел по ней мелкими шажками, боясь упасть. Согбенная фигура солдата виднелась на краю платформы, а фонарь, тускло горевший, желтел в черноте.

Свистя и пуская клубы пара, к платформе подошел паровоз с несколькими вагонами. Полковник Мордвинов, флигель-адъютант, встретил депутатов Думы Гучкова и Шульгина и повел их к вагону государя.

— Что в Петрограде, господа? — спросил Мордвинов.

— О, вы себе представить не можете, — ответил Шульгин, озираясь вокруг. Он поскользнулся и упал бы, если бы его не подхватил под руку Мордвинов.

— Как у вас тут, однако! — Гучков шел, семеня.

Оба депутата были в черных пальто, в шляпах-котелках. Мордвинов обратил внимание, что у Шульгина усы были густые, длинные, стрелами. У Гучкова усы и борода холеные, с благородной сединой.

— Вы не поверите, но мы находимся в руках этой самой народной массы, — сказал Шульгин. — Вернемся, а нас могут арестовать.

— Вас? Народных избранников? — удивился Мордвинов. — Так что же вы предполагаете делать? На что надеетесь?

Гучков продолжал хранить молчание, а Шульгин как- то робко сказал:

— Может быть, государь… нам поможет. Надеемся…

Мордвинов не переставал изумляться — ждали волевых, сильных деятелей, взявших власть, а тут…

Он представил депутатов министру двора графу Фредериксу. Из вагона свиты граф провел депутатов в вагон государя.

Император впервые лично разговаривал с этими людьми.

«Какой у них, однако, странный вид. Не бриты. Воротнички грязные. Неужели не могли взять в дорогу свежее белье?»

— Общее положение сейчас таково, что весь Петроград в брожении, — начал Гучков. — Беспорядки приняли масштабы катастрофические, и если бы не Дума, возник хаос.

Гучков прикасался то к усам, то к виску, и государь заметил, что руки у «лидера Думы и героя освободительных войн» трясутся.

— Нам удалось наладить связь с воинскими частями через Советы, выяснить их требования…

Чтобы продолжить войну до победоносного конца, необходимо принять условия тех, кого не устраивает прежний порядок.

Гучков продолжал говорить о положении в Петрограде в той же безличной форме, никак не обращаясь к государю, будто читал лекцию…

Государь смотрел прямо перед собой. Глаза его оставались непроницаемыми.

Потом заговорил Шульгин. И у него тряслись руки, и он говорил сбивчиво, тоже в общих чертах.

Послышался шум, и в вагон без доклада вошел Рузский. Он только что отчитал подчиненных, что ему не доложили о приезде депутатов. Ведь именно он должен был встретить их и лишь потом идти к государю.

— Вечно путают, — продолжал ворчать Рузский, подчеркивая, что он хозяин положения, а не кто- либо другой. — Мне не доложили, господа, о вашем прибытии. Путаница…

Он поздоровался за руку с Гучковым и Шульгиным, поклонился государю.

Гучков подождал, пока Рузский утихнет, и, обращаясь к государю, произнес наконец то, ради чего приехал сюда с Шульгиным:

— Мнение Временного комитета, поддержанное командующими фронтами, — ваше отречение.

И Гучков замолчал, боясь взглянуть на государя. Шульгин вынул из кармана платок, вытер пот со своей бритой наголо головы.

— Я принял решение. До трех часов сегодняшнего дня я думал, что могу отречься в пользу сына Алексея… Но к этому времени я переменил решение в пользу брата Михаила… Надеюсь, вы поймете чувства отца…

Государь встал и прошел в свое отделение вагона. Через несколько минут он вернулся…

Акт об отречении был подписан.

Но почему-то он был напечатан на пишущей машинке и подписан государем карандашом…

А ведь пишущей машинки в вагоне-салоне государя поезда «Литер А» не было…

Вот текст Акта:

«В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требуют доведения войны, во что бы то ни стало, до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными союзниками нашими сможет окончательно сломить врага.

В эти решительные дни в жизни России почли Мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и в согласии с Государственной думой признали Мы за благо отречься от престола государства Российского и сложить с себя верховную власть.

Не желая расставаться с любимым сыном нашим, Мы передаем наследие наше брату нашему Великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на Престол государства Российского. Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой Родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед ним повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа вывести государство Российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России!

Николай.

2 марта. 15 часов. 1917 г.

Министр Императорского двора генерал- адъютант граф Фредерикс».

Депутаты и Рузский торопливо ушли, а государь отдал распоряжение ехать в Ставку, а оттуда в Царское. Теперь поезд вряд ли кто остановит.

Он записал в дневнике: «В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого… Кругом измена, трусость и обман».

Стук колес немного успокоил его.

Он думал об Алексееве. О том, какую телеграмму он дал командующим. Ответ об отречении диктовался просто: «Если вы разделяете этот взгляд, то не благоволите ли телеграфировать весьма спешно свою верноподданническую просьбу Его Величеству…»

«Благоволили дать просьбу… убрать меня».

Как они теперь встретятся? Впрочем, Алексеев, как обычно, спрячет глаза.

Государь взял Евангелие, раскрыл его: *Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение.*

И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился, говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет.

…И сейчас, лежа на кровати в доме инженера Ипатьева, вспоминал он эти слова Спасителя.

И еще вспомнил другое событие, которое произошло с ним в Крыму, в те счастливые дни, когда еще ничто не предвещало страданий.

Был солнечный день, нежаркий, с прогретым воздухом. Ветер касался лица, словно лаская его. Они с Аликс сидели в открытом авто, на заднем сиденье, любуясь видами, которые открывались взору. Дорога шла вдоль моря, оно сияло, вспыхивая на солнце серебристыми искрами. Слева высились горы, покрытые орешником, кустами снежного ягодника, терновника. Деревья, цепляясь корнями за уступы, были невысокими, но крепкими, с густыми ветвями. Попадались и голые каменистые склоны, то темно-серые, то черные, с розовыми прожилками гранита.

— А не поехать ли нам в монастырь? — предложил он. — Здесь не так далеко, а мы с тобой там

давно не были.

— Я с удовольствием, — сразу же согласилась Аликс. — То-то отец-настоятель обрадуется!

Они улыбнулись друг другу, вспомнив прошлую свою поездку в монастырь, радость отца-настоятеля, игумена Тихона, который не знал, как угодить царю и царице, которые почтили монастырь своим посещением.

Георгиевский монастырь был особенным, редким для России. Он находился в двенадцати верстах от Севастополя, в семи верстах от Балаклавской бухты. Необычность монастыря заключалась в том, что находился он высоко в горах, наподобие птичьего гнезда прилепившись к скалам.

Монастырю более тысячи лет. Храмов два. Один внизу, у воды. Здесь, по преданию, во время бури, когда гибли греческие мореплаватели, на камне по их молитвам явился Георгий Победоносец и усмирил бурю. Спасшиеся мореплаватели построили часовню в память о своем чудесном спасении, а потом появился и монастырь с храмом во имя Георгия Победоносца.

Когда в 1850 году праздновали тысячелетие со времени основания часовенки, положившей начало монастырю, решили заложить еще один храм, на высоте две тысячи футов, где была удобная площадка для строительства.

Произошло это в праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня, поэтому храм и стал так называться.

Царская чета, узнав о Георгиевском монастыре, решила обязательно помолиться там, ведь он находился на такой высоте, у самого неба!

Прошлый приезд был запланированным, а нынче они приехали неожиданно.

Игумен Тихон, крепкий старец с курчавой черно-белой бородой и такими же длинными густыми волосами, так и просиял от радости, когда ему сказали, что приехали государь с государыней.

Игумен готовился к обедне. Царственные особы не стали нарушать монастырский устав и вместе с братией встали на молитву.

Служба шла обычным чередом, но когда заканчивали петь «Господи, к Тебе воззвах!» — в храме возник какой-то странный шум. Там, у самого входа, происходило что-то необычное. Один из монахов, пробежав вдоль стены храма, зашел через дьяконские врата в алтарь, чтобы сообщить отцу настоятелю о каком-то чрезвычайном событии. Игумен что-то сказал монаху, а сам пошел к выходу из храма.

— Государь, — тихонько сказал он, вернувшись и подойдя к царю. — Прошу вас прервать на минуту молитву и последовать со мной.

Государь повиновался.

Когда вышли из храма на паперть, царь увидел двух старцев, стоявших один подле другого. Солнце освещало их так, что отчетливо были видны лица, глаза и каждая черточка ликов этих молитвенников.

Они были монахами-отшельниками, жили в пещере намного выше монастыря. Пещеру их

никто не видел. О том, что старцы живы, узнавали лишь по тому, что пищу, которую монахи оставляли на тропе, отшельники забирали.

У одного из них, высокого и худого, была длинная седая борода. Другой был среднего роста, борода у него была не столь длинная, но тоже седая.

— Просили на минуту позвать вас, — сказал игумен. — Это наши старцы.

Оба монаха, ни слова не говоря, низко, в землю, поклонились государю.

Он тоже поклонился им.

После этого старцы молча повернулись и ушли по тропе в горы.

Государь смотрел им вслед, пораженный произошедшим.

— Я, государь, осмелился вас из храма вызвать, потому как старцы первый раз из пещеры своей сюда пришли, — сказал игумен. — И вот что еще… О вашем-то приезде никто и знать не знал…

Государь кивнул, все еще находясь под впечатлением произошедшего.

— По молитвам, значит, они ваше величество узрели, — сказал игумен.

Государь хотел спросить, почему старцы поклонились ему до земли, но не стал.

А потом, когда на яхте «Штандарт», уже другим летом, шли мимо Балаклавы, он о многом догадался.

На обрывистом скалистом берегу, на вершине скалы, ближней к морю, стояли два человека. Они повернулись лицом к морю, будто дожидаясь, когда яхта пройдет мимо них. Яхта шла на довольно большом расстоянии от берега, но двое на скале были хорошо видны.

— Кто это? — спросила государыня, подходя к мужу.

Он пристально смотрел на скалу и ничего не ответил.

Там стояли монахи-отшельники.

Их седые бороды развевал ветер.

Тот, кто был выше ростом, поднял руку и широким крестом перекрестил государя и государыню — на палубе в это время больше никого не было.

Таким же широким крестом перекрестил царскую чету и второй старец.

— Это они, те самые? — спросила Александра Феодоровна.

— Они…

Государь подумал тогда, что и земной поклон, и это благословение имеют глубокий смысл, в котором, быть может, заключена его судьба.

«Да, — думал он и сейчас, засыпая в душной комнате „Дома особого назначения“. — Они

поклонились не мне, а моим испытаниям… И благословили меня, чтобы я претерпел до конца…».

И с этой мыслью, к которой он пришел раньше, государь император Николай Второй заснул.

Было десять часов вечера.

Глава шестнадцатая. Вторая тайна убийц

16 июля 1918 года. Ночь

Все подготовлено, глупо волноваться. Наоборот, надо радоваться, что все в полном порядке. Посты на местах, вызваны нужные люди, и они тоже на месте, в соседней комнате. Они понимают, что им предстоит сделать.

В том смысле, что надо стрелять в царя, царицу, их детей, слуг.

Вот и все.

Остального они не понимают.

И это хорошо.

Юровский одернул китель, поелозил в кресле, в котором сидел, ожидая Ермакова. «Ермаков должен прибыть на грузовике к десяти. Он еще раз разведал место, где надлежит уничтожить тела. Надо выставить двойную охрану. Первую — на подходе к урочищу Четырех Братьев, вторую — вокруг самого места уничтожения. Должно быть, помимо авто, телеги, конное и пешее сопровождение.

Ермаков все сделает.

Неважно, что он ублюдок. Важно, что он может спокойно убивать, стреляя в людей, как в тыквы. Он хороший для дела товарищ. Самое главное — надежный».

Юровский встал, прошелся по комнате. Это комендантская. Довольно-таки просторная, мебель неплохая.

Впрочем, это не имеет никакого значения, кроме одного.

Он, Юровский, находится здесь накануне великой миссии, которую понимают лишь избранные.

Он оказался в их числе.

Он — наконечник стрелы. Она вонзится в сердце царя.

«Так, без десяти десять. Посты уже трижды проверены. Что делать? Вот что — надо поесть». Он вынул из буфета с утра приготовленную для него поваром Харитоновым котлетку с огурчиками и картошечкой, посыпанной свежим зеленым луком. Одну котлетку он съел в обед, после вкуснейшего супа с грибами, а вторая оставлена на ужин. «Надо отдать должное этому повару. Еще бы, разве мог быть у царя плохой повар! Готовит, стервец, прекрасно.

Можно было бы сохранить ему жизнь, чтобы он готовил для них, чекистов, но свидетели не нужны.

Доктор Боткин тоже хорош в своем деле, но и он свидетель. И Анна Демидова, аппетитная горничная, тоже хороша».

Юровский разжег примус, поставил на него сковородку с котлеткой и картошечкой. Масло сливочное, его принесли монахини из монастыря. Вчера они, как обычно, принесли молоко и яйца в корзинке — другие продукты он запретил. Яйца с корзинкой он возьмет с собой. Монахиням сказал, чтобы больше не приходили. Яйцами он перекусит там. Молоко отдал им. Котлету съест сейчас. И все.

Дом закроется. Нет, освободится. И он освободится. И народ освободится. И не будет так называемого помазанника Божия. Да какой он помазанник? Тряпка. Слабак. Вот царица… Да, у нее стать. Осанка. Взгляд. Не то что у его жены Мони.

Ничего, эта надменная немецкая женушка будет лежать на крашенном желтой краской полу. И вся ее спесь улетучится, как дым, от выстрелов револьверов и наганов. А у него, Юровского, как коменданта «Дома особого назначения», есть еще и маузер. В крайнем случае, он пустит его в ход.

«Вкусная котлетка. Но почему же нет Ермакова?

Вот особенность русских — вечно опаздывать. Все же они свиньи. Поэтому основные помощники — интернационал. Австрийцы, венгры, латыши. Вот, он уже закончил ужинать, а этого балбеса с волосами, как пакля, все нет! Где он?

Нет, он не подведет. Но разболтанность при внешней принципиальной строгости… Да, свиньи, конечно. И умных людей у русских очень мало. Взять хоть царя. Ну был бы умный, разве бы не понял, что готовится? Разве бы не сумел уехать за границу, еще из Царского, до Тобольска, не говоря о Екатеринбурге? Нет, он дурак, дурак и еще раз дурак! И наивен, как и его сынок! Такие же глаза, такая же улыбка. Вырожденцы. Если бы они были нормальные, разве был бы сынок неизлечимо болен?»

Юровский снова сравнил своего сына с Алексеем. Его сын здоров, крепок. Прекрасно ест. И прекрасно спит. А этот? Сплошные стоны, оханья и аханья… Вот только… Да, это «вот только» и есть момент, о котором он часто думает. Глаза. Почему у него такие прекрасные глаза? Невозможно их описать, невозможно сказать о них так, чтобы определить их…

Глаза!

Они вроде бы такие, как у отца и матери, и в то же время совсем другие.

Что в них?

У его сына ясно, какие глаза. Посмотришь в них — и сразу видно: хочет добиться своего. А свое — такое простое, как дважды два. Поесть, погулять, не делать трудной работы — все перевалить на другого. Это правильно, но не до такой же степени!

Например, он дает сыну задание: отнеси к портному Мойше починить пальто, которое ему, видите ли, перестало нравиться. Так он не только не относит к Мойше свое пальто, а где-то его выбрасывает, а потом говорит, что у него пальто отняли.

Проводится расследование, выясняется, что пальто никто не отнимал, что он выбросил вещь в мусорный ящик. Пальто нашел дворник Шамиль. Определил, что пальто еще можно носить, а потом вспомнил, что это пальто носил сын уважаемого Ян- келя Хаимовича… Ох-ох. Со всеми

надо быть начеку, а с собственным сыном — в особенности.

Десять, а Ермакова все нет!

Если позвонить в Уралсовет или в ЧК, они поднимут переполох. Отвечать придется ему. Ждать. Он вышел в соседнюю комнату, где сидели стрелки. Их называют «латыши». Но латышей-то среди них двое всего…

— Задержка, — сказал он Медведеву, начальнику охраны. — Сохранять спокойствие!

Медведев уже раздал всем револьверы. Лицо у него одутловатое, словно он только что проснулся. Наверное, с утра пил, а сейчас рад бы опохмелиться. Глаза маленькие, заплывшие, но смотрят зорко.

— Если не приедет…

— Видать, с дружками задержался. Ждем еще.

— Сколько? — спросил Медведев.

— Сколько потребуется.

Он оглядел наемников. Нет, они не нервничают. Просто ждут.

— Оружие проверено?

— Да о чем вы, Яков Михайлович? Команда — сами видите — все как на подбор!

«Подбор» действительно хорош.

Лица угрюмые, ничего не выражающие.

— Скоро, — сказал Юровский и вышел. По лестнице поднялся в свою «комендантскую».

Стоявший на посту австриец Рудольф — с длинной шеей, вытянутой вперед дынеобразной головой, с кадыком, похожим на птичий, — вопросительно посмотрел на него.

— Ждать, — шепотом сказал Юровский и показал, чтобы тот сел на свое место.

Прислушался. Тихо. Спят царственные особы. Ничего не понимают, идиоты! Впрочем… Вчера, когда он обходил посты и комнаты особняка, опять обратил внимание на царевича. Тот встал с постели (последнее время он лежал) и сидел у стола, в гостиной. Перед ним лежала раскрытая книга. Царевич был в гимнастерке, точно такой же, как у отца. Оторвался от книги. Юровский сел напротив царевича, в упор посмотрел на него.

— Как здоровье?

— Благодарю. Сегодня мне лучше.

— Можешь ходить?

— Нет. Опухоль на колене еще не прошла.

— Пройдет. Что читаешь?

— Вам интересно? — царевич улыбнулся так открыто, что Юровский растерялся.

— Да, интересно, — ответил он.

— Мама вчера читала нам притчу о зернах и плевелах. Ну вы, конечно, знаете?

Юровский кивнул, хотя не понял, о чем говорит Алексей. В школе при синагоге Евангелие если и упоминали, то всегда в отрицательном смысле. В Германии, где Янкель прожил год и принял лютеранство, христианская вера была для него лишь средством приспособления к новой среде. Идеи Маркса понравились ему гораздо больше других, но и они были тоже средством для достижения своей главной цели — стать тем человеком, который подчиняет себе других, а не тем, кого подчиняют.

— Тогда вы помните, что плевелы, которые засеял враг на поле сеятеля, сразу выдергивать нельзя — так хозяин сказал рабам. Надо ждать, когда созреет пшеница. И только потом собирают плевелы. Вот я и подумал: неужели нельзя иначе? Почему пшенице нельзя расти без сорняков?

Юровский понял, о чем говорит мальчик: речь шла о притче из Евангелия. Но в чем ее смысл, он забыл.

«Ладно, посмотрю потом», — подумал он, взял в руки Евангелие, полистал его и бросил на стол.

— Читаешь ерунду, — вслух сказал он, — и без этой книжонки ясно, что белое не бывает без черного. Читать тебе надо Маркса, и тогда все встанет на свои места.

Важно ступая, Юровский ушел в «комендантскую».

«Надо найти время и прочесть все же про эти плевелы и зерна, — думал Юровский, ожидая Ермакова. — Образование нам необходимо, не быть же такими, как Ермаков. Вот негодяй, опаздывает уже на полтора часа!»

И в этот момент раздался шум мотора — подъехал грузовик. Юровский резко встал и быстро спустился по лестнице вниз. Подтянул ремень, поправил фуражку. Встретил Ермакова в прихожей. Стоило только взглянуть на Петра Захаровича, как сразу стало ясно, что он принял на грудь.

— Ты что? — прошипел Юровский.

— Тихо! — Ермаков выставил руку вперед. — Думаешь, мне было легко? Дорога дрянь, вся разбита… И братва…

— Ты зачем нажрался?! Неужели не понимаешь, что нам доверено?

— Я не нажрался! — повысил голос Ермаков, и Юровский вынужден был закрыть ему рот ладонью.

— Тихо, понял меня? — и, увидев остановившийся взгляд угрюмого Ермакова, толкнул его в комнату, где ждала команда: — Стой там и жди моего приказа. Действуем по плану. Никулин, скажи шоферу, чтобы мотор не выключал.

Никулин, верткий помощник Юровского, бросился к выходу, на бегу поддерживая гранаты,

висевшие на широком ремне.

— Петр, — Юровский вплотную приблизил лицо к Ермакову. — Ты можешь действовать?

— Еще как могу, — ответил Ермаков, выдохнув перегаром самогонки в лицо Юровскому.

— Хорошо! — Юровский с трудом сдержался, чтобы не сплюнуть.

Он нажал кнопку, и в гостиной, рядом с диваном, где был установлен пост, раздался звонок. Янкель пошел вверх по лестнице на второй этаж. За ним двинулись Ермаков, Никулин и Медведев.

— Петр, останься внизу. По моей команде выведешь из комнаты всех бойцов. Слушай внимательно: как только я начну читать решение Уралсовета, выходите и становитесь, как договорились. Понял?

Глаза Ермакова оставались все такими же мутными. Он кивнул.

— Приступаем! — и Юровский пошел по лестнице дальше.

В гостиной они встретили Боткина. Юровский подошел к нему:

— Скажите всем, что надо спуститься вниз, в безопасное помещение. Скоро начнется стрельба. Положение серьезное.

Евгений Сергеевич пристально смотрел на Юровского. «Стрельба? Наступают войска Колчака? Но почему не сказали раньше, когда укладывались спать?» — думал он.

Боткин постучал в дверь комнаты, где спали государь, государыня и Алексей.

— Да? — услышал он голос царя.

— Ваше величество, комендант приказал всем встать, одеться и спуститься вниз, в безопасную комнату. Начинается бой за город.

— Да-да! — отозвался царь. — Сейчас.

Проснулась государыня, проснулись дети.

Александра Феодоровна быстро оделась, прошла в комнату дочерей.

— Вот что, дети, — сказала она, — возможно, нас могут увезти куда-нибудь. Наденьте корсеты и лифы, в которых драгоценности.

— Хорошо, мама, — ответила Татьяна. — А из вещей ничего не брать?

— Пока ничего.

Она вернулась в свою комнату. Вспомнила, что крест с бриллиантовыми подвесками, подарок свекра, хотела отдать Татьяне. Но было уже поздно. Государь и Алексей уже собрались. Оба в военной форме — гимнастерках, брюках, сапогах.

В дверь постучал Юровский.

Государь взял сына на руки.

— Прошу следовать за мной, — сказал Юровский, когда дверь открылась.

По лестнице, ведущей во двор, первым шел Юровский, за ним государь с сыном на руках, государыня, великие княжны, горничная Анна, Боткин. Никулин и Медведев замыкали шествие.

Горничная Анна Демидова взяла с собой пуховую подушку — на всякий случай для государыни. Великие княжны были в длинных дорожных платьях, с рядом белых пуговиц на груди.

Во дворе, над дверью, ведущей в нижний этаж, горела лампочка. Юровский открыл эту дверь. В коридорчике к ним присоединились повар Иван Харитонов, камердинер Алексей Трупп.

Вошли в пустую комнату. Стены оклеены обоями в клеточку, серого цвета. Пол покрашен желтой масляной краской. Слева окно, зарешеченное. Наглухо закрытая дверь.

— Неужели нельзя принести хотя бы стулья? — спросила, осмотревшись, государыня.

— Можно, — ответил Юровский и кивнул Никулину: — Принеси!

Пока Никулин ходил за стульями, всех приведенных в комнату Юровский расставил вдоль стены: Боткина в правый угол, Харитонова и Труппа — в левый, впереди — царя, царицу и наследника, за ними — дочерей. Горничная Демидова оказалась рядом с Боткиным.

Принесли три стула. На них сели государь, наследник, государыня.

Юровский вынул из нагрудного кармана френча решение Уралсовета.

— Господа Романовы! Вот это — решение Уральского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Вы приговариваетесь к смертной казни через расстрел.

Наемники, уже вошедшие в дверь из соседней комнаты, стали в два ряда за спиной Юровского. Правая рука Юровского была в кармане, и едва он закончил читать, как выхватил револьвер.

Пуля разорвала сердце государя. Он упал, и в этот же момент загремели выстрелы убийц. Хмельным был не один Ермаков, поэтому пули летели не только в тех, кого убивали, но и в стены. Они попадали в деревянную заднюю стенку и в боковые кирпичные, отскакивали от них, летали по комнате, как живые.

Пули отскакивали и от корсетов княжон, где были спрятаны драгоценности, увязали в подушке Анны Демидовой, которой она закрывалась от выстрелов.

Убийцы, стоявшие в два ряда, мешали один другому, толкались, кричали что-то невнятное, с удивлением и ужасом видя, что пули летают по комнате, грозя и самим убийцам. От выстрелов в комнате сразу же скопился дым, смрадно запахло. Истошные крики Демидовой разрезали угарный воздух.

Кричала и Анастасия, которой пули пробили руки, плечи, живот, но не тронули сердце.

Кричал и израненный Алексей. Государь умер от первой пули. Сраженная, пала и государыня. Упал, умерев, доктор Боткин, привалившись к стене. Мертвы были лежавшие навзничь на полу Харитонов и Трупп. Убита была Ольга. Но Татьяна и Мария еще жили. Дым настолько плотно

закрыл все пространство комнаты, что разъедал глаза убийц.

— Прекратить стрельбу! — крикнул Юровский.

Наемники опустили револьверы.

Юровский настежь открыл дверь. В наступившей тишине стало слышно, как работает мотор грузовика.

Дым понемногу рассеялся, Юровский увидел залитые кровью тела государя, государыни, княжон.

С удивлением и ненавистью он смотрел на царевича — тот стонал, скорчившись на стуле.

— Гляди, какой живучий! — и Юровский дважды в упор выстрелил в царевича.

Тело мальчика дернулось, он свалился со стула.

Перешагивая через трупы, Юровский разглядывал лежащих на полу.

— Стерва! — он хотел выстрелить в Демидову, которую спасала не только большая пуховая подушка, но и необычайно сильный организм, но передумал.

Он увидел Ермакова, который, выхватив из рук охранника Стрекотина ружье со штыком, колол тех, кто подавал признаки жизни. Удары Ермакова были такими сильными, что штык, проходя сквозь тела, вонзался в пол. Глаза его были налиты кровью.

— Бей! — Юровский показал на Демидову.

Ермаков, высоко замахнувшись, ударил так сильно, что выдернуть штык из тела сразу не смог.

Дым рассеялся, стали видны все убиенные. Ермаков разглядел, что Анастасия еще жива. Наступив ногами на раскинутые руки девочки, он штыком ударил ее. В нем кипела и клокотала свирепая злоба.

— Никулин! Медведев! — крикнул Юровский.

— Да, товарищ комендант!

— Оглобли стоят во дворе, у сарая. Натянуть на них простыни и нести сюда!

— Есть! — нижняя губа у Никулина тряслась, глаза осоловели, будто он опять напился самогонки.

«Почему пули рикошетили? Ага, так вот в чем дело!»

Юровский нагнулся над телом государыни. Платье на животе было разодрано и сквозь дыру сверкнул изумруд. Юровский разодрал платье и снял с государыни пояс с драгоценностями.

Улыбка искривила его влажные губы. Он шагнул к телу Татьяны, зная, что после государыни она главный человек в семье. Ощупав ее, он опять улыбнулся: рука наткнулась на что-то твердое, упрятанное в лифе девушки. Сняв его с Татьяны и прикидывая, куда бы положить драгоценности, он увидел, что команда занимается тем же самым, что и он, — обыскивает одежду убитых.

— Прекратить! — Юровский выхватил из кармана маузер. — Все драгоценности сюда! В одну кучу! Стрекотин, немедленно принести какой-нибудь ящик.

Стрекотин, охранник, успевший спрятать в карман бумажник Боткина, выпрямился.

— Слушаюсь!

Не все убийцы послушались коменданта. Они успели насовать в карманы часы, браслеты, деньги убитых. С особой неохотой оторвался от тела Марии тот самый Рудольф, которого она застукала, когда он воровал вещи из сундука.

— Комараде, ахтунг! — крикнул Юровский. — Сначала дело! Ферштейн? — и он показал, что надо выносить трупы.

Никулин и Медведев уже смастерили носилки.

— Данке шон! — сказал Янкель, потом обратился к латышам: — Лудзу!

Отдельных словечек — немецких, латышских, венгерских — Юровский нахватался, чтобы как-то объясняться с подчиненными. Более всего он знал немецкие слова. Да и «комараде» нахватались русских слов, так что общий язык находили.

Сложив драгоценности в коробку, он отнес их в «комендантскую». Дверь запер. Спустился во двор, наблюдая, как трупы бросают в кузов грузовика.

Через открытую дверь он вернулся в комнату, где произошло убийство. Подняв трупик мопса Джемми, сам бросил его в грузовик. «Собачьи трупы должны быть вместе с царскими», — вспомнил он слова гостя.

«А где же вторая собачка, Алексея? Джой зовут…»

— Стрекотин, ты собачонку царевича не видел?

— Не видел. Поискать?

— Обязательно найди. Тут надо замыть. Ладно, иди, я найду людей.

Он смотрел на пол в лужицах крови, на стены в красных брызгах и дырах от пуль.

«Ладно, потом уберем. Сейчас надо увезти трупы».

— Люханов, ты чего опоздал? — он подошел к кабине грузовика, где сидел шофер.

— Дорога тяжелая, Яков Михайлович, — хрипло отозвался Люханов, водитель из верх-исетских активистов. — Пеньки, кочки… да и братва…

— Что братва?

— Да встретили нас — там застава… Ждут. Конные, с телегами.

— Мотор не глуши.

— Понял, Яков Михайлович.

Юровский вернулся в дом.

Носилки уже были готовы, и на них положили тело государя.

Только приготовились нести, как вдруг охранник, один из верх-исетских, ничем не примечательный, даже лицо-то его не вспомнить, издал протяжный, тонкий крик, похожий на визг собаки, когда она попадает под колеса или когда, поджав хвост, вырвется, оставив клок кожи с шерстью в зубах более сильного кобеля.

Лицо охранника перекосилось, глаза наполнились диким ужасом, он взвыл еще громче.

— Господи! — закричал другой охранник. — Господи…

Все застыли, не зная, что делать.

На вой солдата пришел Ермаков. В руке у него была винтовка со штыком. Замахнувшись ею, он со всей силы ударил охранника по голове. Тот отлетел в сторону, упал и затих.

— Есть еще слабонервные? — спросил Ермаков. — Если есть, лучше пройти в караульное помещение.

В тишине он оглядел всех волчьими глазами.

Никто не отозвался. Подняли носилки с телом государя и понесли к машине. На других носилках несли тело государыни. Во дворе лунный свет упал на ее лицо. Чубатый парень, который нес носилки сзади, увидел лицо царицы. Ее убили выстрелами в сердце, и лицо осталось чистым. При ходьбе охранников голова убитой покачивалась, и казалось, что она вот-вот откроет глаза.

— Господи! — прошептал парень.

— Чаво там? — передний носильщик оглянулся.

Чубатый не ответил. Тело сбросили в кузов — там орудовали еще два охранника.

— Ты вот чаво, — сказал чубатому охранник, который был старше годами. — Не пялься. Ну, будто мешки тащишь. Или там баранов…

— Сам ты баран, — огрызнулся парень. — Эвон, глянь, кто это? — глазами он показал на окровавленное тело Демидовой. — Сколько же разов в нее стреляли, ты погляди…

— Сказал, не пялься! — и пожилой охранник взял за руки тело горничной. — Хватай!

Пока возились внизу, на верхнем этаже шла бойкая работа.

Услышав, как что-то упало наверху, Юровский сообразил, что «комендантскую» он закрыл, а царские-то комнаты остались открытыми.

Он быстро поднялся на второй этаж.

В комнате, где жили государь, государыня и наследник, вовсю орудовали чекисты. Лихорадочно наталкивали в сумки, мешки все, что попадало под руку: белье, верхнюю одежду, обувь, туалетные флаконы, сувениры…

Юровский не знал, как остановить грабеж. Стрелять нельзя. Немецкое «стой!» он забыл. Грязно выругавшись по-русски, Юровский все же выхватил маузер.

«Интернационалисты» с ненавистью смотрели на коменданта. Один из них бросил на пол нижнюю рубашку государыни.

— Каждый из вас получит обещанное вознаграждение, — сказал он. — Но вещи бывшей царской семьи по решению Уралсовета принадлежат советской власти. Всем спуститься вниз! — и он показал маузером на дверь.

«Интернационал» со своими мешками и сумками не расстался — бойцы за народное счастье уходили из комнаты с награбленным.

«Пусть, — решил Юровский, — потом отниму!»

Он окинул взглядом комнату. На полу валялись книги, иконы, вещи. Дверцы шкафов, столов были открыты…

На полу валялось и Евангелие — то самое, что совсем недавно читал цесаревич. Оно было небольшого формата, в хорошем кожаном переплете.

Юровский сунул его в карман.

В это время Шая Голощекин дал телеграмму в Москву: «Передайте Свердлову, что все семейство постигла та же участь, что и главу, официально семия погибнет при евакуации».

Глава семнадцатая. Третья тайна убийц

17 июля 1918 года, 1 час ночи — 8 часов утра

Гость и Юровский вошли в расстрельную комнату. Кровь на полу, на обоях, дверях, следы ударов от пуль, штыков. Кое-где обвалившаяся штукатурка. Пахнет гарью и кровью.

— Янкель, где лежал царь? Здесь? — гость показал на лужицу крови у левого стула.

— Да. Рядом — царенок. Правее — царица. А за ними — княжны.

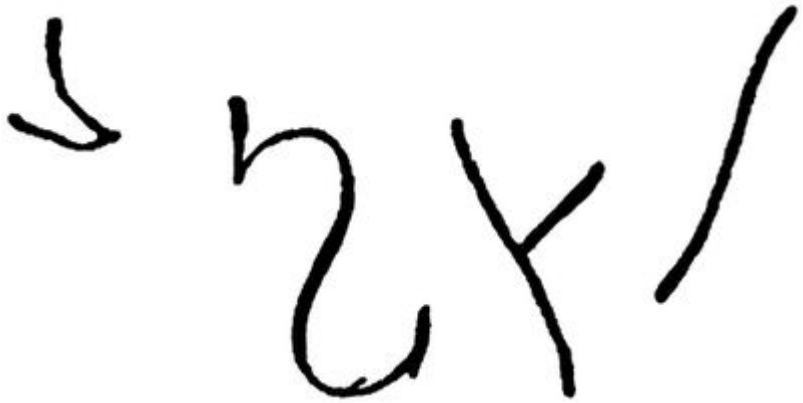
— Хорошо, — гость погладил черную, клином, бороду, доходившую почти до пояса. — Выставь охрану у двери и сам встань, чтобы сюда никто не входил, пока я сам не выйду.

— А зачем?

— Надо, Янкель. Потом скажу. Потом пусть придут женщины — жены караульщиков. Надо все вымыть с мылом и песком.

Юровский ушел.

Гость достал черный мешочек из небольшого чемоданчика. В нем были подушечка, кисточка, флакончик черной краски особого состава. Обмакнув кисточку в краску, гость написал четыре каббалистических знака:



Значение надписи: *Здесь по приказанию тайных сил царь был принесен в жертву для разрушения государства. О сем извещаются все народы.*

На стене гость обнаружил написанные тушью строки из Гейне, из поэмы «Валтасар»:

В ту самую ночь Валтасар
Был убит своими слугами…

«Войков успел начертать, — понял гость. — Интеллигент! Что ж, пускай останется и эта надпись. А это что?»

Гость стал рассматривать надписи на немецком. Это были имена убийц.

«Стереть. Никаких имен!».

Из лужиц крови, что пролилась в этих местах, гость ложечкой стал собирать кровь во второй флакон. Флакон аккуратно спрятал в мешочек, поставил в свой чемоданчик.

Закончив операцию, он вместе с Юровским поднялся на второй этаж.

Гость сразу же увидел железный сундучок, стоявший на столе, до краев наполненный драгоценностями.

— Много украли? — спросил гость.

— Не очень. Я почти все заставил вернуть.

— Хорошо, Янкель. Все самое ценное опечатать и увезти в Москву.

— Дряни много. Иконы, мусор какой-то — камешки, цветочки засохшие…

— Это так называемые святыньки — с разных памятных мест. Все на помойку, иконы разбить!

— А одежда?

— Рассортируйте.

Янкель понял так, что часть можно взять себе, часть раздать персоналу. А сейчас все ценное надо увезти в «Американскую гостиницу».

В комнату вошли Шая Голощекин и Пинхус Вайнер.

— Я подогнал авто, — сказал Шая.

— Правильно. На погрузку поставить надежных людей. А самим вести контроль. Когда ждать Ермакова?

— К рассвету, — сказал Войков.

— Прекрасно! Шая Исаакович, — обратился он к Голощекину. — Вы принесли, что я просил?

— Конечно! — живо откликнулся Голощекин. — В столовой? Или прямо здесь?

— Прямо здесь. Вот на этот столик… Посмотрите — прекрасные царские бокалы, с вензелями.

Голощекин открыл саквояж, с которым пришел, достал штоф «Смирновской» и хотел налить водку в фужеры.

— Только не сейчас, чуть позже. — Гость открыл свой чемоданчик и вынул оттуда флакон с кровью.

Улыбки сползли с лиц Голощекина и Вайнера. Что должно произойти, понял и Юровский.

— Братья мои, — начал гость голосом торжественным и твердым, — этой кровью жертв, которую мы принесли богу нашему, мы сейчас скрепим навеки наш союз и поклянемся: все, что мы совершили здесь во имя его, сохранить в вечной тайне, не говоря о том никому и никогда. Я прочту клятву и молитву на древнееврейском, а потом по-русски, а вы ее за мной повторите. Запомните: тот, кто нарушит данную клятву, подлежит уничтожению. Не укрыться изменнику нигде и никогда от расплаты не уйти…

В это время отряд Ермакова, миновав Верх-Исетский завод, двигался по дороге к Коптякам. Дорога шла полем. Ночь истлевала, воздух был серым, призрачным, влажным. Нудно гудел мотор автомобиля, чекисты, сидящие в кузове по углам, покачивали головами, как китайские болванчики. Им хотелось спать, хотелось в тепло. К плошке с горячим супом или, на худой конец, к чугунку с картошкой.

Чекисты все были иноверцы, попавшие в Россию во время мирового похода. Теперь они продолжали убивать, но уже за деньги. Никто из них не понимал, в какой мясорубке оказался, какой хищный зверь с красным языком, красными глазами и волчьим оскалом управляет ими. Им казалось, что они выполняют высший долг, о котором говорят вожди интернационализма.

Дремавший в кузове австриец вдруг увидел, что из-под солдатского сукна, которым были накрыты тела, выпросталась девичья ладошка. Она была маленькой, белой, и когда грузовик подпрыгивал на кочках, ладошка дергалась. Австриец, нагнувшись, заправил ладошку под сукно, закрыл глаза, чтобы хоть немного подремать. Но в очередной раз, когда машина подпрыгнула, он невольно открыл глаза и опять увидел ладошку. Ему даже показалось, что указательный палец этой ладошки согнулся, будто поманил его к себе.

Наемник выругался и хотел снова натянуть сукно на труп, но в это время услышал голоса и увидел людей, которые верхами, на телегах и пешими стояли на дороге.

Впереди отряда верхом на коне ехал матрос Ваганов, один из помощников Ермакова по верх-исетскому ЧК.

Ваганов уже проявил себя, побывав в «деле» с Ермаковым: стрелял сразу, не раздумывая, бил

наотмашь, мог и с ног свалить. Ходил он в своей матросской форме, в деревянной кобуре носил револьвер, чтобы каждый знал, с кем имеет дело.

— Братва! — крикнул Ваганов. — Дай дорогу!

— Погоди! — отозвался коренастый рабочий в картузе, в коротком, выше колен, пальто, скуластый и востроглазый.

По окрику его, движениям было видно, что он тут за старшего.

— Где Петро?

— Здесь я! — отозвался Ермаков, вылезая из кабины грузовика. — Здорово!

— Здорово! — отозвался коренастый. — А где эти, царские?

— Лежат в кузове. Охрану поставил?

— Погодь. Ты ж обещал их живыми привезти.

Отряд, в основном верх-исетские рабочие, зашумел, задвигался.

— Тихо! — крикнул Ермаков. — Обстановка такая была. И приказ Уралсовета — расстрелять Романовых на месте. Во избежание нападения или еще чего. Чтобы случайностей не было, понятно? И вы должны проявить пролетарское понимание ситуации и выразить общую нашу радость, потому как царизм пал навеки!

— Да ты погодь, комиссар, — сказал, двинувшись вперед, другой рабочий, хорошо знавший Ермакова. — Дай хоть глянем на энтих-то! — и он сунул Ермакову початую бутылку самогонки.

— Да глядите, мне-то что. Только кузов не поломайте!

Задрали солдатское сукно.

— Эка!

— Гляди, мальчишка!

— А энто, сбоку, царица?

— Дурак! Горничная это, царица-то вон, у кабины…

— А девки-то, девки…

— Что девки? Бабы как бабы…

— Да нет…

— Чаво нет? Жалеть их вздумал? Нашей-то кровушки сколько они выпили, а?

— Да ведь оно так, а все ж…

— Ладно, закрывай, нечего глазеть! Ехать надо.

— Мы с вами?

— Куды столько народищу? — крикнул Ермаков. — Пятерых берем, и будя. Остальным стать в оцепление здесь. Второе кольцо поставить у Четырех Братьев. Организуй, — он ткнул пальцем в коренастого, отхлебнул из бутылки и протянул ее знакомцу.

— Да бери с собой, пригодится!

— Ладно, — Ермаков сунул бутылку в карман. — Едем! — и залез в кабину к Люханову.

Отряд двинулся вперед.

Будочник у железнодорожного переезда не высовывался — таков был приказ. Но в окошечко он видел, как проехал грузовик. Ясно, что в нем везли убитых.

За переездом дорога раздваивалась на две ветки. Одна, через лес, вела в деревню Коптяки, другая шла к югу, через болото, местами непроходимое.

Развилка начиналась там, где прежде росли четыре могучих сосны. Место назвали урочищем Четырех Братьев. Теперь на месте развилки торчал лишь один пень.

Обе дороги за болотистым местом, верстах в пяти, соединялись. Весь этот район именовался Ганиной Ямой — по названию маленького прудика, который находился в середине района. Здесь было много шахт, шурфов, котлованов — когда-то велись рудничные разработки.

Ермаков выбрал поляну, которая находилась поближе к руднику, в глухом лесу.

Посреди поляны был глиняный холмик, дальше — заброшенная шахта. На краю росла старая кривая береза, перед ней — кустарник. Грузовик не доехал до поляны, застрял на дороге. Тела убиенных перегрузили на брички. Но и брички не могли проехать к поляне — мешали кусты и деревья. Ермаков приказал срубить молодые березки, сделать носилки. Других заставил разжечь костерок, чтобы отгонять зверевших с каждым часом комаров. Тела перенесли к глиняному холмику, свалили в кучу. Ермаков заглянул в шахту. Она была достаточно глубока. На дне блестела вода.

— Валежнику тащите! — приказал он.

Его покачивало, он чувствовал тяжесть в ногах, гул в голове. Глаза слипались сами собой. Он вытащил из кармана бутылку и отхлебнул.

— Давай! — крикнул Петр.

Убиенных бросили в шахту. Не забыли кинуть туда и трупик мопса Джемми — это был наказ гостя.

Забросали шахту валежником и пошли к машине.

Грузовик к этому времени вытащили из ямы и откатили на дорогу. Сели по местам — в кузов грузовика, по бричкам — и двинулись к Екатеринбургу. Солнце уже светило в небе, перекликались утренние птахи…

Глава восемнадцатая. Четвертая тайна убийц

17–18 июля 1918 года. День, вечер

Когда Ермаков вернулся в Уралсовет, надо было как следует его отматерить за то, что он не

догадался о том, что царские тела по ритуальному закону надо выбросить на помойку — вместе с трупом собаки. Собачка Джемми, которую Анастасия носила то в муфте, то в рукаве, оказалась кстати. Вторая собачка, Джой, царевича Алексея, куда-то пропала. (Позже выяснилось, что ее украл пулеметчик Летемин.)

Теперь по этому же закону предстояло тела поднять и уничтожить. Ермаков едва держался от усталости на ногах. Глаза его слипались. Он не мог понять, почему Голощекин, Сафаров, Войков и даже Юровский, давшие ему прямое указание сбросить тела в шахту, бранят его. Он сел на кожаный диван, свесил голову.

— Мне надо немного поспать, — сказал он.

— Не здесь. Идем в мою комнату, — Белобородов увел Ермакова в кабинет, который находился здесь же, за дубовой дверью.

— Я сейчас. — Ермаков улегся на кровать не снимая сапог. — Сейчас…

Белобородов стащил с Ермакова сапоги. В нос ударил крепкий запах вони. Белобородов поморщился и едва сдержался, чтобы не сплюнуть. Вернулся в кабинет.

— Ну что же, — сказал Шая, — надо ехать. У нас все готово?

— Все! — подтвердил Войков.

Они вышли на улицу, расселись по машинам. Гость, Голощекин, Юровский — в легковую, Войков — в грузовик, к шоферу. Только завели мотор, как в дверях подъезда показался Ермаков.

— Стойте! — крикнул он и быстро подошел к грузовику. — Без меня можете заплутать. Едем! — и он сел в кабину рядом с Войковым.

— Ты несгибаемый революционер, — то ли утвердительно, то ли издевательски сказал Войков.

Ермаков надвинул фуражку на глаза:

— Высплюсь по дороге!

По тому же пути вернулись на поляну Ганиной Ямы. Поставили оцепление, и Ермаков подвел чекистов к шахте, куда ночью сбросили убиенных:

— Здесь!

— Ну, приступим, — теперь командование взял на себя Голощекин, получивший подробные инструкции от гостя. — Нетребин, срубите пару сосен и готовьте кострище. Бочки из грузовика принесите. Петр, кто в шахту полезет?

— Да хоть я! — вызвался пулеметчик Наметкин.

Это был верткий, хваткий мужичонка, всегда готовый услужить. Худощавый, жилистый, умеющий быстро освоить любую работу, он одинаково хорошо работал и за станком, и за пулеметом. Главное, к чему стремился Наметкин, — побольше заработать, а уж что делать — неважно.

Он спустился в шахту и ловко обмотал веревкой тело государя.

— Тащи!

Тела уложили на поляне в два ряда. Они успели заледенеть и сейчас, на солнце, оттаивали. Обескровленные лица стали совершенно чистыми, и если бы не закрытые глаза, убиенных можно было принять за живых.

— Гляди, ну чистые мощи! — сказал бородатый мужик.

— Коли мощи, может быть, приложишься? — Наметкин хохотнул. — А ты, — ткнул локтем чубатого парня, который помогал ему вытаскивать из шахты тела, — можешь теперь форсить — саму царицу тискал!

С протяжным стоном, гулко ухнув, упала срубленная сосна. Ее тут же принялись обрабатывать — срубали лапник, раскалывали на бревна, чтобы сложить кострище.

Тут командовал рабочий Павлушин. Его Ермаков взял как «специалиста по сжиганию», потому что Павлушин работал в котельной. К нему обращались и когда надо было заколоть и разделать корову или хряка. Ударом молота он оглушал быков, после чего вонзал специально наточенный нож в бугорок на голове, и бык, оседая, валился на землю.

Сейчас Павлушин, переваливаясь на толстых ногах, ходил вокруг тел убитых, прикидывая, как их разрубать. Ему было приказано сжечь побыстрее, а для этого тела необходимо расчленить.

— Ну чаво, будете раздевать их? — спросил Павлушин.

Он курил самокрутку, придерживая ее правой рукой. В левой у него был топор. Голощекин обратил внимание, что он остро отточен и сверкает на солнце.

— Раздевать не будем, — сказал Шая. — Сначала отделим головы. Первому — царю.

— Так это у меня просто — одним ударом. — Мясистое лицо у Павлушина выражало полную уверенность в том, что он говорил.

— Подожди, сейчас, — Голощекин отошел к Юровскому.

Тот, сидя на пеньке, еще раз просматривал брошюру на немецком языке по хирургическим операциям — там были в популярной форме изложены правила по отделению органов тела.

— Ну что, Янкель, сможешь? — спросил Голощекин.

Юровскому, как бывшему фельдшеру, было поручено отделить голову царя от туловища. Затем голову следовало погрузить в бочку со спиртовым раствором, специально приготовленную Вайнером. Голову царя обязали доставить в Кремль. Такова заключительная часть ритуального убийства. Новый царь должен видеть отрубленную голову бывшего царя.

— Если не смогу, поручим этому, мяснику?

— Поглядим, как он рубит. И тогда решим.

— Согласен! — Юровский сунул брошюру в карман. — А как с конспирацией?

— Когда приготовят кострище, останемся втроем. Всех отправим в оцепление.

— И Ермакова? Он не уйдет.

— Что значит «не уйдет»? Прикажу командовать оцеплением! — глазки Голощекина стали пронзительными: — Идем!

Кострище подготовили. Бочки с керосином, серной кислотой стояли у края поляны. Рядом, чуть в стороне, — бочка поменьше, со спиртом. Их охранял Пинхус Вайнер. Он должен был поливать костер и тела так, чтобы они сгорели дотла, а кости рассыпались.

— Ну, Павлушин, давай! Ее! — и Голощекин указал на царицу.

Растаявший лед скатывался с лица государыни каплями, и они были похожи на слезы.

Павлушин нанес первый мощный удар. У Голощекина от ужаса сердце сжалось так, что он слабо застонал. Юровский изо всех сил сжал кулаки. Глаза расширились, опять налились кровью — как ночью, когда он палил из револьвера. Войков словно окаменел.

Страшно отточенный топор разрубил рубин «Кабошон», который был в кольце государыни — том самом, что она носила на шее вместе с крестом.

Слетел с шеи государыни и крест с бриллиантовыми подвесками. Вместе с осколками рубина, жемчужиной из серьги Павлушин втоптал крест в глину.

— Ну что, пусть действует? — спросил Юровский.

Голос у него внезапно сел, слова выговаривались хрипло.

— Давай! — Голощекин подошел к Павлушину. — Теперь голову царя. Потом остальные. Понял?

— А чего ж тут не понять? — усмехаясь, ответил «специалист». — Топорчик у меня хороший. Видишь? — и он, подняв топор, поводил им из стороны в сторону, и лезвие опять блеснуло на солнце, уходящем за край леса.

Уже темнело, когда полыхнул костер. Пламя метнулось высоко. Поленья, облитые бензином, горели с треском и гулом. Стоять даже в нескольких метрах от кострища, на котором горели тела, было невыносимо тяжело. Но по инструкции гостя надо было дождаться, пока все сгорит дотла. Затем надо разбросать кострище, чтобы не оставить следов. Оцепление снять, когда на месте кострища останется только зола. Кто сунется — расстреливать на месте.

Тела сгорали на удивление медленно. Войков позвал своих помощников, Быкова и Родзинского, и приказал им подливать в костер бензин и серную кислоту. Сам он делать этого уже не мог — жгло руки, лицо, колени.

Голощекин и Юровский еле стояли на ногах. Только Павлушин действовал без устали. Отирая пот, он подходил к кострищу, шуровал длинным бревном, отклонялся, когда пламя, вспыхивая, поднималось высоко. Лица и руки убийц покрылись сажей, глаза блестели, на щеки ложились красные отблески огня, который время от времени с гулом взмывал вверх. Изуверы были похожи на дьяволов.

Они и были дьяволами.

Глава девятнадцатая. «Взыскание погибших»

19 июля 1918 года. День, вечер.

— Вот здеся ставь свою закорюку, — Пашка Медведев, начальник караула, ткнул толстым пальцем в листок, где были отпечатаны на чекистском «Ундервуде» фамилии всех двадцати шести охранников «Дома особого назначения».

Караульщики, столпившиеся у стола, за которым восседал Пашка, обратили внимание на желтый, с ободком черной грязи, ноготь начальника и на сумму, которая значилась против каждой фамилии, — 415 рублей.

— А почему 415, а не 420, скажем? — спросил Мишка Летемин, тот самый охранник, который заметил, что тело горничной Демидовой пробито пулями но меньшей мере раз двадцать. — Я хочь и не стрелял лично…

— Зато много болтал! — перебил его Медведев.

Эти слова он сказал, чуть усмехаясь, щуря ушлые, зоркие глаза. Мишка Летемин тоже слегка улыбался, давая этой улыбкой понять, что он спрашивает не с какой-то там подковыркой, а так, для интереса. Он тряхнул своим чубом, который часто мыл и расчесывал — чуб кучерявился, загибался волной.

Вообще настроение у большинства охранников было сегодня уже не такое подавленное, с мрачноватым оттенком, как позавчера и вчера. Трупы увезли, полы замыли. Погрузкой царских сундуков, вещей, драгоценностей занимались сами чекисты, а им, охранникам, появившийся сегодня Юровский объявил, что посты завтра будут сняты окончательно. Выдадут дополнительные наградные, предоставят отдых в субботу и воскресенье, а в понедельник — сбор. Кто хочет, может оставаться в доме Попова, в казарме (этот дом находился в Вознесенском переулке, за садом дома Ипатьева), а у кого родня или какие-то дела, пусть приходит сразу на вокзал, для отправки на фронт.

— Поясняю всем, — Пашка перестал улыбаться и выпрямился, оглядывая собравшихся. — На расчет караулу выдано 10800 рублей. Товарищ Юровский отдал распоряжение эти наградные выдать всем поровну. Хотя некоторым полагалось бы выплату уменьшить, и значительно, — тут он посмотрел на Фильку Проскурякова.

Филька нахально улыбнулся — дескать, с кем не бывает — и пожал плечами.

— Поскольку вы едете на фронт, — продолжил Пашка, — выдаю всем поровну. Деньги должны пойти на семейное обеспечение, у кого, конечно, имеется семья. Товарищи Столов и Проскуряков, вам я это говорю особенно…

Столов и Проскуряков отличились пятнадцатого, после выдачи жалованья. Они пошли пьянствовать. Пили денатурат, а на дежурство, шестнадцатого, явились «вдугаря», как выразился увидевший их Медведев. Он отвел их в холодную баню, которая находилась во дворе, запер дверь на замок. Выпустил только ночью, когда надо было замывать полы и стены от крови.

— Ладноть, выдавай, чево там, — сказал Иван Клещев, толстомордый, с животом, нависающим над ремнем, который он то и дело поправлял. — Какая разница — 415 или 420!

— Погодь! — Пашка Медведев выставил вперед руку. — А то еще решите, что я какие-то деньги зажилил. Вот, гляди, Мишка, ты у нас самый грамотный. Арихметику знаешь? Скока нас было в охране, включая пьяных Егорку и Фильку? Двадцать шесть, правильно. Латышей в расчет не берем — они команда особая, а мы — охрана. Делим 10800 на 26. Скока получается? Ну, дели. Давай-давай!

Летемин взял у Пашки химический карандаш с фиолетовым грифелем, послюнявил его и начал делить. Вышло по 415 рублей с копейками, но сколько именно копеек получалось в остатке, Летемин так и не смог сосчитать. Пашка поднял его на смех:

— Ну что, грамотей, скока тебе копеек докласть — четыре аль пять?

Некоторые засмеялись, но Иван Акимов, сысертский молодой парень, которому подошла очередь расписываться в ведомости, даже не улыбнулся. Он держал руки сцепленными, чтобы никто не видел, что пальцы у него трясутся.

В ночь после убийства уснуть он не смог. Его, как и других караульщиков, заставили замывать кровь не только в комнате, но и в коридоре, и во дворе. Утром он собирался сходить к сестре Капитолине, которая жила с мужем и дочкой на Васнецовской улице. Но после всего, что случилось ночью, когда он таскал тела убиенных в грузовик, замывал кровь, а потом узнал подробности убийства, было уже не до сна. Подробности рассказали Ванька Клещев и Мишка Летемин — один все видел в раскрытые двери со своего поста, другой — через окно, из сада. Пашка Медведев иногда поправлял их, так как сам был в расстрельной комнате и тоже дал «выстрела два-три», как он выразился.

Сначала Иван Акимов почувствовал внутри леденящий холод и сильно испугался. Но когда Ермаков ударом приклада повалил воющего Сашку Лесникова, Иван понял, что показывать свою слабость ни в коем случае нельзя. Его начала бить дрожь, и во время мытья полов он старался двигаться быстрее и не попадаться на глаза Ермакову и Юровскому.

После уборки, придя в казарму, он, не раздеваясь, залез под одеяло. Дрожь продолжала сотрясать его тело. Поверх одеяла он накинул фуфайку, укрылся с головой, но дрожь все равно не утихала. Забылся сном только к утру, до пяти провалялся в постели, а после дежурства, попив горячего чая, опять лег, стараясь заснуть. Крупная дрожь утихла, но руки тряслись и сейчас, когда он ставил свою подпись в ведомости.

— Ты чего, кур воровал? — издевательски спросил Пашка. — Или еще чего?

— Не дури. Устал просто, — Иван засунул деньги в карман темного, засаленного по бортам и манжетам, пиджака.

Медведев, обратив внимание на трясущиеся руки Акимова, теперь рассмотрел и его лицо. Глаза у Ивана покраснели, расширились, щеки запали, весь его вид, два дня тому назад собранный и молодецкий, теперь стал жалким и растерянным.

— Ты, парень, вот чего, — назидательно сказал Медведев. — Себя-то прибери. Сегодня как раз можно и чекалдыкнуть. И не денатурки, а хорошей водочки. С хорошей закусочкой. Понял? Иди, отдыхай, но помни, что в понедельник выступаем.

— А куда? — спросил пулеметчик Андрей Стрекотин, парень тоже из сысертских.

Он пошел в караульщики вместе с младшим братом Сашкой — нанимавший их комиссар Мрачковский пообещал хорошие деньги. В охрану в основном попали сысертские рабочие. Были и екатеринбургские, с фабрики братьев Злоказовых. При Авдееве почти все были злоказовские, теперь их осталось шесть человек. Поначалу всех насчитывалось тридцать человек, но Юровский, точно посчитав караулы и разделив всех на три смены, образовал команду в двадцать шесть человек — для внешней охраны. Внутреннюю охрану, которая составила расстрельную команду, образовал «интернационал».

— Выступаем на фронт, Андрюша, — Медведев пригласил Стрекотина к столу, указывая пальцем на ведомость. — Наше дело солдатское — куда прикажут, туда и пойдем добивать буржуйских ублюдков.

— А я вот на фронт идти не рядился, — сказал Мишка Летемин. — Я рядился только в охрану!

— И чё же? Теперь своей бабе под юбку спрячешься, когда белые придут? Думаешь, они тебя по головке погладят? — издевательски спросил Иван Старков, один из тех, кто и на заводе в Сысерти, и здесь, уже в охране, пользовался уважением.

Это он объяснял Летемину, как действовать, когда носили трупы в грузовик.

— Вот это ты верно сказал, Иван, — поддержал Старкова Медведев. — Нам теперь друг без друга никуда. Всем понятно? И что будет за разглашение военной тайны?

Наступила тишина. Каждый из тех, кто сейчас находился в этой комнате, понял, что, действительно, все они теперь навсегда повязаны пролитой кровью.

— Дак ведь латыши стреляли, не мы, — оправдываясь, словно уже на допросе, сказал толстомордый Клещев. — Мы только в охране… И потом, Паша, шило в мешке не утаишь.

— Верно. Уралсовет и чекисты сами все народу объявят, через газету. А наше дело — помалкивать…

Иван Акимов вышел из дома Попова. Кто такой Попов, он не знал, да и знать не хотел. Не знал и про Ипатьева. Не это занимало его и раньше, и сейчас. Перед глазами вставали то горько плачущий поваренок Леня Седнев, которого привели в дом Попова и не стали убивать, то озверевший Ермаков, прикладом бьющий Лесникова, то белое, точно мраморное, лицо княжны Татьяны — они несли ее тело к грузовику за руки и за ноги с Мишкой Летеминым. И если прежде он сторонился Летемина, в душе презирая этого скользкого, как угорь, человека, то теперь приходилось признать, что и он, Иван, ничуть не лучше.

Мишка, уже женатый, покушался на соседскую девчонку двенадцати лет. Он точно бы изнасиловал ее, не приди в тот момент мать девочки — она была подружкой Мишкиной жены. Мишку осудили на четыре года. В Сысерти узнали эту гнусную историю, и поэтому Мишке пришлось уехать в Екатеринбург. И вот надо же, встретились! Сначала на фабрике Злоказовых, а потом и здесь, в охране.

Он шел быстро, надеясь ходьбой унять дрожь — она то проходила, то возникала снова. Солнце поднялось над городом, ярко светило в чистом небе, и день уже был жарким. Но он не видел ни солнца, ни зелени. Взгляд его упирался в булыжники мостовой, в дощатые настилы пешеходных тротуаров. Вот под ногами оказалась утрамбованная земляная дорожка, и он, осмотревшись, понял, что находится на Васнецовской. Дом сестры Капитолины был рядом…

Она сразу заметила, что с братом произошло что- то из ряда вон.

— Ты чего, Ваня? — спросила она, пропуская его в большую комнату. — Что случилось?

— Да ничего, — ответил он, озираясь и снимая заплечный мешок с довольствием. — Геннадий на службе? Тут хлеб, сало… Идем на кухню.

На кухне он уселся на привычное место — между буфетом, стоящим у стены, и столом, где угнездился венский стул.

— Давай чаю, горяченького… Что-то я не в себе…

— Простыл?

— Нет, Капа. Да ты прикрой-ка дверь.

Сестра Ивана была хороша собой — стройная, всегда опрятно одетая, с косой густых светло-русых волос, уложенных на затылке в тугую корзинку. Глаза у Капитолины добрые, заботливые, но когда надо, взгляд становится твердым — она умеет постоять за себя. На чистом высоком лбу у нее завитки волос, которые Иван особенно любил. Капитолина старше Ивана на четыре года. Она нянчила его, а когда он подрос, случалось, защищала от мальчишек. Выучилась хорошо шить. Ваня учился у отца, на заводе, стал токарем. За Капой ухаживали многие, но она выбрала Геннадия, который работал в заводском управлении. Отец считал, что выбрала себе Капа неровню, на что она ответила, что «этот лучше других, а замуж надо все равно».

— Ну, чего молчишь? — она подала брату чай. — Неужто… да?

Иван кивнул, не в силах сказать ни слова.

В кухне было светло, чисто. На подоконнике цветет раскидистая герань. Полы покрашены желтой краской.

И эта краска опять напомнила Ивану расстрельную комнату, лужицы крови на полу, вповалку лежащие тела убиенных. И надо же было Ивану заглянуть в комнату как раз в тот момент, когда Ермаков, наступив на раскинутые руки Анастасии, со всего маху штыком ударил в грудь девушки так, что штык вонзился в пол!

Иван бы не осмелился заглянуть, но его окликнул Медведев — тот посчитал, что дело кончено и надо выносить трупы.

— Егорка Столов и Филька Проскуряков пьяные были, их в бане закрыли. Вот бы и мне так… А я…

Губы его затряслись, глаза расширились.

— Ты говорил, что стоишь в карауле. Неужто заставили стрелять?

— Нет-нет, я не стрелял, — он поднял на сестру воспаленные красные глаза. — Латыши стреляли. Из наших один Медведев стрелял. Ну и чекисты эти — Юровский с Ермаковым. Чего это? — он покосился на стакан, куда Капитолина наливала какой-то настойки.

— Корень валерьяны. Пей!

Он послушно выпил.

Тут же появился кот Ерофей — пушистый, бело-серый. Запрыгнул на буфет и стал принюхиваться, вытянув вперед почти круглую голову.

— Я тебе! — Капа замахнулась на кота.

Он пригнул голову, но с места не сдвинулся, знал, что хозяйка его не обидит. Но на этот раз Ерофей просчитался. Получив шлепка по толстому заду, утробно мяукнув, он убежал из кухни.

Капитолина принесла ватное одеяло и закутала брата, как маленького.

— Ничего, пройдет, — приговаривала она. — Это нервное, кто такое выдержит? Только у кого сердце каменное.

— Выходит, у них такие и есть. У кого лютая ненависть к царю была. Ладно бы его, а то детей, царенка! Он же мальчишка… А потом достреливали, докалывали штыками…

— Давай-ка я тебя буду поить, сам ты не можешь.

Зубы у Ивана лязгали о стакан. Она поила его так, чтобы он глотал маленькими глотками.

После чая Ивана разморило, глаза потеряли безумный блеск. То, что случилось, Капитолина знала теперь, а о подробностях не стала расспрашивать. Она сняла с кровати покрывало с кружевным подзором, разобрала постель. Потом принесла Ивану чистое белье мужа, заставив брата переодеться.

Иван улегся на прохладную простыню, укрывшись пуховым одеялом в пододеяльнике. От белья пахло крахмалом, и этот запах напомнил ему родной дом, мать. Он вспомнил, как она укладывала его спать и пела ему и Капе молитвы, а еще песенку про то, как паломники идут по Руси и поют: «Аллилуиа…»

Все это было как будто в какой-то другой жизни, которая безвозвратно ушла. И вдруг он понял, что это действительно так, что теперь для него наступила иная жизнь — после того, что случилось в ночь с шестнадцатого на семнадцатое.

— Капа, я… убийца?

— Ты не думай об этом. Сейчас тебе надо заснуть.

— Значит, убийца. Да и как иначе считать? Я же их охранял. Когда они из револьверов палили. Да, Капа… дым-то сплошняком стоял, стеной, а я ведь позже зашел, уже при открытых дверях…

— Спи, Ваня. Я тебе потом скажу, что делать.

— Да я знаю, что ты скажешь, сестричка моя родная…

Глаза его закрылись. Капитолина осторожно вышла из спаленки. Белье Ивана бросила в стирку. Развязала его мешок, достала из него продукты — сало, лук, вареные яйца, хлеб. В мешке находились и пожитки Ивана. Находился и сверток какой-то в белой тряпице. Развернув его, Капитолина увидела письма, перевязанные тесемкой. Улыбнулась — это были ее письма к брату, когда он оставался в Сысерти, а она подыскивала ему работу в Екатеринбурге. Сысерть хоть и рядом, а ездить туда-сюда нет времени.

Вот фотографии. Вся их семья. Отец — усатый, в пиджаке, косоворотке. Волосы на пробор, взгляд твердый, спокойный. Капа вышла в отца, а вот Иван — в мать. Такой же переменчивый, чужие слова выдающий за свои. Кто рядом, тот им и верховодит. Но не всегда: бывало, мать так стояла на своем, что и отец не мог ее с места сдвинуть. И если бы речь шла о чем-то серьезном, а то мать могла заартачиться из-за сущего пустяка, каприза ради. В такие минуты отец злился, сжимал кулаки, но мать ни разу не тронул — любил, да и считал гнусным бить женщин, как это делали некоторые заводские мужики, поколачивая жен то по пьянке, то по злобе на весь окружающий мир.

Если бы отец узнал, что его сын оказался среди убийц царя, он бы собственными руками задушил Ивана. Потому что Вера, Царь и Отечество были для отца нераздельной Троицей, как Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой.

Отцу не нравилось, каким растет его сын. Особенно в ту пору, когда Иван стал ходить в какой-то тайный кружок.

В то время он уже работал самостоятельно. Домой приходил поздно. По воскресеньям, когда семья шла в церковь, Иван спал, твердо отстояв себе право ходить в церковь, когда ему захочется. Отец уступил, потому что мать встала за сына горой, и ни выгнать, ни проучить Ивана отец не смог.

— Припомнится тебе этот твой грех, — говорил отец жене. — Ты безбожника защищаешь. Он ведь среди тех ныне живет, кто в Россию смуту несет. Ты вот его спроси, так это или не так? С Богом он или со смутьянами?

Разговор этот был за обедом, на Рождество.

— Живу так, как современные люди живут, — ответил тогда Иван.

— Это какие такие «современные»? Не те ли, которым царя не надо? Которые его грязью обливают?

— Ты, отец, много знаешь, да не во все вникаешь. — Иван научился спорить, и уже были случаи, когда отец не знал, как возразить сыну. — Если царь действительно за всех нас радеет, как за сыновей своих, почему войне не видно конца? Говорили, у нас боеприпасов мало. Теперь-то достаточно? Одни мы, что ли, день и ночь на войну трудимся? Сколько таких заводов по всей России! Да у немцев и половины нет!

Иван почти слово в слово повторил то, что сказал на собрании товарищ Нейман, приезжавший из Перми. Нейман, правда, сказал еще о том, что Гришка Распутин работает на немцев, а императрица — немка, делает то, что он ей скажет. А царь подкаблучник, жены не может ослушаться, тряпка, вот весь народ и страдает…

— В чем, по-твоему, дело? — мрачно спросил отец.

— Ладно вам все про политику! — мать всполошилась, поняв, что надвинулась гроза. — Мы с Капой старались, вон пироги какие, шанежки тоже. Рождество, а вы…

— Да, Рождество, ругаться грех. Не буду, мать, — отец тяжело вздохнул. — Но все же хотелось бы знать, кого я вырастил, кто со мной под одной крышей живет…

Лицо у отца перестало быть грозным, он опять вздохнул. Хорошее лицо у отца, вот только осунулось в последний год, легли под глазами круги. Что-то у него происходило с желудком, ел он мало, а потом и вовсе перестал. До весны не дотянул, ушел в иной мир на Сретенье, когда весна с зимой встречается… Не объяснился с сыном — может, оно и к лучшему, потому что мог выгнать Ивана из дома, если бы узнал, чем его мозги напичканы.

Все же сказал сыну перед смертью:

— Ты, Ваня, запомни… Человек без веры — как корабль без якоря. Не я сказал, святые отцы… Горько будет, когда один останешься, без Бога-то… Да в последний свой час…

Иван проснулся, будто услышал эти слова отца.

Но это говорили в соседней комнате Геннадий с Капитолиной.

— Будет последний час. И для него, и для нас с тобой.

— Трусишь?

— Не своди все к примитиву. Они помазанника Божия убили. Ты что, не понимаешь этого? Да Ивана, как только обнаружат, в первый же день к стенке поставят. И нас с тобой вряд ли помилуют. Ему надо немедленно уходить с красными.

— Он на ногах не стоит.

Иван откинул одеяло, встал. Ноги держали. Он вытянул вперед руки. Они почти не дрожали.

«Теперь надо где-нибудь в трактире поесть, прав Медведев. Может, выпить. И на вокзал».

— Капа! — окликнул он. — Дай мою одежку!

— Лежал бы, а? — Капа подошла к двери и приоткрыла ее.

— Нет, мне пора.

Одевшись, он прошел мимо Геннадия, молча поклонился. Тот ответно кивнул.

На кухне Капитолина собрала вещмешок брата.

— Белье твое высохло, а вот погладить не успела.

— Да куда мне, на бал, что ли… Еды-то не клади много, нам харчи выдадут.

На кухню заглянула Катя, дочка Капитолины пяти лет.

— Здравствуй, нос красный! — сказала она.

— Ишь ты! — Иван невольно улыбнулся. — Здорово, племяшка. Бойкая ты.

— Вся в маму, сам говорил. Ты мне что принес?

— Ох, не успел я в лавку-то зайти, — он машинально сунул руку в карман пиджака. Пальцы наткнулись на пачку денег.

— Эх ты! — Катя забралась на стул, осматривая, что есть сладенького в буфете. — Хоть бы какую конфетку принес.

— Ты не очень-то болтай, — строго сказала Капитолина. — Иди, у нас тут взрослый разговор.

Катя, обиженно надув губы, ушла. Капитолина плотно прикрыла за ней дверь, повернулась к брату.

— Ты только не возражай мне, ладно? Выслушай и обдумай как следует. Я тебя очень прошу.

— Ну, говори.

— Вот, возьми эту иконку. Она у мамы стояла. Помнишь?

— Как не помнить.

— Теперь все твое спасение здесь. Пойми это, брат. Молись Богородице. Проси, чтобы Она умолила Господа твой страшный грех простить. Ты ведь не ведал, что творишь. Не знал, что убийц охраняешь. А коли и догадывался, то теперь раскаиваешься, что погнался за деньгами, думал, что без убийства обойдется. Мама говорила, что эта икона старинная, ей от ее матери досталась, от бабушки нашей. Спасает она всех, даже самых пропащих.

— Хватит уже, Капа! Ты ведь знаешь, что я неверующий.

— Как неверующий? Ты крещеный, значит христианин. Бери икону и молись. Молись, как мы с тобой в детстве молились. В церкви, когда на клиросе пели. Ты даже плакал, я помню…

— Я тогда маленький был.

— Маленькие — чистые сердцем. Молись, Ваня, усердно молись, иначе пропадешь!

— Я и так уже пропал.

— Нет. Вспомни, разбойник даже на кресте смертном спасся, когда поверил во Христа.

— Ну ладно, ладно. Пусть по-твоему будет.

Он положил икону в мешок. Вышел в прихожую. Остановился, задумался. Потом быстро пошел в спаленку.

В большой комнате он увидел Геннадия. Тот вопросительно посмотрел на Ивана. В рубашке, белых брюках, с холеными усами и бородкой, он оказался для Ивана не свояком, а чужаком — совершенно чужим человеком из другого мира, который и привлекал, и отталкивал. В этом мире жили и комиссары вроде Неймана, Мрачковского. Как теперь выяснилось, никакие они не борцы за народное счастье, а мясники, которым нужна власть. А Геннадий просто трус. Такой при любом режиме найдет себе место.

— Рубашку забыл, — на ходу сказал Иван.

В спаленке он подошел к круглому столику, застеленному белой скатертью. Поверх скатерти — кружево. Это работа Капитолины. Кружевные скатерки — круглые, прямоугольные, дорожками — расстелены тут и там. Таким образом Капитолина создавала в доме уют.

Ивану кружева сестры очень нравятся.

«Жили бы мы с ней, не тужили… И зачем ей понадобился этот Геннадий? Галстуки носит… Да, без семьи нельзя. Как же без деток?».

Тут он вспомнил Катю.

«Вот и купят ей конфеток… И оденут… Ну разберется Капа».

Он достал из кармана кредитки и положил их на кружево. Прижал вазочкой. Икону Богородицы, вынув из мешка, поставил в изголовье кровати, прислонив ее к ночнику, который стоял на этажерке.

«Это Иверская? Нет, не Иверская. И не Казанская… А, забыл я все… Капе она нужней. Пусть сама молится, а я…»

Надо бы ему перекреститься, но он не догадался — действительно, все забыл.

Геннадий все еще стоял у окна в большой комнате.

— Прощай! — Иван торопливо прошел к двери.

— Счастливо тебе! — Геннадий деланно улыбнулся.

— Что? А, ладно.

Капитолина проводила брата до калитки.

— Помни, что я тебе сказала.

— Ладно, Капа… если со мной что-нибудь…

— Я буду молиться за тебя.

— Ладно. Ну все, я пошел.

Он суетливо дернулся, неловко махнул рукой на прощанье и пошел вперед, не оглядываясь.

На крыльцо вышла Катя:

— Мам, а мам, он заболел?

— Заболел…

Иван решил идти на вокзал. Времени достаточно, извозчик ему не нужен. Солнце миновало зенит — сейчас, должно быть, часов пять. Уже не так жарко. Можно, пожалуй, зайти в какой-нибудь трактир. Как советовал Медведев. Но тут он вспомнил, что деньги оставил Капитолине. Порывшись в карманах, он нашел несколько кредиток — это от жалованья деньги, выданные накануне убийства. Как у них все рассчитано — вот вам на убийство, а вот награда после убийства. Так и положено…

Тридцать сребреников — 415 рублей.

Если быть точным, «докласть», как сказал Пашка, надо было не четыре или пять копеек, а по 38. То есть каждому выдать по 415 рублей 38 копеек.

Если 38 копеек помножить на 26, будет 988 копеек, то есть 9 рублей 88 копеек. Эту сумму зажилил Пашка. И правильно сделал, раз никто, кроме него, Ивана, «арихметику» не знает. А Иван, стоя в карауле, сосчитал — из любопытства. Вернее, для того, чтобы еще раз убедиться в том, что Пашка — вор. Видели, как он украл деньги из книги царя. И тут не удержался от небольшой, но все же суммы.

К вокзалу надо идти по Вознесенскому проспекту. Но стоило ему подумать, что придется идти мимо «Дома особого назначения», как в животе внезапно забурчало, к горлу подкатила тошнота.

Он поспешно свернул в какой-то проулок, быстро подошел к забору, упершись в него рукой.

Его вырвало. Потом еще и еще — долго, изнурительно.

Отдышавшись, он с трудом пошел вперед, отыскивая место, где можно было бы присесть, умыться. Оглядевшись, он понял, что находится на краю города. Одна тропа вела в лес, другая влево, к холму, за которым, по его предположениям, должны начинаться улицы города. Он попал в лес и скоро вышел на полянку, на краю которой текла полуиссохшая речушка. Сбросив мешок, он умыл лицо. Набрал воды, попил.

«Ну вот, теперь можно идти». И тут он увидел, что на другом краю полянки на крепком вязе устроены качели. Он поднял мешок и направился к ним. Подойдя, подергал за веревку — она была толстая, неистертая.

Иван опустил голову, задумался. Ни тошноты, ни дрожи в руках не было. Осталась только гнетущая, давящая сердце тоска. Думать о встрече с теми, кто был с ним в карауле, оказалось так тяжко, что он даже затряс головой, чтобы прогнать возникшие перед ним лица.

Он поднял голову к небу. Солнце клонилось к закату, пора принимать решение. Положив мешок на доску качелей, он развязал его и достал нож.

Нож хороший, солдатский.

Отрезав один конец веревки, Иван стал мастерить петлю.

Кряхтя, обдирая ладони и колени, залез на сук, к которому были привязаны веревки качелей. Надел на шею петлю.

Стараясь ни о чем не думать, свесился вниз.

Петля надежно удержала его на весу…

* * *

Капитолина заканчивала мыть посуду после ужина, когда в кухню забежала Катя.

— Мам, гляди, чего дядя Ваня забыл! — она держала в руках пачку новеньких кредиток. — На столе лежали.

Капитолина взяла деньги, машинально пересчитала их.

Задумалась.

В кухню вошел Геннадий, выкуривший на крыльце папироску после ужина. Увидел у Капитолины деньги.

— Это откуда?

— Дядя Ваня забыл, — сказала Катя.

Геннадий оживился:

— Нет, забыть он не мог. При мне в спальню заходил. Значит, оставил сознательно. Очень кстати. Дай-ка посмотреть, сколько там…

Капитолина отстранила руку мужа.

— Это нечистые деньги.

— Как это нечистые? Ты что, мама? — спросила Катя.

— Нечистые — значит нечисто нажитые, дочка. Платят и за грязные дела.

— Постой-постой, — забеспокоился Геннадий. — И что ты собираешься с ними сделать?

— Сжечь, — решила Капитолина.

— Капа, не чуди. Нам жить. Сейчас новая власть придет, и неизвестно, как ко мне отнесутся. Может, опять без работы останусь. Давай деньги сюда, я завтра же их отоварю. А то ведь пропадут.

— И пусть пропадают.

— Капа, дай мне деньги, — с трудом сдерживая себя, повысил голос Геннадий. — Разве ты не слышала, что деньги не пахнут? Еще с древнеримских времен это известно, могу тебя просветить про императора Тиберия…

— Постыдился бы ребенка, ученый!

Капитолина встала, открыла чугунную дверку печки и швырнула туда деньги.

— Сумасшедшая! — Геннадий схватил кочергу и хотел выгрести деньги из печки, но Капитолина резко его оттолкнула.

— Отойди от греха подальше!

Она так посмотрела на мужа, что тот невольно отшатнулся и опустил кочергу.

Язычок пламени лизнул кредитки, они занялись огнем. Захлопнув дверцу печки, Капитолина подождала, пока кредитки сгорят. Потом взяла дочку за руку и повела в спальню.

— Мам, а зачем ты это сделала? Дядя Ваня эти деньги украл?

— Нет. Он получил их от темных, злых людей.

— Которые как бесы?

— Как бесы. Давай раздеваться и спать.

— Мам, гляди, а откуда тут иконка?

Катя взяла икону, которую Иван поставил на этажерке, в изголовье кровати.

— Господи! — вырвалось у Капитолины.

Она перекрестилась, взяла икону и поцеловала ее.

— Как же он теперь? Господи, прости ему прегрешения его, ибо не ведал он, что творил!

— Что творил? Дядя Ваня? Дай мне иконочку, я ее тоже поцелую.

Пухлыми губенками девочка приложилась к лику Богородицы и прижала иконку к сердцу.

— А как она называется? Я знаю Казанскую, «Семистрельную»…

— Ложись вот сюда, доченька. Эта икона от прабабушки твоей. Называется «Взыскание погибших».

— Мам, я с тобой полежу. Ну немного, мам… А что это такое, «Взыскание»?

— Взыскать — значит «найти, спасти». Поняла, ласточка ты моя маленькая?

— И не маленькая уже. Божия Матерь нас находит и спасает? Она хорошая-прехорошая? Как ты?

— Что ты, доченька. Я твоя мама, а Богородица — Мать Бога нашего, Иисуса Христа. Я тебя могу защитить, а Она всех — и малых, и старых. Даже тех, кто на самом краю гибели стоит. Над самой пропастью. Она Царица наша Преблагая…

— А-а, вспомнила. Это мы с тобой в церкви слышали! — и она запела тоненьким, чистым голоском: Царице моя Преблагая, Надеждо моя, Богородице…

Капитолина, поглаживая дочурку по голове, тихонько подхватила:

— Приятелище сирых и странных Предстательнице, скорбящих Радосте, обидимых Покровительнице!

Катя прижалась к матери и начала засыпать. А Капитолина продолжала тихонько напевать, как ей напевала ее мать, а той — ее родительница:

— Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми, яко немощну, окорми мя, яко странна…

И сокровенная эта молитва неслась над Уралом, над Сибирью, над всей Россией, поднимаясь высоко-высоко в небо, к Самой Богородице, Которой Господь велел сесть на осиротевший престол Российский, взяв в руки вместо убиенного царя-мученика скипетр и державу.

Послесловие автора

Работа над повестью завершилась в июле 2003 года — как раз в тот срок, когда приблизились «Царские дни». В Екатеринбурге, на месте убийства царственных мучеников, должно было состояться торжественное освящение храма-памятника на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших. Исполнялось 85 лет с тех дней, когда были убиты и царская семья, и великая княгиня Елизавета Феодоровна с инокиней Варварой и великими князьями Константиновичами на севере Урала, под Алапаевском.

Всей душой я стремился поехать на торжества. Несмотря на тяжкие обстоятельства моей личной жизни, собрался в дорогу и побывал там, куда так стремился. А когда вернулся домой, рукопись сверсталась так, что формат книги требовал еще нескольких страниц текста — чистые листы оказались как бы специально приготовленными для того, чтобы я рассказал о всенародном почитании царственных мучеников, о той любви, которая с такой очевидностью пролилась вместе со слезами в июльские дни покаяния и торжеств, свидетелем и участником которых был и я в 2003 году.

…Город, умытый ночным ливнем, утром 16 июля услышал колокольный звон, раздавшийся на звонницах пятиглавого белоснежного храма, сияющего золотыми куполами и крестами.

Площадь перед храмом, аллеи лиственниц, елей, зеленые лужайки, газоны, улицы, со всех сторон ведущие сюда, заполнились паломниками, пришедшими с севера и юга, востока и запада России. Крестными ходами шли сюда пешком по нескольку дней паломники из Волгограда, Ростова, Архангельска, Тобольска, Тюмени, и многих других городов. Износили не одну пару обуви, не устрашились ни палящего солнца, ни дождей, ни усталости, свершая свой личный подвиг во имя царственных страстотерпцев.

Началась Божественная литургия. Вместе с иерархами нашей Церкви, духовенством, монашеством, седобородым и совсем юным, устремила ко Всевышнему свой порыв, казалось, вся Православная Россия.

Конечно, не обошлось и без тех, кого народ наш язвительно назвал «подсвечниками». Они, разумеется, затесались в первые ряды в самом храме. Но не на них останавливался взгляд, а на той женщине, у которой лицо было залито слезами, и икону с изображением царственных мучеников она поднимала к небу, стоя на коленях; на хоругвеносцах, твердо держащих иконы на древках. Я обратил внимание, что рядом с ликами преподобного Серафима Саровского, святых благоверных князей Александра Невского, Димитрия Донского есть лик и нашего современника — воина Жени Родионова, которому чеченские бандиты отрезали голову, потому что наш солдат не снял креста и не отрекся от своей веры. Прошлое и настоящее соединились в одно целое. И потому в сердце каждого, кто был здесь, не могли не войти возгласы и песнопения Божественной литургии, которые с мощью и величием, скорбью и радостью пели хоры. И многажды повторялось: «Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас!»

На своде, перед входом в храм, золотом по белому надпись: «Пролияша кровь их, яко воду окрест».

Да, кровь мучеников пролилась, как обильные окрестные воды, влилась в них — и навечно. И оттого скорбь соединилась с утверждением веры — той самой, во имя которой они, страстотерпцы, приняли мученический венец.

Народ наш давно понял, по каким нравственным законам жил царь, его семья, и не «мудрствовал лукаво», как многие наши интеллигенты, продолжая, вслед за коммунистами, говорить о царе хотя и не с прежней оголтелой презрительностью, но все же с ухмылкой и непременным осуждением за «мягкотелость» и еще за то, что царь был «не на своем месте», а был-де «просто хороший человек и семьянин». Народ рассудил иначе, сердцем осознал, что царь поступал именно как православный государь, кто, согласно Евангелию, «положил душу свою за други своя». Ничего не формулируя, ничего не доказывая, народ не принял десятки «правильных», «неопровержимых» доказательств «порочности» царя и его семьи. Прославление во святых Николая Второго и его семьи шло из самой массы народной. Как волна, которая набирает силу, двигаясь к берегу под сильным ветром, так и чувство народное обрело напор, высоту и вылилось вот в это торжество, утвердило этот храм, сплотило вокруг него тысячи людей.

Сердце народное не обманулось — убийцы остались убийцами, их имена прокляты, хотя и кричали о «народной мести», и выдавали себя борцами за «народное счастье». А взошедшие на «Русскую Голгофу» обрели бессмертие.

В тот же день служились в храме на Крови всенощная и вновь Божественная литургия. Затем, уже в пятом часу утра, крестным ходом процессия двинулась к урочищу Ганина Яма, где теперь находится монастырь во имя святых царственных страстотерпцев.

Врата Небесные

Предание об убиенных монахинях Самарского женского монастыря в честь Иверской иконы Божией Матери

Радуйся, Благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая!

Солнце уходит на дальние выжженные холмы, и свет его заливает все пространство над Волгой и саму реку. Ни ветерка, ни всплеска — как будто движение вечной русской реки остановилось, скованное жестким слепящим светом.

Там, за одним из островов, ближе к лесистому берегу, буксирный катер бросил старую, изношенную временем и трудами баржу, поставив ее на якорь. Баржа обшарпана, в трещинах и выбоинах, доски на палубе грязные и занозистые. Но люк, ведущий в трюм, обит новым железом, и петли для замка новые, надежные, и сам замок тяжел и накрепко заперт ключом.

Что же спрятано в трюме старой баржи? Если что-то ценное, то почему баржу оставили за безлюдным островом? Наступает ночь, и, может быть, кто-то должен подплыть к барже и забрать спрятанный груз? Может быть, это орудуют разбойники? Вывезли из Самары драгоценности, спрятали, а когда ночь упадет на землю, тогда и будет взят клад?

Буксирный катер быстро удаляется. Нет, он удирает, потому что человек, стоящий на корме, жадно курит, то и дело оглядывается, в глазах его застыло отчаяние трусливого преступника.

Второй человек, стоящий у руля, смотрит вперед и думает только о том, чтобы побыстрее добраться до причала. Но и у него в глазах, если присмотреться, тоже испуг, словно он увидел что-то такое, о чем поскорее хочется забыть.

Солнце нырнуло за горизонт, будто ему невмоготу видеть, что происходит на земле и на воде. Тьма обрушилась на землю, и чья-то властная рука задернула черным полотном весь небесный свод.

— Зажигай ходовые! — раздраженно выкрикнул рулевой. И уже тише себе под нос: — Фармазоны проклятые!

Слева по борту показались огоньки причала. На причале несколько человек вглядывались в темноту. Один из них, в двубортном пиджаке, в рубашке с галстуком, завязанным крупным узлом, в очках, видимо, главный.

— Ну как? — спрашивает он.

— Порядок.

— Вас никто не видел?

— Никто.

— Якорь хорошо закрепили?

— Ну что вы, в самом-то деле! Такое спрашиваете, даже обидно…

Они стоят на дебаркадере под красным сигнальным фонарем, и багровый отсвет падает на их лица.

— Я такое спрашиваю потому, — отчеканивает старший, — что мы выполняем строго секретное и особое задание. И вынужден повторить это для всех еще раз!

Он опускает руку сверху вниз, будто рубит. Так он привык делать на публичных выступлениях. Затем по выработанной привычке обводит стоящих рядом буравящим взглядом своих маленьких желтых глаз.

— Якорь укреплял я, — говорит рулевой. — Щелей в барже достаточно, да и пробоина есть. Так что через часик-другой она будет на дне. Место мне знакомое, глубокое.

— Утром проверю лично, — начальник идет к грузовику, садится в кабину к шоферу.

Остальные залезают в кузов.

Тьма поглотила и машину, и город, прилепившийся к реке, и саму реку, и баржу за островом…

В трюм баржи уже по щиколотку проникла вода. Она плещется, когда кто-то из сидящих на досках, приколоченных к бортам, шевелит ногами. Заключенные сидят в полной темноте.

— А вода-то теплая, — голос мягкий, певучий, его нельзя не узнать.

Это сестра Евфросиния, она канонарх в монастырском хоре. Стоило прозвучать голосу, как сразу же тьма перестала пугать.

— Помолимся, сестры, — голос схимонахини Феодоры звучит негромко, но твердо.

Она старше всех. Сколько ей лет, никто не знает. Может быть, девяносто, а может быть, сто. О чем ее ни спросишь, все знает. А сколько видела и слышала! Часами можно слушать, и все не наслушаешься.

— Евфросиния, начинай!

Сестра Евфросиния вздохнула, перекрестилась и, представив, что стоит на клиросе и видит Иверскую икону Божией Матери в первом нижнем ряду иконостаса, запела: «Благослови, душе моя, Господа…»

И голос ее, чистый и звучный, в котором так много искренности и силы, ударился о ветхие борта старой баржи, и не могли они удержать его.

Голос вырвался из потемок трюма на волю и, огражденный лесом правого берега и кустарником острова, понесся по реке:

Господи, Боже мой, возвеличился еси зело.
Благословен еси, Господи…

Привычно стройно подхватили молитвенное пение монахини, заточенные в трюме.

Сколько их было тогда на барже смерти, точно неизвестно.

Глава первая. Александра — сестра Феодора

В доме заведен твердый порядок, так что с самого утра каждый начинает заниматься своим привычным делом. Все приходит в движение, начиная с конюшни, подворья, кладовых и самих комнат в этом каменном доме, известном в Самаре. И когда Александра, умытая, причесанная,

после утреннего правила заходит в гостиную, на столе уже бурчит самовар, стоит кринка со свежим молоком, а на тарелках разложены закуски. Весь дальнейший порядок дел после завтрака Саша знает до мельчайших подробностей. Папенька уедет управляться с делами, маменька отправится в поход по дому — всем отдавать распоряжения, что надобно сделать сегодня. Коля уйдет в гимназию, а она, Саша, опять останется одна.

До недавнего времени, пока она ходила в гимназию, этот порядок не только не вызывал тоски, как теперь, а чрезвычайно нравился. Нравилось слушать, как папенька рассказывал о делах — с подъемом, даже с блеском в глазах и радостной улыбкой, когда хорошо продается товар или заключена выгодная сделка. А если в делах что-то не ладится, то это сразу заметно по виду папеньки и по его словам: «А где наша не пропадала!» Маменька торопливо нальет ему водки. Он выпьет, скажет: «Все!» — и примется есть, как обычно, нахваливая кушанья, поданные к столу.

Нравилось Саше вникать и в подробности домашних забот, и в свои заботы — приготовление уроков, занятия в гимназии, встречи с подругами. Жизнь шла, как отлаженный механизм у больших напольных часов: часы заводились, медный маятник с круглым диском раскачивался в точно заданном ритме, и каждый час раздавался мелодичный звон — от одного удара до двенадцати, и так без остановки, изо дня в день.

Но вот учеба закончилась, получено множество подарков, отшумел выпускной бал. Прошел целый год, а Саша все не знает, куда себя деть.

Сначала она пыталась помогать маменьке. Та приняла помощь с улыбкой. Но скоро обнаружилось, что распоряжения, которые отдавала Саша, дела, за которые она бралась, маменька переделывала по- своему. Получалась неразбериха на кухне, в кладовках, раздражение и даже ссоры. Пришлось объясняться, плакать.

Остались только книги да вышивание. И то, и другое она очень любила, но книги в последнее время попадались такие, что лучше бы их не читать вовсе. Приносила их подруга Катя, нахваливала, и Саша вынуждена была читать, чтобы «не отстать от времени». Убедившись, что ей не нравятся модные романы, читать их она прекратила. И вот тогда-то напольные часы стали тикать и звенеть не радостно-мелодично, а тоскливо и уныло.

Катя Тяпушкина, та, что приносила модные романы, звала ходить «просвещаться», объясняя, что они, передовая молодежь, собираются вместе, а Саша может вразумиться и понять, как надо жить и чем заниматься.

И Саша пошла туда тайно от родителей. Встретили ее вроде бы приветливо, и она старалась держаться как можно дружелюбнее, делая вид, что ее нисколько не смущает, что молодые люди курят в присутствии девушек. Но когда Валька Ярцев, которого она знала и раньше, заговорил, что народ русский темен и дик, что в этом главная вина Церкви и попов, Сашу как будто ударили по лицу: щеки ее вспыхнули. Валька учился теперь в Московском университете, влип в какую-то грязную историю, из которой родители едва сумели его вытащить.

— Мы должны просвещать народ и вывести его к свету, — говорил Валька, то и дело откидывая волосы со лба.

Он отрастил их до плеч, завел усы и бородку, которые ему очень шли.

— Россия выйдет на столбовую дорогу цивилизации, когда отринет выдуманного боженьку, а на знамени своем начертает: «Свобода, равенство, братство!» — продолжил он.

Катя и другие девушки чуть в ладоши не захлопали.

— Все это хорошо и красиво сказано. Но мы-то, как жить должны? Нам-то что делать? — спросила Катя.

— Как что? — оратор снисходительно усмехнулся. — Каждый образованный человек это знает. Надо готовить себя к служению народу.

— Но как? — не унималась Катя.

— Да просто, — покровительственно ответил Ярцев. — Идти и пропагандировать. Учить детей в школах. А если по медицинской части, то лечить, но все равно пропагандировать. Объяснять учение Дарвина, другие новые идеи простыми словами.

Саша представила себе, как Валька пропагандирует в деревне, где живет дядя Фрол, брат отца.

— Вы не согласны? — обратился Ярцев к Саше.

— Не согласна, — она покраснела еще больше. — Если вы в деревне скажете, что человек произошел от обезьяны, а не творение Божие, вас просто огреют дубиной по башке.

Кто-то хихикнул, кто-то насупился, кто-то с издевкой посмотрел на Сашу.

— Возможно, огреют, — Валька нисколько не смутился. — Но вопрос: почему огреют? Ответ: от невежества. Как быть? Надо спокойно спросить: как это можно за шесть-то дней сотворить Вселенную? Бог планеты прикрепил на твердь небесную. Это что, декорации в театре? Оперетка, что ли?

Катя весело засмеялась.

— Оперетка, Ярцев, в том, что вас аттестовали по Закону Божьему, — сказала Саша, вставая. — Вы в университете учитесь, а безграмотны хуже гимназиста младших классов. Даже они знают, что Божественный акт творения не может быть доступен пониманию ума человеческого. Вы что, можете объяснить тайну и чудо рождения человека?

— Очень даже могу. Эмбрионы соединяются — мужской и женский, вот и все, — ответил Ярцев.

— Дурак! — отрезала Саша. — Эмбрион — это уже дитя человеческое, только во чреве матери.

— Конечно, я просто оговорился, — торопливо сказал Ярцев. — Соединяются клетки, инфузории.

— Опять дурак! Инфузории — это простейшие одноклеточные. Человек создан по образу и подобию Божию. А вот ты, Ярцев, как раз и есть инфузория! Катя, открой мне дверь немедленно!

И на улице, и дома Саша никак не могла успокоиться. Все слышались издевательские смешки, а стоило закрыть глаза, как виделись насмешливые взгляды. Они красноречиво говорили: «Купчиха! Отсталость!»

Она подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Щеки пухлые, румяные. Сколько ни постилась, как ни старалась поменьше есть, эти щечки так и остались наподобие булочек.

Да и фигурой она вышла не в мать, а в грузного, сильного отца: крепкие плечи, руки. Ну зачем такие девице?

И характер у нее отцовский — волевая, идет в выбранном деле до конца. От маменьки только набожность. А красоты ее почему-то нет…

«Фу, не могу, злоба меня так и разбирает. Завтра с утра пойду на исповедь».

Храм Вознесения Христова находится всего в нескольких кварталах от родительского дома. Все здесь, начиная от выбоинок на ступеньках паперти и до заветного места с левой стороны, у иконы Богородицы «Избавительница от бед», где она привыкла и стоять на службах, и молиться одна в самые важные моменты своей жизни, — все ей здесь родное.

Поставила свечу, перекрестилась и пошла к отцу Иоанну, своему духовнику. Он завел Сашу в небольшую комнату, что была в правом приделе, при входе. Здесь у отца Иоанна стоял большой шкаф с книгами, столик, на котором лежали толстые тетради.

Саша рассказала не только о стычке с Валькой Ярцевым, но и обо всем, что мучило ее последний год.

Отец Иоанн сидел на простом стуле. Был он худ, стар, сильно сутулился в последние годы. Белые, воздушные волосы загибались кудряшками на концах, образуя венчик. Глаза бледно-голубые, высветленные временем, кожа на лице тонкая, слегка розовая на щеках. От его облика веяло теплом, чистотой, и был он таким родным и близким, что Саша не один раз плакала, уткнувшись ему лицом в плечо, когда на душе было плохо.

— Сашенька, ты зря кручинишься. Есть же Федор Бурмистров. Так что тянуть? Венчаю вас, заживете своим домом. И все образуется.

Саша объяснила, что с Федором вряд ли что получится. Еще два жениха есть — один хуже другого.

— Что мне делать, батюшка? Я не хочу быть вещью, которую сдают в пользование, как фортепьяно какое-нибудь. Сидеть и ждать, когда явится хороший человек? Были они хорошие-то, да никто в мою сторону не посмотрел. Дурнушка я.

— Ну-ну, — отец Иоанн обнял Сашу и прижал к плечу. — Будет у тебя все хорошо. Так хорошо, как редко у какой женщины бывает. Говорит мне сердце, что судьба твоя так повернется, что многие удивятся и возрадуются. Вытри слезы, встань на колени! — он накрыл ее епитрахилью и отпустил грехи.

Несколько дней отец Иоанн все возвращался мыслями к Саше — и в храме, и дома. «И какие же они балбесы, — думал он о молодых людях, которые не замечали Сашу, зная ее. — Как не видят, что сердце у нее — чистое золото? В глазах-то вся душа светится. Ах, балбесы-балбесы…» И он все думал, как помочь Саше.

И придумал.

Отец Иоанн знал, что Саша прекрасная рукодельница. И он решил — пусть она учится шить золотными нитями. Пусть вышьет покровец для Святых Даров. Глядишь, если пойдет дело, можно и заказы ей организовать… По крайней мере, у Саши на ближайший год будет серьезное дело…

И он, засыпая, улыбнулся, довольный.

За первый покровец Саша взялась с волнением и даже страхом. Но помолилась, успокоилась и с присущими ей с детства аккуратностью и тщательностью принялась за дело.

За рукоделием Саша всегда размышляла. Мысли текли неторопливо и, как нити, прочно ложились в ряды, складывая узор.

Ну сделает она покровец. Посредине плата вышьет крест, по углам — крылья ангельские. Потом, поди, отец Иоанн даст ей работу посложнее. Она и новую работу выполнит. И так всю жизнь?

Но возникла и успокоительная мысль: ее рукоделие будет находиться в алтарях, где совершаются как раз те таинства, ради которых и проходят богослужения. Когда священник выйдет из алтаря со Святыми Дарами к молящимся, совершая Великий вход, Потир будет накрыт ее покровцом.

Этим можно утешиться?

А если и самой усердно молиться? Если посвятить всю свою жизнь Богу…

— Иван Акимыч? Наталья Кузьминична? — отец Иоанн держал покровец тонкими пальцами, как держат драгоценный камень, и любовался им искренне, поднимая светлые глаза то на отца, то на мать Саши, то на нее саму: — Вот уж воистину золотая дочка у вас выросла! — и он смеялся, счастливый, и были видны его белые ровные зубы. — Теперь, Сашенька, вышьешь еще два точно таких же, чтобы были готовы к Рождеству. На Рождество, родненькие мои, еду в Москву. Покажу там твое рукоделие. Бог даст, о заказе договоримся.

— Вы только побольше, пожалуйста, золотных ниток привезите, — попросила Саша. — А денег папенька даст.

Отец Иоанн опять засмеялся.

— Ну какая же ты купчиха? Сразу отцу в карман лезешь. Это тебе платить будут. Да немало.

Иван Акимыч так и просиял.

— Да я… Неужто буду ради любимой-то дочки жаться?

Сашу он действительно любил. Гордился ею и втайне мечтал, чтобы она продолжила его дело — видел в ней свою хватку. Смущала лишь ее духовная просвещенность, когда она объясняла какие- нибудь места из Евангелия или толковала молитвы. И отец, и мать внимали ей не столько со смирением, сколько с удивлением: когда это она успела стать такой умной?

Жизнь Александры налаживалась, а событием, которое окончательно определило ее судьбу, стала встреча с матерью Маргаритой, игуменьей Иверского женского монастыря.

Саша золотом и серебром вышила плащаницу для монастыря, и сделала это так хорошо, что верующий народ с восторгом и радостью стал говорить, что в городе появилась удивительная золотошвейных дел мастерица.

— Дар у тебя от Бога, — сказала мать Маргарита, пригласив Сашу к себе в келью. — А помнишь притчу Иисусову о талантах?

— Как же не помнить! Таланты в землю зарывать нельзя. Папенька очень любит эту притчу.

— Хорошо, что любит. Легче с ним говорить будет. Жениха-то он тебе приготовил?

Саша покраснела и потупилась:

— Не будет свадьбы.

Матушка не спросила, почему. И обычно все, кто приходил к ней, начинали говорить сами. Но сейчас молчала и Саша.

— Не хочешь говорить — не надо. Придет, может, время — скажешь. Я ведь что хочу тебе предложить. Как хорошо было бы у нас в монастыре золотошвейную мастерскую открыть! В начальницы — тебя, в помощницы — послушниц толковых. Жизнь у тебя сразу смысл иной обретет…

Саша подняла на игуменью глаза.

— Я думала. Но стать монахиней… Главное-то не в руках моих, а вот здесь, — и она приложила руку к сердцу, — здесь, матушка!

Непрошеные слезы полились сами собой, сильные плечи затряслись.

— Они… в столовой разговор вели, а я… закуски несла. Слышу, как папенька громко так сказал: «Решай!» Я у дверей и застыла.

Саша вытирала слезы, но они все не останавливались.

— У папеньки голос громкий, он Федору вроде шепчет, а мне все слышно. Мол тебе выгода, Федор. А тот молчит… Он мне в любви клялся. А тут говорит: «Ладно, стерпится-слюбится. Только придется вам, Иван Акимыч, еще двадцать тыщ прибавить». Вот! Они… мной… торговали!

Мать Маргарита дала Саше выплакаться.

— Ты так и стояла у двери? Или что-то сделала?

— Да стыдно вспомнить, матушка. Зашла, поднос на стол поставила. Обида такая, что черно в глазах. Отец что-то говорит, я не слышу, вижу только — улыбается. И я, матушка, взяла тарелку с селедкой и вдруг как шваркнула Федьке в морду! Вот, говорю, тебе десять тыщ! А потом тарелку с икрой взяла да опять ему по морде! Еще, говорю, десять тыщ! А это в придачу — и соленые помидоры ему на башку!

Матушка Маргарита смеялась искренне, громко. С девичьих лет, наверное, так не смеялась. Мелкие слезы выступили у нее на глазах. Она вытерла их и с такой светлой, радостной улыбкой посмотрела на Сашу, что у той враз ушло уныние.

— Золотое у тебя сердце, Сашенька, правильно отец Иоанн определил. Будет много у тебя подвигов во славу Божию. Твердо тебе говорю. А начнешь с послушниц, как все начинают.

Известие, что Саша уходит в монастырь, не удивило ни отца, ни мать, лишь опечалило.

— Да ведь я не за тридевять земель уезжаю, — утешала их Саша. — Видеться часто будем.

— Так-то оно так, дочка, — ответил отец. — Только я хотел видеть тебя… хотел видеть, — и голос его вдруг прервался.

— Прекратите, — твердо сказала Саша. — Еще неизвестно, сгожусь ли я в монахини. Это честь великая — молиться за всех сразу. А дело твое, папаня, Коля продолжит. Он мужик.

— Да ведь я что? Непривычно… купеческая дочка. Как благословлять-то? Иконой? Или так перекрестить?

— Иконой, папенька. Вот этой, Божией Матери. Я ее с собой возьму и буду хранить всю жизнь.

* * *

Вода забурлила и сильно ударила о баржу. Это внезапно налетел ветер, потащил посудину вниз по течению, натянув якорную цепь до предела.

Ветер взвыл, будто от досады, что не может сорвать баржу с якоря, и потянул ее по кругу. Какая-то доска баржи треснула, пожарное дырявое ведро сорвалось с крюка и, гремя, покатилось по палубе.

— Ой, страшно! — тоненько вскрикнула послушница Авдотья и теснее прижалась к сестре Фотинии.

— Не бойся, Дуня! Ты радуйся, что ветер, может, сорвет нас с якоря да к берегу и принесет!

Она обнимала Дуню и гладила ее по голове.

У Дуни головушка больная. Налетают на нее боли — вот как этот ветер, неизвестно откуда примчавшийся к Волге. Боль треплет, рвет на куски Дунину голову. Она падает на пол, вертится, кричит. Тогда надо схватить ее, держать и обязательно окатить холодной водой. Родительский дом Дуни сгорел, сгорели и мать с отцом. Только начнет она беспокоиться, сразу ей кажется, что волосы на ней горят, и платье на ней горит.

В огне Дуня не сгорела, а вот в воде тонет.

— Проклятые, они хуже зверей! Те на такое злодейство неспособны.

— Не надо, Дуня, милая! Молиться за них надо, а не проклинать, ибо не ведают, что творят. Вспомни, как Спаситель наставлял: молитесь за врагов своих.

— Не могу! Не хочу!

— Тише, Дуня. Сестры, слышите? Как будто мы плывем?

— Нет, это баржу кружит ветром. Нас посадили на мертвый якорь.

Ветер взвыл с новой силой.

— Марфа, ты где? — спросила, напрягая голос, сестра Феодора.

— Здесь я.

— Читай Канон молебный ко Пресвятой Богородице!

У сестры Марфы голос низкий, зычный. И силушку ей Бог дал. Надо, например, мешки перетащить или кадки с соленьями передвинуть — можно и без мужиков обойтись, была бы только рядом Марфа. И читает на часах без устали, потому что многие службы знает наизусть.

Сейчас она начала читать как обычно. Но оттого что свистел и подвывал ветер, напрягала голос до последних высот.

Самые слабые сердца, как у болящей Дуни, укрепились. А сердца, в горниле любви к Спасителю закаленные, уже горели в молитвенном огне: *Яко стену прибежища стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбех, Отроковице, и просвещением Твоим присно радуемся, о, Владычице! И ныне нас от страстей и бед спаси.*

Глава вторая. Александра — сестра Феодора (продолжение)

Посетителей было двое, и когда сестра Феодора вошла в приемную матушки Маргариты, прежде всего увидела знакомого человека.

Волевые зоркие глаза, коротко остриженные седые волосы, седые усы. Статный, сильный, сразу располагающий к себе. Это был Петр Владимирович Алабин. Папенька познакомил с ним на благотворительном вечере у губернатора. Саша запомнила, как хорошо говорил тогда Петр Владимирович о развитии торговли в Самаре.

Алабин — гласный городской Думы. Сестра Феодора знала, что сейчас Петр Владимирович занимается тем, что организует помощь братьям-болгарам, которые сражаются с поработителями.

Вторым посетителем был художник Симаков. Он серьезен, деловит, держится строго, официально.

— Взгляните! — Алабин развернул лист и положил его на стол, прижав углы книгами. — Николай Евстафьевич предложил такой вид знамени, которое мы решили направить в Болгарию.

На листе был нарисован крест, в центре — изображение Иверской иконы Божией Матери. На другом листе — точно такой же крест, но в сердцевине — святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий, учители словенские. Над собой они держали православный крест.

Сестра Феодора сообразила, что эти изображения будут по обе стороны знамени. «А какого оно будет цвета? И что же именно здесь требуется вышить?»

— Мы посылаем на фронт сапоги, валенки, тулупы, шинели. Это нужно, без сомнения. Но чтобы бойцы всегда помнили, что бьются за веру Христову и что мы с ними, нужно знамя. Нравится вам эскиз?

— Да, нравится. Но что нам вышивать? Вы же за этим пришли?

— По краям надо вышить золотую кайму. Может быть, золотая бахрома. Знамя будет желтого и белого цветов. Черного совсем немного, рядом с каймой. Таким образом, будут присутствовать все цвета государева знамени… В сочетании с золотым шитьем это придаст торжественность и величие. Вот в чем наша общая цель, — Симаков говорил твердо, как о деле уже решенном и не имеющем других вариантов.

— А изображения Божией Матери и святых тоже золотистого цвета?

— Да, мы как бы икону создаем. Охряный цвет главный, остальные вспомогательные, его дополняющие и оттеняющие…

— Я, конечно, не художник, — сказала сестра Феодора, — вам лучше знать, какой цвет главный, а какой вспомогательный. Но только я знаю, что цвет святости — белый. А голубой — это цвет Богородицы, поэтому в богослужении это одни из основных цветов… И потом… Крест на знамени должен быть виден отовсюду. Так какой фон лучше?

— Во многом вы правы, — ответил, несколько раздражаясь, Симаков. — Но мы должны исходить из цветов императорских, государевых. И к тому же знамя наше, русское…

— А покров Богородичный — небесный, — матушка Маргарита чувствовала гордость, что ее молодая монахиня в состоянии вести ученый спор с художником, да и права, кажется.

— Насколько я помню, с петровских времен наше русское знамя как раз и было бело-голубое, — сказал Алабин.

— И красное еще добавлялось, а? Давайте-ка проверим, Николай Евстафьевич. На белом-то действительно лик Богородицы будет хорошо виден… Подумаем? А долго ли вам вышивать придется?

— К работе мы готовы приступить хоть сегодня. И трудиться будем не покладая рук.

Весной Алабин увез знамя в Москву. Оно было выставлено для обозрения в Кремле. С восторгом и умилением смотрели на него москвичи…

А 6 мая 1877 года начальник Болгарского ополчения генерал Столетов, командир Третьей знаменной дружины подполковник Калитин и знаменосец дружины преклонили перед знаменем колена.

В конце июля того же года у матушки Маргариты в келье вслух читали «Московские ведомости», которые принесла жена Алабина, Варвара Васильевна: «Остатки офицеров Третьей дружины Болгарского ополчения, которой вручено было Его высочеством Главнокомандующим знамя, поднесенное Самарским обществом, сочли себя обязанными сообщить вам, что наша дружина показала себя достойной сражаться под покровом Божией Матери и славянских святителей Кирилла и Мефодия.

19 июля под Ески-Загорой мы вступили в бой с неприятелем, вшестеро сильнейшим. Несмотря на это, под предводительством нашего храбрейшего командира подполковника Калитина дружный натиск болгар заставил турок обратиться в бегство. Но подкрепленные турки перешли в наступление, и дружина, окруженная с трех сторон, должна была отступить перед превосходящими силами неприятеля. Во время отступления пять знаменосцев сменили друг друга, и все легли убитыми или ранеными. Предпоследним из них был сам подполковник Калитин. Он взял сломанное знамя, но тотчас пал мертвым, сраженный неприятельской пулей в голову.

Знамя было вынесено из боя унтер-офицером Фомой Тимофеевым.

Из убыли, понесенной нашей дружиною, вы ясно видите, что мы сумели заслужить честь стоять под Покровом Пресвятой Богородицы. Из 469 человек мы насчитываем теперь только 207 нижних чинов, из 14 офицеров невредимыми вышли из боя только пятеро. Нелишним считаем сообщить вам имена и фамилии убитых наших товарищей.

Убиты: подполковник Павел Петрович Калитин, капитан Федор Федоров, штабс-капитан Иван Усов, поручик Андрей Попов.

Ранены: штабс-капитан Попов и поручик Живарев (оставшийся в строю), подпоручики Дубровский, Поликарпов и Бужинский».

…Отслужили панихиду по убиенным, внесли их имена в синодик для поминания.

А ночью, когда сестра Феодора заснула, увиделось ей изрытое взрывами снарядов поле, редут, обороняемый нашими солдатами и офицерами. Гремят выстрелы со всех сторон, но продолжает реять знамя над нашими бойцами.

Вот упал знаменосец, но древко подхватила рука другого солдата.

Залп. Пули раздробили древко знамени и руку знаменосца. Подполковник Калитин подхватил знамя.

— Вперед, герои!

Пуля угодила ему в голову, кровь залила лицо…

Сгрудились вокруг знамени остатки дружины, отстреливаются на три стороны. Все уже становится кольцо, которым сжимает героев неприятель.

Упал Калитин, но знамя подхватил какой-то молодой высокий офицер. Он бежит вперед, расступается перед ним враг. Ни одна пуля не задела ни знамени, ни знаменосца.

Враг отступает, а потом обращается в бегство.

И видит сестра Феодора, как встают все пять убитых знаменосцев, как идут они к своим, под знамя Богородицы. Лица их чисты, глаза наполнены светом, шаг легок и тверд.

— Вытри слезы, сестричка! — говорит Павел Петрович Калитин. — Посмотри — разбит враг! Видишь — город наш! Теперь он навеки болгарский, навеки христианский. Да ты улыбнись, сестричка!

Знамя реет высоко, залитое солнечным светом. Нашему воинству нет границ, до самого горизонта видны идущие в бой дружины православные. Да кто же может их победить?

Никто и никогда!

Сестра Феодора проснулась вся в слезах. Сон был настолько отчетливым, лица так хорошо и ясно виделись, что и сейчас стояли перед глазами. Особенно хорошо было видно лицо Павла Петровича Калитина.

«Да разве я с ним знакома? Да откуда же я его так хорошо знаю?»

Она затеплила лампаду и стала молиться, понимая, что это Богородица показала ей поле боя, героев, знамя, которому теперь суждено жить в веках. И в ту ночь, когда молилась, и сейчас, в чреве тонущей баржи, сестра Феодора знала, что Покров Божией Матери был над ней в самые высшие мгновения ее жизни. И теперь он над ней — вот в эту грозную минуту, когда расстается она с земной жизнью.

Глава третья. Любовь — сестра Евфросиния

У Фомы и Марфы три сына, и все удальцы. Работящие, сильные, все в отца — с чуть раскосыми глазами, черными чубами, загорелые, белозубые. Можно бы их и красавцами назвать, если бы не короткие и явно кривые ноги — были в роду у Фомы татары, были.

Когда братаны скачут верхом, а еще взапуски — кто быстрее, любо-дорого посмотреть. Они будто слиты с лошадьми, тут ноги-то как раз и нужны такие, как у братьев, — обхватывают коня, как дугами железными.

Но верхами скачут они редко, на праздник или когда случай выдастся. Свои лошади у них не скаковые, а рабочие — трудятся с утра до ночи.

И вот, когда братья поженились и отделились, Марфа вдруг понесла. И было это так удивительно, что она долго не говорила мужу — в ее годы родить вроде даже и неприлично.

Но когда во время жатвы вдруг схватила боль, когда голова пошла кругом и она едва добрела до копешки и рухнула, держась за живот, скрывать беременность стало невозможно. Подбежал Фома, уложил ее поудобнее, сказав сердито:

— Чего ж молчала? Надорвешься — дите родится уродом.

Марфа виновато улыбнулась и не нашла, что сказать. Дите родилось на Покров, и не уродливое, а необычайное. Фома очень удивился, увидев девочку. Как-то само собой думалось, что будет сын.

— Погляди, девка! — он держал в руках ребенка и глупо улыбался.

Все было непривычно с самого ее рождения. Голубенькие глазки не потемнели, как у ребят, а стали синими, будто речка плеснула в глаза своей осенней водицей. Русые волосенки не выпрямились, а вились колечками. Ножки же, наоборот, из кривых стали ровненькими.

Марфа узнала в ней себя, но только дочка была лучше. И сердце матери таяло от счастья, когда она прижимала к себе нежное, мягкое, пахучее тельце Любушки.

— Доченька моя милая, красавица моя ненаглядная! Дал Господь радость! Слава Тебе, Боже наш!

И то ли из-за того, что Марфа в зрелые годы стала набожной, то ли из-за того, что с самых ранних лет ходила в церковь с Любушкой, но только лет с шести-семи ни одна служба праздничная не обходилась без этой девочки.

А началось так.

Как-то зимой, управляясь на кухне с чугунками, ставя их в печку, Марфа вдруг словно услышала, что кто-то нежно и тихо поет. Она замерла, опустила ухват, глядя на раскаленные угли в печке.

«Ветер в трубе, наверное». Она посадила чугунки, закрыла печку, и тут опять донеслось нежное, будто ангельское, пение.

Она осторожно подошла к двери, заглянула в горницу. Любушка сидела на плетеном коврике у кровати. В руках у нее была единственная тряпичная кукла, купленная Фомой в прошлом году

в Самаре. Любушка водила куклу по коврику, наклоняла ей голову и пела: «Господи, спаси благочестивый и услыши ны…»

И удивительным было даже не то, что девочка запомнила многое из церковных служб, а пение ребенка — такое чистое, правильное, возвышенное: «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим…»

В воскресенье Марфа все рассказала отцу Василию, и тот, живо заинтересовавшись, тут же попросил Любушку что-нибудь спеть. Ничуть не смутившись, девочка спела «Достойно есть», «Благослови, душе моя, Господа…»

Дома Любушка пела вполголоса, а здесь, в храме, пред Царскими вратами, запела со всею силою. Голос ее понесся к куполу, переливаясь нежно и сладко, и бабка Агафья, живущая при церкви, перестала мыть пол. Другие старушки бросили чистить подсвечники. Все замерли, будто услышали ангельское пение.

Отец Василий был в зрелых годах, по характеру суров, односельчан наставлял строго, постоянно напоминая им о нерадении и слабоверии. А тут лицо его просияло и расплылось в умилении, и слезы заблестели в колючих маленьких глазах.

Справившись с волнением, он прокашлялся и сказал:

— Вот что, Марфа. Дочь твою я сам буду учить по церковным книгам. Место ей в храме Господь определил. Будешь петь в хоре, Люба? Ну, что молчишь?

— Спаси Господи, отец Василий. Была бы моя воля, я бы из храма совсем не выходила.

И все подивились такому ответу ребенка.

Чем взрослее становилась Любушка, тем звонче и певучей звучал ее голос. Отец Василий силен был в знании Писания, творений святых отцов, но с музыкальной грамотой был не в ладах. Духовная музыка звучала в нем ясно, но воспроизводил он ее так, что порой от досады готов был об стенку биться, фальшивые ноты вырывались как бы сами собой.

Теперь Любушка занималась с ним — так же терпеливо и настойчиво, как он занимался с ней. И удивительно было смотреть, как ребенок учит бородатого батюшку: останавливает, поправляет.

Любушка легко усваивала знания и у отца Василия, и в школе, и у Феоктиста Даниловича, учителя. Тот, единственный на все село, имел пианино и множество нотных альбомов. Он пытался привить девочке любовь к светской музыке, но не преуспел. Церковные песнопения с их возвышенной небесной гармонией так прочно вошли в душу Любушки, что арии и марши из «Аиды», «Трубадура» или «Евгения Онегина», которые наигрывал и напевал Феоктист Данилович, не находили отклика в сердце девочки. А для заповедного, к небу устремленного, от чего слезы выступают на глазах и душа будто взмахивает крылами, как голубь под куполом храма, для этого требовалось пение церковное.

Боялись, что голос у Любушки изменится или совсем пропадет, когда она стала взрослеть. Голос действительно изменился — окреп, стал звонче, выше, сильнее.

Феоктист Данилович упорно толковал о консерватории. Даже ездил к помещику Коноплеву просить денег. Коноплев вроде бы обещал их дать.

Отец Василий не на шутку всполошился. Рассказывали, что с ним чуть не случился апоплексический удар. Спас его не доктор, а сама Любушка. Она сказала батюшке, что ни в какую консерваторию не поедет, а останется жить в деревне. Отец Василий, зная, что к Любушке уже многие сватаются, спросил:

— Полюбила кого?

— Нет, батюшка.

— Замуж не торопись. Тебе жених нужен особенный, и ты его должна дождаться.

И действительно, дождалась Любушка своего жениха.

В том памятном году яблок уродилось так много, что Фома решил везти продавать их в Самару. Взял с собой старшего, Митяя, и Любушку.

Конечно, мало заработали, а все же денежка в семье — не помеха. Купили Любушке блузку белую, с кружевным воротником, юбку черную, плиссированную. И когда Любушка надела обновы да повязала свой праздничный платок в алых розах — глаз от нее не оторвешь, так хороша она стала.

Назавтра, 19 августа, был праздник Преображения Господня, и Любушка упросила отца идти не в кафедральный Воскресенский собор, а в Иверский, куда она давно мечтала попасть.

У нее была открытка с видом Иверского женского монастыря — храмы обители были сфотографированы со стороны Волги. Величаво высились колокольня, купола Сретенского и Иверского храмов. И когда Люба слышала слово «Самара», ей сразу же представлялся именно этот вид монастыря. Очень хотелось посмотреть убранство церквей, а еще больше — хоть немного узнать о жизни сестер-монахинь.

И вот она стоит в храме и видит Иверскую икону Божией Матери — точный список с той чудотворной, которая находится в обители на Святой Горе Афон.

Она встала у клироса, где расположился небольшой монастырский хор. Началась служба, и Люба по привычке стала петь вместе с хором. Но потихоньку, считая, что в полный голос здесь ей петь нельзя. Однако когда она увидела и услышала, что стоящие рядом подпевают довольно громко, то во время малого входа, когда дьякон, подняв Евангелие, возгласил: «Премудрость, прости!» — Любушка запела в полный голос. Он зазвучал так высоко и прекрасно, что монахиня-регент невольно оглянулась. Она увидела нарядно одетую девушку рядом с почтенным отцом. У девушки было такое чистое лицо, ее молитвенное предстояние было таким полным и искренним, что монахиня невольно залюбовалась.

С такой же силой пела Люба и «Трисвятое», а во время пения праздничного тропаря ее голос как бы повел за собой все остальные голоса.

Когда закончилась литургия, к Любушке подошла сестра Феодора, улыбнулась ей ласково:

— Как хорошо ты пела. В гостях у нас?

Любушка с отцом объяснили, кто они и почему здесь. Подошли к Любушке еще несколько монахинь из хора, монахиня-регент.

— Приглашаю вас отобедать, — сказала сестра Феодора. — А потом монастырь покажу, хотите?

Любушка так и просияла, а Фома стушевался:

— Да ехать надо.

— Тятя, ты что, грех! Да когда ты еще в монастыре трапезничать будешь?

Сестра Феодора повела их через яблоневый сад, розарий, объясняя, откуда привезены цветы и кто за ними ухаживает. Там росли редкие сорта яблонь и роз.

— Цветник у нас развели так, что одни цветы отцветают, а другие только начинают цвести. До глубокой осени цветы живые. А эти розы особенные, со Святой Земли. Привезла куст Варвара Васильевна Алабина. Видите, как он у нас разросся!

— Алабина? Это жена городского головы?

— Она самая. Алабины — попечители нашего монастыря.

— Я знаю. Отец Василий рассказывал, что Алабин добился, чтобы ваш монастырь знамя боевое вышил для сражений за братьев-болгар.

По завершении трапезы сестра Феодора привела Любу в свою мастерскую.

— Вот здесь и шили мы знамя, о котором ты вспомнила.

В открытые окна падал солнечный свет. Было чисто, свежо, празднично.

— У вас здесь, как в Раю, — простодушно сказала Люба.

Сестра Феодора улыбнулась, вытерла слезящиеся глаза.

— В монастыре хорошо, если Бога любишь. Тогда никакой труд не страшен. Вот я теперь уже шить не могу, потому что долго глядела на злато-серебро, а это никакие глаза не выдерживают. Теперь другое у меня послушание. Покажу тебе нашу больницу, приют для сирот. А библиотека у нас какая! Идем, посмотришь книги — нигде таких не увидишь!

Ночевать и Любушку, и отца, и Митяя оставили в монастыре, в комнатах для паломников.

Лежа в постели под чистыми, хрустящими простынями, Любушка перебирала в уме все, что произошло за этот длинный день.

Не спалось.

Она встала, подошла к открытому окну. В небе сияла полная луна. Сад, церкви, колокольня, все монастырские дома были облиты ясным лунным светом.

«Это мое, мое!» — поняла Любушка.

В красном углу пред иконой Божией Матери теплилась лампадка.

Любушка встала на колени: «Пресвятая Богородица, сделай так, чтобы я навсегда осталась здесь! Ничего мне не надо, лишь служить Господу и Тебе». И молитва ее была услышана.

* * *

Ветер напряг все силы, взвыл, а потом засвистел, как Соловей-разбойник.

Баржа затрещала каждой дощечкой, но с якоря не сорвалась. С сухим треском, раздирая черное небо, вспыхнула молния.

Набирая силу, выстрелил гром, и потоки воды хлынули на землю.

Теперь баржу заливало и снизу, и сверху.

Она давно бы пошла ко дну, но ветер развернул ее так, что под днище, где была самая большая пробоина, воткнулся топляк — плывущее под водой бревно. Вращение баржи остановилось, она наполнялась водой медленно, через щели да ту пробоину, которую спиной закрывала сестра Марфа — она сидела рядом с Евфросинией.

«Вот и жизнь кончается, — думала сестра Евфросиния. — Увижу родителей, отца Василия… И братиков моих — всех-то их поубивало на войне. И должны они быть под Божьей защитой… Матерь Божия, Ты не оставишь нас, я знаю…»

И прожитая жизнь проходила перед глазами сестры Евфросинии. А правильно ли она поступила, уйдя в монастырь? Сколько видела удивленных взглядов, сколько слышала недоуменных вопросов: «Ты ушла в монастырь из-за несчастной любви или из-за какой-то другой трагедии?» О, Господи, как же далеко нынешние люди отстоят от веры! О жизни монашеской знают из французских романов…

Как мало встречалось людей, понимающих, что служение Богу — призвание, что никакой трагедии и не надо вовсе для того, чтобы уйти в монастырь. Вера — это любовь. Кому-то она дается, а кто-то проживает всю свою долгую жизнь, а понимание ее так и остается точно таким же, как у гимназистов, которые только что прочитали «Трех мушкетеров»… Как хорошо, что в ее жизни был отец Василий. Потом встреча с сестрой Феодорой… Но не только они, а кто-то еще сказал ей, что надо идти в монастырь, что там ее судьба. И так хорошо, что мечта сбылась, что жизнь прожита так, как того душа требовала…

Вот появился перед глазами Ванечка Дронов. Как он просил ее не уходить в монастырь! Как плакал! Такой хороший Ванечка. Женился. Трое детей у него. Приводил их в храм, знакомил. И жена милая, добрая — такая и должна быть у Ванечки.

Могла и у нее быть такая семья. Но Господь дал ей назначение иное, и она научилась следовать ему. Научилась молиться не только за ближних, но и за дальних.

Ей вспомнилась девушка, которая однажды остановила ее после службы и заговорила о том, что ищет справедливости, праведной жизни. Она говорила горячо, даже страстно — все продали Россию, разорвали ее, растерзали. Каждый думает только о себе, а надо думать о Родине. Почему Церковь не призывает бить негодяев — большевиков?

Сестра Евфросиния не поняла: то ли девушка провокатор (а такие встречались), то ли действительно страдающая душа. Спросила ее, молится ли она о спасении своей души, не начать ли спасение России именно с этого?

Девушка презрительно усмехнулась и ушла.

Как много встречалось таких людей! Им кажется, что победа — это когда ты убьешь своего врага. Они не представляют победы без насилия. Они не понимают, что сила-то как раз и заключается в том, чтобы суметь выдержать страдания, даже самые тяжкие.

Был один искуситель — особенно коварный, особенно опасный.

Звали его Яков Корецкий, он долго мучил ее. Она и о его идеях долго думала. И запомнился он.

Длинноволосый, лицо — как будто опаленное огнем. Когда говорил о чем-то главном, глаза так и сверкали. Острые скулы, прямой нос, грудь впалая — в ссылке заболел. Но чахотки все же избежал, выжил. Евфросиния не хотела говорить с ним, но он настаивал с редким упорством:

— Я говорил со многими священниками, это все не то. Мне надо понять именно вашу веру. Вы такая чистая, возвышенная. И голос у вас такой же. Если кто-то может спасти меня, то это только вы.

В это время сестра Евфросиния ходила ухаживать за больными и увечными в больницу доктора Постникова. Она находилась прямо за городом, на берегу Волги. Там был овраг, который по имени доктора в Самаре стали называть Постниковым оврагом.

В больнице сестра Евфросиния и познакомилась с Корецким. Однажды она шла по коридору, уже собираясь уезжать в монастырь, как Яков остановил ее.

— Сестра, подождите! Вот здесь есть свободная палата, только завтра привезут раненых. Я договорился, мне необходимо высказаться.

— Простите, но меня извозчик ждет!

— Да что такое извозчик? Речь идет о моей жизни.

— Хорошо.

Они зашли в пустую палату, сели на табуретки друг напротив друга.

— Я давно хотел поговорить, вы знаете. Однажды я слышал, как вы поете, — один знакомый специально водил меня в ваш монастырь. Я хочу поверить, а как вас увидел — особенно. Но я не могу приступить — все что-то мешает! — он раздраженно махнул рукой и испытующе, даже злобно, как показалось Евфросинии, посмотрел на нее.

— Почему же не можете? Это так просто. Вы крещеный?

— Ну если вы начнете про Евангелие, про посещение храма, так это все напрасно. Неужели вы думаете, что я такой дурак, что даже основ Закона Божьего не знаю? Да я с любым вашим богословом могу спорить сколько угодно на равных!

— Тогда в чем же дело? Если вы про веру Христову знаете, зачем я вам нужна? И что же вам мешает верить?

— А вот что. Мне надобно знать, какой Он на самом деле, наш Бог Вседержитель. На кого Он похож, скажите мне? Почему Сына Своего Возлюбленного посылает на чудовищные страдания? И, обратите внимание, Сын молит Его: «Пусть минует Меня чаша сия»! Молит! Тут же, впрочем, и говорит: «Но да будет воля Твоя». А на Кресте? Не возопил ли Христос: «Почему Ты оставил Меня?» А вот еще, очень даже интересно, послушайте…

Он взял тетрадку и раскрыл ее.

И к беседе приготовился, все для этого подготовил… И то, что сидели одни, и что говорила она с незнакомым человеком без благословения матушки-игуменьи, — все было нехорошо,

смущало. Но деваться уже было некуда, и ей пришлось слушать, что читал ей Яков: *Отчего же одеяние Твое красно, и ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле? «Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое…»*

Корецкий закрыл тетрадь и ядовито усмехнулся, наблюдая, как прореагирует сестра Евфросиния на эти слова.

— Исаия, глава 63, стихи 2 и 3, — сказал он. — Как вам это нравится? Что же это за Бог, Который топтал целые народы и весь в крови? Да и не жалко Ему собственного Сына, раз Он целые народы топтал.

— Я вам говорила, — ответила Евфросиния, чувствуя непривычное волнение, — я не сильна в богословии… Вам надо обратиться не ко мне…

— Нет, именно к вам! — чуть не крикнул Корецкий. — А может, вы не веруете в Бога? Может, только Христом прикрываетесь?

— Я вам скажу все, что вы и без меня знаете. В Евангелии от Иоанна сказано: *блаженны невидевшие и уверовавшие*. Вот и все, что могу сказать. Веровать надо, не мудрствуя лукаво. Вы же с детства знаете слова молитвы: «…но избави нас от лукаваго». Так зачем себя истязать попусту? Бог есть Любовь. Но есть и наказание Господне за тяжкие грехи наши. Что же здесь непонятного?

— Выходит, Он сейчас топчет Россию за грехи?

— Да.

— И надо быть безмозгло покорным, как Иов: «Господь дал — Господь взял»?

— Да. Но никакой безмозглости здесь нет. Просто есть вера, в которой у меня нет сомнений.

— Но как вы этого достигли? — в голосе Корецкого чувствовались раздражение, обида, злость. — Как вы этого достигли, объясните мне! Ничего не читали? А я слишком много читал? Вот всего лишь несколько строк еще прочту, выслушайте: *поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит*. Это у вашего Иоанна, глава 13. То есть он пишет, что перед концом мира появится чудовище, зверь. Не это ли ваш Бог Отец?

Сестра Евфросиния резко встала.

— Вы говорите ужасные слова… Вы ненормальный. Прощайте, мне надо идти!

Он схватил ее за руку.

— А как же любовь к ближнему? В гнойных ранах копаетесь, а мою душу бросаете?

Глаза его блестели, на щеках выступил нездоровый румянец.

— Вы прочли много ненужных книг, и оттого мозг ваш горит. Читайте Евангелие, больше ничего не нужно.

— А Ветхий Завет? — спросил он, ядовито улыбаясь. — С пророками как быть?

— Приходите к нам в монастырь, к нашему духовнику… Он многое вам разъяснит, что мне не под силу, я сразу сказала.

Она с трудом вырвала свою ладонь — так крепко он ее держал.

— Убегаете… Я так и знал. И ничего мне ваш поп не разъяснит! — крикнул он, когда она открывала дверь.

Сестра Евфросиния рассказала о Корецком и духовнику, и матушке-игуменье.

— Поступила правильно, — одобрила игуменья. — Больше с ним не разговаривай, много сатанистов развелось ныне. Пусть отец Мартирий его вразумит.

Корецкий не пошел к отцу Мартирию, а сестру Евфросинию подкараулил в монастырском саду, когда она шла к себе в келью.

— Не уходите. Два слова!

На этот раз лицо его было спокойно. Гладко выбрит, хорошо одет.

— Пришел проститься — еду на фронт. Подарите мне что-нибудь, какой-нибудь пустяк. Чтобы, когда буду думать о вас, смотреть на него… Фотографии у вас нет, конечно…

— Подождите здесь.

Она принесла небольшую Иверскую икону, протянула ему.

— Благодарю вас, сестра. Вы меня простите за те слова… Я, знаете, действительно зачитался… Душа у меня изломанная, нехорошая… А все же помолитесь за меня.

— А вы… сами-то… молитесь?

— Нет, разучился. Я, сестра Евфросиния, не вернусь, больше мы с вами не увидимся. Знаете, я часто ходил слушать, как вы поете. В Бога я не верую, вы поняли. Но я полюбил вас и подумал… может, через любовь вера придет ко мне? Как бы хорошо, если бы пришла… Если вы позволите, я напишу вам, ладно?

— Напишите. А я буду молиться о вашем спасении.

Письмо пришло, но не от Корецкого, а из войсковой части, где он служил. Сообщили, что унтер-офицер Корецкий Яков Владимирович убит в бою под Свенцянами. По завещанию, которое было при нем обнаружено, все свое имущество Корецкий завещал Иверскому монастырю, а некоторые вещи — сестре Евфросинии.

Этими вещами оказались прекрасные часы фирмы Буре, фамильные драгоценности и та самая тетрадь, выписки из которой Корецкий читал при встрече в больнице Постникова.

Яков Корецкий оказался из ссыльных польских дворян. Связи с родственниками давно прервались, жил один. Университет не окончил, звание унтер- офицера получил за храбрость, проявленную в боях.

Сестра Евфросиния драгоценности отдала монастырю, а вот часы и тетрадь оставила. Иногда она читала выписки из тетради, думала над ними. Попадались и переписанные Яковом стихотворения.

Особенно понравилось ей «Девушка пела в церковном хоре…» Александра Блока:

Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.
И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.

Сбоку стояла приписка Корецкого: *Если бы, если бы!*

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских врат,
Причастный Тайнам, плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

И опять его приписка: *Ребенок — это вы…*

Она закрыла тетрадь.

Да, есть люди, которым известна тайна. Но тайну самой жизни знает лишь Господь. И не следует за Него эту тайну разгадывать и потом решать, как быть. Вот Яков Корецкий решил быть умнее Бога, и голова его пошла кругом. И сколько еще встречала сестра Евфросиния таких же запутавшихся! Яков был еще из лучших — честен, отважен, смел. И погиб — сам полез под пули.

Она думала о том, что он мог уйти воевать из-за любви к ней. И это печалило ее. Потому что Яков знал заранее, что любовь его обречена… Это ведь совсем не то, что помещик Коноплев или капитан Бекасов. Те прямо предлагали бежать хоть в Париж, хоть в Америку. Корецкий же любил глубоко, это чувствовалось по его голосу, взгляду, а больше всего — по тем словам, которые были написаны в тетради.

…И еще другие лица проплывали перед мысленным взором сестры Евфросинии.

«Богородице, Пресвятая и Пречистая! Не скорблю и не ропщу, а радуюсь, что принимаю смерть во светлое имя Твое…»

Чья-то голова тяжело опустилась ей на колени. Евфросиния вздрогнула.

— Ты, сестра Марфа?

— Я, — слабо прошептала Марфа в ответ.

У нее онемела и заледенела спина, которой она держала пробоину. Она так и хотела умереть, но не смогла удержаться в сидячем положении.

— Поднимите меня… Мною закройте…

Евфросиния не понимала, о чем говорит сестра Марфа. Вода била ей в плечо, заливала платье. Она приподняла голову сестры Марфы, чтобы та не захлебнулась.

— Богородице… Дево, — прошептала сестра Марфа и замолкла навеки.

Глава четвертая. Вера — сестра Марфа

Сколько Вера себя помнила, она все время мыла и стирала. Как будто Господь определил ей навести, наконец, в этой жизни чистоту и порядок. По крайней мере, в той жизни, которая ее окружала.

Еще девочкой она начала мыть и стирать. Утром, после завтрака, отец, мать и брат Павел уходят на завод. Отец слесарь, своему ремеслу научил и сына. Мать кладовщица.

Вера понимала, что в кладовых что-то хранится, но что именно охраняет мать, она не знала. Видимо, что-то грязное, потому что домой она приходит перепачканная. Как и отец, как и брат Павел.

Завод для Веры — что-то такое гремящее, железное, коптящее.

Все уйдут, Вера вымоет посуду, потом ножом поскоблит стол. Потом примется за полы. В квартире всего две комнатки да кухня, однако уборки много. Потому что отец курит, Павел тоже, окурки бросают на пол, а если пьют, то еще и плюются.

Когда комнаты убраны, полы вымыты, Вера начинает стирать. Стирает она не только одежду родных, но и других семей. Это ее заработок. Отец собирался устроить ее на завод, но Вера, побывав там, решила, что лучше идти в прачечную. По крайней мере, нет копоти, грохота. В прачечной духота, жара, но что поделаешь, если пока Вера ничему другому не научилась, кроме стирки! Учиться бы надо, конечно, но об этом в семье никто даже не заикается.

Руки у Веры сильные, ладони красные, а лицо бледное. На нем застыло выражение вечной озабоченности. К шестнадцати годам она стала расцветать, превращаться в девушку. Но то ли оттого, что Вера плохо одета, то ли от бесконечных трудов, но вид она имела унылый и непривлекательный. Губы всегда плотно сжаты. Глаза вроде бы красивые, но уж очень их портит угрюмое выражение. Это из-за того, что отец часто приходит пьяный. Ладно бы, веселился, как другие, а потом ложился спать. Нет, враг над ним явно взял власть — отец ищет, к чему придраться, чтобы начать скандал. Мать пытается его успокоить, но напрасно. Брат Павел уходит из дома, у него друзья, своя жизнь. Да и не хочет он смотреть, как отец куражится. Пьяный отец бьет посуду, доводит мать до слез, а если она сопротивляется, отец ее бьет.

Не дерется он, если приводит с собой заводских товарищей. Тогда они говорят о делах, поют песни. И все б ничего, но кто-нибудь из отцовских гостей обязательно норовит пристать к Вере где-нибудь в углу. И от всех воняет водкой, табаком, машинным маслом. Странно, но даже когда отец видит, что к Вере пристают, не вступается за нее. А чаще и не видит, потому что гости подливают ему побольше. Вот и научилась Вера отбиваться сама.

А однажды случилось так, что Вере пришлось укоротить и отца. В тот раз Семен бил мать особенно жестоко. Повалил ее на пол, сел верхом и, высоко взмахивая руками, бил по лицу.

Вера поняла, что он может забить мать до смерти. Бросилась на выручку, отшвырнула его. Он ударился головой о железный край кровати. Удар получился сильный, на лбу выступила кровь. Семен так удивился, что даже протрезвел.

— На отца руку поднимать? Ну, держись!

Он встал и начал драться с дочкой, как с мужиками, когда всерьез бились «на кулачках».

После каждого его меткого удара Вера падала, но вставала. И это так разъярило Семена, что он начал бить еще яростней.

Матрена поняла, что дело принимает нешуточный оборот. Она подползла к Семену и схватила его за ноги:

— Хватит! Убьешь!

— А и пусть!

Кровь заливала ему глаза, он размазывал ее по лицу, и вид его был так дик и страшен, что Вера видела в нем не отца, а какое-то чудовище.

Обороняясь, она схватила табуретку, и когда он опять пошел на нее, сбоку треснула его по голове.

Семен рухнул на пол.

Сначала подумали, что он помер. Потом услышали, что дышит. Матрена промыла раны, забинтовала их. Вдвоем с Верой они раздели его и уложили в кровать.

День он отлеживался, опохмелялся, на второй уже ходил, а на третий, как обычно, пошел на завод. Жизнь опять пошла по заведенному порядку, но только с одной новой особенностью: Семен теперь как бы не видел и не слышал дочь. Словно она перестала для него существовать, превратившись в пустое место. Но иногда, при внезапном взгляде на Веру, глаза его леденели, в них появлялось лютое, волчье выражение.

Со страхом ждала Матрена очередной пьянки. Чуяла, что произойдет что-то ужасное. И Вера это чувствовала, но что делать, не знала.

Пошла она в церковь, к своему духовнику отцу Игнатию. Выслушав Веру, священник тяжело вздохнул, погладил свою жидкую бородку. Был он слаб здоровьем, службы в последнее время вел с большим трудом. Надо бы ему на покой, он просился у правящего архиерея, но пока замены отцу Игнатию не было.

— Ну что же, деточка, — сказал отец Игнатий. — Терпеть надо. Или не помнишь пятую заповедь?

— Как не помнить, батюшка! Так он маманю мог убить.

— Да откуда ты взяла? Рукоприкладство — грех, да не ты ему судья. Увидишь, что он пьян, — уйди.

— Куда?

— Разве нет у тебя подруги какой? Знакомых?

Девушка вздохнула и опустила голову. Признаться, что у нее нет близкой подруги и таких знакомых, у которых можно было бы переночевать, Вера не смогла, постеснялась.

Девушка ушла, а батюшка подумал о том, как испортились нравы в России, и заспешил домой — пора принимать лекарства да полежать немного перед вечерней. Ноги-то как чужие, совсем

не держат.

А Вера, выйдя из церкви, пошла куда глаза глядят. Была весна, и Волга вот-вот должна была разорвать ледяные оковы. С крыш капало, весело гомонили воробьи. Дворники скалывали лед, направляли воду по канавкам на мостовые. Проезжали мимо пролетки, коляски, а по Дворянской проехал автомобиль, крякая, как утка, клаксоном.

Вера вышла на откос. Хотела полюбоваться отсюда Волгой, да нельзя, потому что здесь уже расставлены столы и стулья под тентами — господа сидят и пьют пиво. Это заведение владельца пивоваренного завода фон Вакано. Еще он устроил площадки для игры в мяч и катание на велосипедах. В мяч еще не играют, а на велосипедах уже катаются — вон проехала сосредоточенная, бойкая барышня.

Вера хотела зайти в Струковский сад, посидеть на скамейке, да раздумала — еще кто-нибудь привяжется. Пошла дальше и нашла местечко для обзора реки за Пушкинским сквером, у стены, ограждающей Иверский монастырь.

Солнце светило весело, рассыпало лучи на тающий снег и лед, вспыхивало тысячами искр. Уже никто не ходил через реку в заволжское село Рождествено. Вода блестела, кое-где выступив наружу. Около воды важно расхаживали вороны.

Скоро начнется ледоход. Какое это зрелище! Льдины трещат, наползают друг на друга, сталкиваются, рушатся. Обязательно найдутся смельчаки, которые прыгают с шестами с одной льдины на другую, соревнуясь, кто заберется дальше по реке. Бывает, что и под воду уходят, но обязательно выбираются на берег, где охают, ахают, кричат…

А потом льдины пойдут по реке важно, торжественно, иногда даже величаво…

Ах, еще бы раз увидеть ледоход…

Справа, в дымке, виднелись Жигулевские горы. У поворота реки, близко сойдясь, они высились так, что получались врата для реки.

Сейчас солнце хорошо освещало горы. Покрытые хвойным лесом, они были почти голубыми, охваченные снизу белой рекой, а сверху синим небом.

«Благодать Божия, — думала Вера, глядя на простор реки, на горы, небо. — А мы живем в грязи и смраде. Почему в домах вонь, во дворах помойки и крысы? Неужели нельзя сделать жизнь чистой? Ну хотя бы не так загаживать прекрасный Божий мир? Живите, радуйтесь! Сколько раз отец Игнатий говорил, что человек создан по образу и подобию Божию. Но почему мой отец превратился в зверя?»

И Вера нашла ответ: «Потому что живет без Бога».

Ответ был найден, но легче ей не стало.

Домой она не вернется — и не из страха, что отец убьет. Просто опостылело ей все в этом доме, вот в чем дело.

Идти ей некуда. Что же остается? Раз нет места для жизни, значит надо с ней расстаться.

Бог поймет и простит. Она ведь не грешила. Приставали к ней дружки отца, но она не поддалась. А отца ударила, потому что защищала мать. Работала, сколько было сил, но так и не

сумела навести порядок даже в своей маленькой квартире. Прости, Господи!

Если пойти прямо через Волгу, то в каком-нибудь месте провалишься под лед. Несколько раз следует глотнуть воды — вот и все.

Она стала искать спуск к реке. Оказалось, что это не так-то просто. Подходы к воде были перекрыты сараями, складами. Пришлось обойти всю монастырскую стену. По тропинке между деревянными постройками она вышла наконец к Волге.

Здесь, у воды, на деревянных мостках сидела монахиня и полоскала белье.

Мостки были довольно высокими, и монахиня с трудом дотягивалась до воды. Когда Вера подошла, монахиня, неловко изогнувшись, тащила на себя пододеяльник. Задела им за столб, испачкала и, бросив в таз, с обидой посмотрела на Веру:

— Ну почему доски так высоко?

— Потому что когда лед сойдет, вода поднимется.

— А сейчас как быть?

— Сейчас лучше в бак воды натаскать да согреть хоть немного — вода-то ледяная.

— А я думала, что тут быстрее управлюсь, — монахиня улыбнулась.

Она уже немолодая, глаза большие, синие, смотрят ласково.

«Красавица!» — подумала Вера.

— Можно вам помочь?

Вера сбросила плюшевую жакетку, подвернула рукава кофты, ловко согнулась и, опустив пододеяльник в полынью, сильно повела им из стороны в сторону. Подняла, опять опустила, так несколько раз. Вытащила, привычно отжала, бросила в таз.

И скоро все белье, что принесла сестра Евфросиния (а это была она), лежало в тазу, готовое к сушке.

Подхватив таз с бельем, Вера пошла за сестрой Евфросинией. Развесили белье, и Вера попросила:

— Можно я вам постираю? Я умею.

— Вижу я, что умеешь. Так ведь тебе свои дела надо делать?

— Нет у меня никаких дел.

— Как нет? Ну-ка сядь, милая. Что у тебя случилось? Расскажи. Ты мне помогла. Может, и я тебе помогу.

Лицо у монахини было такое хорошее, глаза такие добрые, что Вера все рассказала без утайки.

— Вот что, милая, — сказала сестра Евфросиния, раздумывая, — переночуешь у нас, в комнате для приезжих. А я пойду к матушке игуменье и про тебя расскажу. А как она назначит, ты к

ней пойдешь и все расскажешь, как мне рассказала. И если матушка благословит, останешься у нас послушницей. Хочешь?

У Веры дыхание перехватило. Разве такое счастье возможно? Она такая некрасивая, грубая…

— Я ведь только стирать и мыть умею.

— А молиться?

— Люблю. Только мало молитв знаю.

— Я тебя научу. Что самое главное в вере Христовой?

— Возлюби ближнего, как самого себя.

— Правильно, да не совсем. Сначала возлюби Бога всей душой, всем сердцем и всем разумением своим. Запомни: матушка любит об это спрашивать.

Но Вере не пришлось отвечать на этот вопрос. Войдя к игуменье в кабинет, она оробела так, что язык будто отнялся.

Игуменья была сухопарой, суровой женщиной. Она сидела в кресле, перебирая четки.

— Подойди ближе. Сядь вот тут, — и указала на стул, который стоял рядом с креслом.

Вера послушно села.

— Знаешь ли ты, что значит в монастыре жить? Сколько молиться надо? Да не по принуждению, а чтобы сердце само приказывало? Если тебе просто деться некуда, так я тебя в прачки устрою и на жительство определю.

Вера замотала головой. Она представила, что опять будет жить на квартире, вроде той, где живут родители, с замерзшими во дворе помоями, с вонью на кухне, с пьяными мужиками, которые опять будут к ней приставать.

— Нет… я у вас, матушка!

И вдруг рыдания вырвались у нее из груди — горькие, отчаянные, истовые. Прежде Вера очень редко плакала, да и то ночью, украдкой. А сейчас будто вырвалось из сердца все горе, вся взрослая боль, что накопилась за годы. Вера закрыла лицо руками, пытаясь унять рыдания.

— Это что же… это сколько же ты претерпела, — игуменья приподнялась, взяла Веру за руку, приблизила к себе, обняла. — Ну, будет, будет! Матерь Божья Заступница наша. И тебя защитит, и сердце твое отогреет. Ты только молись усерднее.

Вера кивнула, а матушка, достав большой платок, вытирала ей слезы и гладила по голове.

Когда Вера уже была пострижена в мантию с именем Марфа, однажды пришел к ней отец. Он сильно изменился. На лице появились крупные морщины — это водка изжевала его лицо. Спина ссутулилась, плечи выдвинулись вперед, отчего грудь казалась вдавленной к позвоночнику. В глазах появилось незнакомое Марфе выражение забитости.

Он рассказал о том, что она и без него знала: Павел женился, живет отдельно. Мать болеет, да и он стал часто хворать.

И когда встал, чтобы уйти, сказал, опустив голову:

— Я прощения у тебя пришел просить.

— Давно тебя простила и молюсь за тебя.

— Нет, ты не знаешь, — он поднял голову и посмотрел ей прямо в глаза. — Я тогда… убить тебя хотел. Все момент выжидал, чтобы поудобнее… и чтобы незаметно.

— Я знала.

— И простила?

Она кивнула.

— Ты… ходил бы в храм, папаня. Помолился бы.

— Не умею, не хочу, — в голосе появилось раздражение, будто уже жалел, что покаялся.

— Все же как-нибудь попробуй. А я за тебя и за маманю все время молюсь. Ну, ступай с Богом, к обедне звонят.

Она проводила его до аллеи, которая вела к монастырским вратам. И когда он удалялся, она перекрестила его.

Глава пятая. Прасковья и Варвара

Рядом с Марфой сидели две хрупкие девушки. Они были сестрами не только по вере, но и по крови. Девушки сидели, тесно прижавшись друг к другу, и старшая, Прасковья, как могла, успокаивала младшую, Варю. Паше и самой было жутко и страшно, но когда сестра Евфросиния запела и все подхватили молитвенное пение, Паша забыла о страхе смерти. Потому что голоса сестер звучали стройно, как в храме, и не было в них ни тоски, ни отчаяния, даже когда бесновался ветер.

— Сестры! — плачущим голосом сказала Варя. — Сестре Марфе плохо!

Ветер утих так же внезапно, как и налетел. Монотонно шумел дождь, и после испуганного голоса Варвары те, кто находился рядом, услышали, как льется в трюм вода.

Сестра Евфросиния нащупала руками пробоину.

— Тут дыра! Марфа закрывала ее!

— Заткнуть бы чем, — подала голос сестра Феодора.

— Да вот моей шалью… передайте-ка!

Еще и другие сестры передали одежду, и кое-как Евфросинии и Прасковье удалось заделать пробоину, хотя вода все равно сочилась сквозь нее. Баржа осела, завалилась на правый борт, но все еще оставалась на плаву. А та пробоина в днище, на которую больше всего надеялся рулевой катера, показав ее начальнику как главное доказательство, что баржа через час-другой пойдет ко дну, та пробоина по-прежнему удерживалась приплывшим бревном, застрявшим под днищем.

— Сестра Марфа! — позвала Паша.

— Не тревожь ее, — отозвалась сестра Евфросиния и продолжала читать Канон молебный при разлучении души от тела: — «Содержит ныне душу мою страх велик, трепет неисповедим и болезнен есть, внегда изыти ей от телесе, Пречистая, юже утеши».

И Прасковья, и Варвара поняли, что читает сестра Евфросиния. И если умерла самая сильная из сестер, значит, настает и их час…

«Се время помощи, се время Твоего заступления, се, Владычице, время, о немже день и нощь припадах тепле и моляхся Тебе».

Горько плакала Варя. Ей 17 лет. Паше — 19. В монастырь они пришли семь лет назад, спасаясь от голода.

* * *

Летом, когда солнце выжгло все до последней травинки, деревня, в которой жили Паша и Варя, начала вымирать.

В их доме первым умер отец. Он больше всех трудился и все надеялся спасти семью.

Надорвался. Лег в постель, сложил руки на груди:

— Мать, позвала бы ты отца Тимофея.

— Да ведь он помер! — отозвался дед Кузьма.

Он слез с полатей, подошел к шкапчику, достал завернутые в белое полотенце Евангелие, молитвослов, икону Богородицы.

Все, что положено для предстояния перед Богом, порушила новая власть. Церковь разграбили и растащили по кирпичику, иконы и святые книги сожгли. Секретарь партячейки Влас Полушкин еще и по домам ходил и отбирал иконы. Но большинство народа, как и дед Кузьма, иконы и духовные книги спрятали.

Дед Кузьма сел рядом с сыном.

— Ты, и вправду, помираешь?

— Вправду, — ответил Прокофий. — Там, внутри, чего-то печет шибко.

У деда оставался сухарик. Он, развернув платок, дал его сыну:

— Накось!

— Не надо. Позови всех и прочти что положено.

Дед Кузьма вышел на подворье. Был он белый, как одуванчик. Ничего не ест, все детям отдает, а вот поди ж ты — самый здоровый. Помолится, перекрестится, пососет сухарик, водички попьет — и за дела. То драный валенок подошьет, то доски стругает — все умеет дед Кузьма. Но главные его дела — плотницкие. Если бы сейчас кому дом ставить — первый бы пошел. Но никто не ставит домов, гниют и рушатся они. Теперь все работы деда — у себя дома.

Любо-дорого смотреть на его инструмент. И сейчас Кузьма содержит его в наилучшем виде — все время подправляет, подтачивает, словно ласкает.

Игрушек внучкам наделал самых забавных. Есть кузнецы, которые попеременно опускают кувалды, есть клоун: дернешь за нитку — он руки и ноги в стороны растопыривает. Есть и лошадки, и куклы есть.

Дети сидели прямо на земле. Копались, как куры, в испревшей соломе, выискивая зернышки.

— Идите в дом!

Дед заглянул в коровник — никак не мог привыкнуть, что он пустой. Забрали и Зорьку, и годовалую Субботку, и бычка Тимку. Ну ладно бы, содержали в своем колхозе скотину, как обещали — чтобы всем было молоко и молочные продукты. Где там! Постепенно всю скотину забили, мясо продали. А тут еще засуха, да такая страшная, как до революции. Тогда граф Лев Толстой, знаменитый писатель, помогал. Доходы от конезавода, который у него в Гавриловке, отдавал крестьянам. Ныне выручает какой-то Помгол, да разве до них помощь дойдет?

Скорее этот Помгол сам от голода сдохнет.

Невестка деда Кузьмы, Василиса, варила кору. Весной и в начале лета травки выручали. Оставалось немного муки, картошки. А теперь ничего нет — даже картофельные очистки съели.

— Пойдем-ка, Василиса, в горницу. Богу душу отдает Прокофий.

Василиса худа. Сарафан висит на ней, как на чучеле огородном. Скулы выперли, щеки ввалились, глаза горят нездоровым огнем.

Вся семья сгрудилась около Прокофия. Дед Кузьма поставил икону Богородицы в изголовье кровати и начал молиться.

Прокофий смотрел на родных измученным взглядом. Был он человеком добрым, исполнительным — все делал, что власть велела.

Когда дед Кузьма закончил читать молитвы, Прокофий сказал:

— Уходите. Тут одна смерть!

— Куда уходить-то?

— В Самару. Там храмы остались. И ты, тятя, может, работу найдешь.

Они посидели около Прокофия в молчании. Потом каждый пошел по своим делам: Василиса — доваривать суп из коры, дети — искать зернышки, а дед Кузьма — сколачивать гроб.

Назавтра Прокофия похоронили, и дед Кузьма стал собираться в дорогу. Взял с собой самое дорогое — лучший инструмент. Детям мать собрала одежду, а сама идти отказалась:

— Тут я родилась, тут и умру!

Дети расстались с матерью без слез. Да и у нее слезы все высохли. Поцеловала, перекрестила и сказала:

— Сбереги их, тятя!

— Не боись. Прокофий-то верно сказал: где храм — там народ православный, выручит. Последней корочкой поделится. Лучше бы шла с нами!

Но Василиса оставить родной дом не смогла.

Дед Кузьма путь держал в Самару. Почему в Самару, он и сам толком не знал. Оренбург ближе, там тоже храмы есть. Но сын сказал «Самара», и как-то само собой решилось, что туда и надо идти, пусть и дальняя дорога.

Шел дед Кузьма бодро, пел: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ…»

— И сущим во гробех живот даровав, — тоненько, как птички, подхватывали Паша и Варя.

— А помнишь, дедушка, как на Пасху-то дождик был, помнишь?

— Как не помнить! — дед так и расплылся в улыбке. — До нитки вымокли, а никто не ушел!

Девочки засмеялись, вспоминая радостную Пасху.

Ждали тогда отца Никодима, уже после праздничной службы, чтобы он освятил куличи, яйца, пасхи. Вся деревня стояла у церкви, все с узелками и корзинками.

И тут внезапно начался ливень.

Прежде никогда такого не было, а тут потоки дождя обрушились с неба. Переполошились, испугались, а потом кто-то громко крикнул: «Ух ты, за шиворот льет!»

И засмеялся кто-то, смех перекинулся дальше. И, закрывая торбочки, узелки, корзиночки, смеялись православные, прижимаясь к стенам храма, как к матери родной, радуясь сильному весеннему дождю, жизни, Воскресению Христову.

А тут и батюшка Никодим вышел из храма, смело шагнув под струи дождя. Высокий, крепкий, с густой окладистой бородой, с ясными голубыми глазами, приветливый, он всегда был готов отдать последнее ближним. Отец Никодим радостно возгласил:

— Христос воскресе!

— Воистину воскресе!

Нет теперь отца Никодима, увезли его куда-то люди в фуражках и гимнастерках.

А другой батюшка, отец Тимофей, умер от голода.

…Дорога длинная. То дети вспоминали что-нибудь интересное, то дедушка. Рассказывать он любил, а девочки с удовольствием его слушали.

В деревнях встречали по-разному, но какая-нибудь завалящая корочка хлеба все равно находилась. Да и как им не подать, если две тоненькие голубоглазые девочки — точно полевые васильки, а дедушка — как одуванчик! Легкий, с пушистыми белыми волосами…

Однажды в пути их застала ночь.

Нашли местечко за холмиком, натаскали хвороста, разожгли костерок. Стали кипятить воду в котелке, и тут из темноты вышли двое. Небритые, грязные — видимо, тоже долго шли пешком. Кто такие, куда идут и зачем, ответили деду Кузьме так, что не разберешь. Может, тоже из голодной деревни, а может, прячутся, что-то такое сделав, за что по головке не погладят.

Дед не стал приставать с расспросами. Уложил внучек поближе к костерку, накрыл своим стареньким пиджачишком. И сам улегся.

Проснулся он оттого, что звякнуло железо. Поднял голову, увидел, что незнакомцы роются в его котомке, где лежал инструмент.

— Это, ребятки, брать нельзя, — сказал, вставая, Кузьма. — Мне без инструмента деток не прокормить.

— Ничего, обойдешься! — ответил тот, что был ростом выше и в плечах шире.

Рассмотрев рубанок и переложив его в свою торбу, он теперь держал в руках топорик:

— Гляди, какой острый! Тебе, дед, с таким топором нельзя ходить. Это, считай, оружие!

— Да ты что же, да как же! — Кузьма опять потянулся к котомке.

Тогда незнакомец кулаком ударил деда по лицу — размашисто, сильно. Дед охнул и повалился.

— Ну вот, успокоился, — незнакомец забрал весь инструмент Кузьмы.

Второй, присматриваясь к лежащему навзничь деду, подполз к нему, приложил ухо к груди.

— Слышь, давай-ка уходить отседа!

— Да ладно, кого бояться? Умер и умер. Ныне все мрут.

— Я вот думаю, ежели он умер… может, попробовать?

— Чаво?

— Ну я слыхал, в Федоровке ели мертвых… И в Сосенках, сказывают, ели. Да ты что вылупился? Сам, что ли, не слыхал?

— Слыхал, а есть не буду.

— Ну и подыхай. А я не хочу!

— Да как ты будешь? — озлобился второй. — Рубить?

— А что? Ты корову не забивал? Барана не резал?

— То животина. А это человек.

— Глянь, какой топорик вострый!

— А если дети проснутся?

— Тихо! Мы деда оттащим к реке. А если что… так и с ними управлюсь.

За ноги они потащили тело старика, а Паша, которая услышала их разговор, растолкала сестренку и тихо повела ее к большаку. Спросонья Варя ничего не понимала, но Паша крепко держала ее за руку и тащила вперед.

Большак выделялся среди полей в светлой ночи, и девочки побежали. Ангел Хранитель не оставлял их, и они добрались до Самары. Когда они сели на паперть Сретенского храма, сестра Марфа увидела их.

Она подошла к девочкам.

Дети исхудали настолько, что кожа туго обтягивала кости.

Но души их были живы — светились в синеньких глазах.

Девочки смотрели на Марфу с надеждой, будто заранее знали, что именно она спасет их.

— Пойдемте-ка со мной! — Марфа повела их в моечную, раздела, бросив тряпье в печь.

Она мыла девочек в корыте, с мочалкой и банным черным мылом. Нищих детей Марфа видела много раз, но эти две сестренки, такие худенькие, с синими васильковыми глазами, перевернули ее душу.

Марфа всегда любила детей. Матушка-игуменья заметила, что, помимо своего основного послушания, сестра Марфа работает еще в доме сирот — стирает, моет и убирает там. И со временем ее перевели туда.

Любовь Марфы к детишкам расцвела. Ей не суждено было родить ни одного ребенка, хотя у нее могла быть большая семья. Но Бог дал ей такую семью, какой нет ни у кого из мирян, — она стала матерью для всех детей сразу.

Паша и Варя тоже стали ее детьми. Они выросли в монастыре, окрепли. Когда монастырь закрыли, они уже были рясофорными послушницами.

Глава шестая. Татьяна — сестра Епистимия

Ту монахиню, которая сидела в трюме баржи слева от Прасковьи и Варвары, звали Епистимией. Она несла послушание воспитателя сиротского дома и библиотекаря.

Сестра Епистимия понимала, что пришел ее последний час. Если будет им спасение, то не земное, а небесное. Умереть вместе с сестрами, претерпев мучения от гонителей христиан, как первые мученики за веру Христову… какой еще земной конец жизни может быть лучше?

Вот только умереть нужно достойно. Помоги, Господи!

Вода поднялась уже до колен, и Епистимия перестала поджимать под себя ноги, зная, что скоро в воде окажется все тело. Когда вода будет заливать лицо, дыхание прекратится само собой, и надо быть готовой к этому.

Ей вспомнилась картина Флавицкого «Княжна Тараканова».

Сколько муки на лице этой красивой молодой женщины! Екатерина Великая заточила авантюристку в Петропавловскую крепость, потому что жила во время дворцовых переворотов, когда власть держалась на острие шпаги какого-нибудь героя, вроде Алексея Орлова.

И Октябрьский переворот не был романтическим подвигом героев. Власть валялась в пыли, словно никому не была нужна.

Государственную державную Россию расшатали, растащили по своим партиям и группочкам либералы, которые кричали, что отсталую Россию необходимо вытаскивать на столбовую дорогу европейской цивилизации. Это они заставили государя отречься от престола, они совершили Февральскую революцию и создали бездарное Временное правительство. Они в конечном счете привели к власти большевиков.

Достоевский говорил, что либералы погубят Россию. Так оно и случилось.

Сестра Епистимия слишком хорошо знала либералов. Ее отец, Игнатий Аристархович, и был как раз известным самарским либералом, и не без знакомств с прогрессивными деятелями в Петербурге и Москве.

Внешне он был импозантен, в молодости даже красив. Густые, до плеч, волосы, холеные бородка и усы, орлиный нос, большие, с маслянистым блеском, глаза — он был похож на артиста или поэта. Одевался Игнатий Аристархович тщательно и со вкусом, всегда носил идеально свежие рубашки.

Оратор он был превосходный. Ему бы в Думе выступать, а не в губернском суде, защищая интересы мещан, иногда купцов, иногда простого люда. Коньком Игнатия Аристарховича был психологизм. Он всегда старался подать дело так, чтобы «обнажить язвы нашего замшелого общества», как он выражался.

Конечно, он мечтал о таком процессе, который «тряхнул бы Россию» — как, например, процесс над графом Николаем Толстым, стрелявшим в Алексея Бострома, к которому ушла жена графа. Востром молодец — бросил перчатку этим аристократишкам, борясь за свою любовь.

А она, графиня? Оставить троих детей, беременной четвертым уйти от первого богача Самары к человеку из обедневших дворян! Да если бы он выступил на том процессе, его бы имя знала вся Россия!

Но шли годы, ничего такого звонкого, захватывающе-интересного не было в этой заштатной торговой Самаре. Впрочем, город растет, строится, становится, как выразился один фельетонист, «русским Чикаго».

Игнатий Аристархович и сам пописывал в «Самарскую газету», и не без успеха. Ему даже грезилось, что он, как и этот высокий, неприлично окающий, поплевывающий на пальцы и поглаживающий свои усы Алексей Пешков из «Самарской газеты», тоже выдвинется и станет известным писателем.

Игнатий Аристархович начал сочинять рассказы о народных страданиях, несколько даже напечатал, но потом дело как-то застряло. Он все грозился, что вот запрется, засядет и не выйдет из дома, пока не напишет роман. Даже название уже было готово, он говорил о романе как о наиглавнейшем деле своей жизни.

— Мой «Пласт жизни» начнется не загадочной смертью на мосту, как у Чернышевского, а похлеще. Представляете, мой герой, сжимая пистолет в кармане, идет прямо на него, — глаза Игнатия Аристарховича блестели, а слушатели, в особенности если это были дамы или девицы, замирали:

— На него? На самого?

— Ну да! В этом-то все и дело!

— А цензура? Да кто ж такое напечатает? — спрашивал кто-нибудь из скептиков.

— А то мы не знаем, как действовала смелая российская мысль! — и Игнатий Аристархович пускался в любимые рассуждения о Герцене и Огареве, о Чаадаеве или о своих современниках — чаще всего о Милюкове, которого Игнатий Аристархович знал лично.

Все эти разговоры происходили дома. Игнатию Аристарховичу нравилось ходить в гости и самому приглашать к себе — тут-то и раскрывался его талант в полную силу. Он любил чтение стихов, музыку, но больше всего — ораторствовать.

Чтобы его вечера получались не хуже, чем у следователя Тейтеля, где бывали все прогрессивные интеллигенты, или у госпожи Курлиной, куда допускалась избранная часть этой интеллигенции, Игнатий Аристархович тщательно готовился, отправляясь на званые вечера и вечеринки. А на своих домашних вечерах роли были твердо распределены: старший сын Виктор пел, так как у него был недурной баритон, дочь Валентина музицировала, а Татьяна читала стихи.

Поэзию она полюбила с ранних лет и учила не только то, что задавали в гимназии, но и все, что нравилось, — память у нее оказалась хорошая, отцовская. Однако выступать перед гостями ей стало в тягость лет с четырнадцати, потому что она увидела — ее выставляют напоказ. Но отцу нравилось, что гости рукоплескали. И как-то само собой решилось, что Татьяна станет драматической актрисой. Причем актрисой замечательной, может быть, такой, как Пелагея Стрепетова — «Горькую судьбину» Писемского с участием знаменитой актрисы играли тогда на самарской сцене.

Игнатий Аристархович был поглощен собой, выступлениями, службой, и неудивительно, что разобраться в характерах и наклонностях детей не сумел.

Даже собственную жену Агнию Романовну он узнать не успел.

Считалось, что у нее нет никаких талантов, и на вечерах ей была отведена роль прислуги. Она была добра, деликатна, с Игнатием Аристарховичем спорила редко. Чаще тогда, когда речь заходила о вере.

Если гости или сам Игнатий Аристархович начинали глумиться над Церковью и Господом, Агния Романовна бледнела и уходила из гостиной. Это мало кто замечал. Но Татьяна, повзрослев, увидела.

В детстве она ходила с матерью в церковь каждое воскресенье. Когда стала взрослеть — только по большим праздникам, а потом был период, когда она совсем перестала ходить в храм.

В то время Агния Романовна слегла. Болезнь подозрительно затянулась, и когда доктор стал приходить редко, только по особым вызовам, всем в доме стало понятно, что Агния Романовна умирает.

Заботы по дому и о больной легли на плечи Татьяны, потому что сестра Валентина вышла замуж за телеграфиста Величко и жила отдельно, брат Виктор учился в Петербурге, в университете, а отец, как прежде, был очень занят.

Однажды, когда Татьяна пришла к матери, чтобы дать ей лекарство, Агния Романовна сказала:

— Лампадка погасла.

Татьяна посмотрела на знакомую с детства икону Божией Матери. Лампадка пред ней действительно погасла.

— Никакой беды нет. Или фитилек сгорел, или масло закончилось!

Когда лампадка затеплилась, мать спросила:

— Таня, а ты помнишь, что это Иверская икона Богородицы? Помнишь, что я тебе рассказывала?

Татьяна на секунду задумалась.

— Прости, мама, забыла. А что?

— Сотни глупых стишков помнишь, а про Иверскую забыла!

— «Глупых стишков»? Раньше ты так не говорила.

— Раньше ты была маленькая. Так что, действительно в актрисы пойдешь?

— Не знаю. Выпей микстуру.

Агния Романовна равнодушно выпила лекарство. Солнечный свет косыми лучами падал через окно на одеяло, на измученное, бледно-желтое лицо болящей. Нос ее заострился, глаза стали больше, их выражение изменилось. Так казалось, потому что под глазами легли темные тени.

— Задерни занавеску и сядь.

И голос у Агнии Романовны изменился — стал глухим.

— Что случилось, мама?

— А ты не знаешь? Сходи к отцу Мартирию. Его- то, надеюсь, помнишь! Скажешь, что меня надо соборовать. Помолчи! Когда умру, обязательно отпеть. Игнатий будет ерепениться, но ты его приструни. Обещай, что все исполнишь, как я прошу!

— Обещаю, мама. Хотя не совсем понимаю…

— Ты-то как раз и должна понять. Сколько я тебя в церковь водила. Бог в душе у тебя живет, только ты про Него забыла. А как умру — вспомнишь.

Таня хотела усмехнуться, но не смогла — вид матери и ее голос не позволили.

— Умираю спокойно, потому что без меня обойдетесь. Вам даже легче будет.

— Мама…

— С Игнатием я, конечно, поговорю, но и ты знай — пусть они хотя бы три месяца не женятся.

— Кто такие «они»?

— Неужели не знаешь? Нет? Ну скоро узнаешь, не об этом я хочу с тобой говорить. Я знала все его интрижки, все его влюбленности. Он даже иногда у меня совета просил, как ему быть.

— И ты… давала советы?

— Я дважды уходила к родителям. Но потом он приползал просить прощения, и я прощала. Ради вас. Поправь мне подушки.

Татьяна приподняла мать повыше. Задернутая занавеска закрыла заходящее солнце, и дочь зажгла керосиновую лампу. Лицо Агнии Романовны осветилось, и Татьяна увидела глаза матери. Только сейчас она поняла, как много та страдала.

— Ты должна твердо знать, кто твой отец. Он увлечется, вспыхнет, как спичка, и тут же сгорит. Убеждения у него точно такие же. Сегодня он прочел Шопенгауэра — и весь его. Завтра прочел Кропоткина — и уже анархист. А через неделю будет с жаром отстаивать прямо противоположные идеи. Раньше он давал мне читать все, что читал сам. И хорошо, что я опомнилась, перестала поглощать все эти красиво написанные умствования. Их бесконечное множество, а Бог един. *Я есмь путь и истина и жизнь.* Так сказал Спаситель. Я потому тебе все это говорю, что вижу — он запутал тебя, как в свое время меня.

Агния Романовна устала говорить и тяжело вздохнула. Взяла чашку с водой, попила.

— Ты не торопись отвечать. Я должна была раньше все это сказать, но как-то не решалась. Валентина совсем другая, она вся мирская и счастлива со своим Величко. Им бы побольше денег, вот и все, уже и счастливы. Виктор будет не таким красноречивым адвокатом, как отец, зато более солидным, основательным. Другое дело ты. Тебе не дадут настоящего счастья ни театр, ни любовь к какому-то мужчине. Тебе другая любовь нужна.

Татьяна не спускала с матери глаз. Может, она действительно скажет, как надо жить? Она так верно объяснила отца, Валю, Виктора. А как быть ей? В голове действительно каша.

Конец века — конец света? Или «гордо реет буревестник»? Взять пистолет и выйти на царя? Или, как Раскольников, упасть на колени перед всем народом? Да ведь никто не увидит! Или обсмеют!

— Я много не прошу, Танечка. Ты только в церковь ходи, молись. И меня помяни — мне там легче будет.

Татьяна опустила голову матери на грудь. Почему она раньше не пришла к ней с лаской, не обогрела ее…

— Мама, прости меня, я огрубела сердцем. Хочешь, скажу правду? — она подняла на мать заплаканные глаза. — Я не верю, что Он там есть.

— Не говори так, не лги себе. Сама подумай: ну разве может душа умереть? Как горячо ты молилась девочкой! Если бы тебе вернуть ту веру, ты была бы спасена!

Она гладила льняные волосы дочери, вытирала ее слезы.

— Ты плачешь, значит еще не все потеряно, доченька!..

Похоронили Агнию Романовну по православному обычаю — все сделали, как положено. И ровно через три месяца, как строго наказала Татьяна отцу, Игнатий Аристархович женился. Избранницей оказалась Людка Поликарпова, подружка Татьяны. Оказывается, свои любовные сети они плели за спиной и у Агнии Романовны, и у всех домочадцев. Но Агния-то Романовна все видела, потому что сказала «они». А Таня решила, что отец женится на Печерской,

учительнице из гимназии, за которой он вроде бы ухаживал.

Вот так отец, вот так Людка…

Поликарпов был довольно известный в городе торговец, так что Игнатий Аристархович женился не только на молодой и хорошенькой, но еще и богатенькой. И прямо расцвел — накупил новые английские пиджаки, рубашки, галстуки.

Люда была славная, но чтобы она заняла спальню мамы и чтобы стала хозяйкой в доме… Нет, оставаться здесь было невыносимо!

Узнав, что дочь уходит на квартиру, Игнатий Аристархович сконфузился, но быстро пришел в себя:

— Да, ты рассудила правильно. Я, разумеется, за квартиру буду платить и тебя содержать, пока ты не выйдешь замуж. А видеться кто же нам помешает? Ведь я так люблю тебя!

Он прижал ее к новому пиджаку — черному, в белую полоску. От него пахло духами, и с того дня этот запах вызывал в душе Татьяны тяжелое чувство.

Одинокая жизнь ее не тяготила. Она опять занялась переводами. Видеться с теми, кто приходил к отцу, ей стало неприятно. Несколько настойчивых ухажеров навещали ее, но она эти визиты решительно прервала.

Смерть матери и женитьба отца на подруге оказались точкой, которая ставится в конце главы. Надо было начинать новую.

Как и обещала матери, Татьяна стала ходить в церковь. Ближайшая была Иверская, и Таня, ходившая туда с детства, вернулась именно в этот храм.

Идти надо было мимо театра, но Татьяна не заходила в это здание, похожее на красивую нарядную русскую игрушку — с башенками, сводчатыми арками, колоннами, обрамляющими окна. Она поняла, что никогда не станет актрисой. Ее декламации хороши для семейного круга. И если она чувствует, что выходить на публику ей неловко, зачем тогда идти в актрисы?

В чем же ее призвание? Вдалбливать прописные истины в головы детей богатых родителей? Если бы отец помогал деньгами, как обещал, она бросила бы уроки. Но Люда родила, отец всякий раз при встрече жаловался, что денег мало. Вот новая власть даст ему хорошую, солидную работу, говорил он, и тогда дела пойдут на лад. Чмокнув Таню в щеку, он торопливо уходил — на митинг, собрание какое-то, или заседание. Игнатий Аристархович без устали ораторствовал, а в суд почти не ходил — там теперь наступила странная тишина.

Открывшаяся после октябрьского переворота возможность ораторствовать чрезвычайно нравилось Игнатию Аристарховичу. Его включали в составы разных комитетов и комиссий. И Татьяна с ужасом однажды прочла в газете статью отца, в которой он оправдывал и приветствовал красный террор.

Среди расстрелянных были люди, хорошо знакомые и отцу, и Тане, а владелец книжной лавки Грибов приходил на вечера в их дом.

Таня пошла в церковь помолиться о убиенных.

Ноги как бы сами собой привели ее к месту, где она в детстве стояла рядом с матерью. Татьяна

вглядывалась в лик Богородицы. Воспоминания детства стали проплывать перед глазами, одно за другим…

Вот она с мамой стоит здесь на Троицу. Храм весь в березовых ветках. Сквозь высокие окна свет падает так, что листья кажутся изумрудными.

А вот и Великий Четверг. В картонной квадратной коробочке она несет зажженную в храме свечу. Огонек мерцает, надо обязательно донести его домой и от него затеплить лампадку у мамы в спальне, и лампадка рубиново засветится. Другие дети несут такие же фонарики, и огоньки как будто разбегаются по темным улицам.

А вот на Пасху владыка раздает с большого блюда красные яички, и все тянут к нему руки — каждому хочется получить пасхальное яйцо от самого архиерея. И вдруг владыка нагибается и вручает яичко ей, Тане. «Христос воскресе!» — возглашает он, и глаза его сияют радостью. И так же радостно, звонко Таня отвечает вместе со всеми: «Воистину воскресе!»

Воспоминания были так отчетливы, что глаза Татьяны сами собою увлажнились.

«Прости, прости, Матерь Божия! — зашептала Татьяна. — Это потому столько крови, насилия, что забыли Тебя. И если Ты не вымолишь нам, окаянным, прощение, то все мы погибнем, и Россия погибнет».

И тут она вспомнила, что говорил отец Марти- рий, духовник мамы: «Россия — подножие Богородицы, Ее дом».

«А почему у Нее кровь на щеке? — подумала Татьяна, словно впервые увидев эти капельки, стекающие по лику Пресвятой. — Мама рассказывала, но что же? Надо узнать сейчас, немедленно!» — Татьяна оглядывалась по сторонам, отыскивая, к кому можно обратиться.

Служба закончилась. Рядом пожилая монахиня клала земные поклоны. Она тяжело поднималась, и Таня подошла к ней, намереваясь помочь.

— Не надо, милая, я сама, — монахиня была подслеповата, но увидела заплаканное лицо молодой женщины. — Вижу плохо, но, вроде, раньше тебя здесь не встречала. Или ошиблась?

— Нет, я здесь давно не была.

— Горе у тебя?

— Горе, матушка. Расстреливают всех подряд, а некоторые пишут, что так надо для счастья всего человечества.

— Вон что. Зовут меня матушка Агапия. А тебя?

— Татьяна. Я учительница. Иностранные языки знаю. Да только сейчас это никому не нужно. Я вот что… Скажите, почему на Иверской иконе у Матери Божией кровь на щеке?

— Ох! — матушка направилась к выходу, Татьяна — за ней. — Такая образованная… Было это во времена иконоборца Феофила, в первый век христианский. Около города Никеи жила одна благочестивая вдова. У нее была особо чтимая икона Богородицы. И один римский воин, ворвавшись к ней в дом…

— Вспомнила! — тихо сказала Таня. — Он ударил мечом по иконе, и на ней выступила кровь.

Воин бросил меч и раскаялся…

— Да, правильно. И он сам принял мученическую смерть за веру. — Матушка Агапия двигалась медленно, опираясь на палку: — А дальше-то что было с иконой, помнишь?

Подслеповатая матушка умела по голосу, по тому, как идет человек рядом с ней, по тем очертаниям лица собеседника, которые открывались ей на какие-то мгновения, распознать, с кем она говорит. И сейчас почувствовала, что рядом находится мятущаяся, больная душа.

— Благочестивая вдова ночью пустила икону по волнам, — продолжила матушка Агапия рассказ. — Отдала ее во власть морю, боясь, что икону изрубят. Икона приплыла к Афонской Горе, что в Греции…

— И явилась монахам в столпе света.

— Правильно. А почему она Иверской названа?

— Не помню.

— Потому что первым ее увидел монах из Иверии… А какие языки ты знаешь?

— Немецкий, французский, латынь.

— А греческий?

— Со словарем читать могу.

— Так. А в библиотеке у нас бывала? Нет? А знаешь ли ты, как Иверская икона попала в Москву?

— Нет.

— В библиотеку к нам тебя бы отвести… Это царь Алексей Михайлович заказал, чтобы точный список сделали на Афоне и в Москву доставили… «Вратарницей» ее называют, потому что и у афонских монахов она над вратами стоит, и в Москве у Воскресенских ворот, в часовне. Да ты разве там не была?

— Нет.

— Ничего, побываешь, годы твои молодые! В библиотеку к нам когда придешь? — неожиданно спросила она.

— Не знаю… а когда можно?

— Да хоть в воскресенье. После службы здесь меня подождешь, — и она еще раз внимательно посмотрела на Татьяну.

И Татьяна пришла — захотелось еще раз поговорить с матушкой Агапией. Монахиня повела Татьяну в монастырскую библиотеку и там познакомила ее с отцом Иларием, духовником монастыря.

Глава седьмая. Татьяна — сестра Епистимия (продолжение)

Игумен Иларий худощав, всегда подтянут, ходит быстро. Взгляд его суров и тверд, глаза

темные, до черноты. Густые волосы тоже черные, а бороду уже обильно посеребрила седина.

Ему всего 34 года, но сестры чуть не старцем его считают — не по годам обрел он дар убеждения, мудрость. Известен своей праведной жизнью.

Подвизался отец Иларий у оренбургского старца Сосипатра в Бузулукском монастыре, потом служил в Никольском монастыре в Самаре. А теперь архиерей назначил его духовником Иверской обители.

В библиотеке рядами стоят на стеллажах книги в темно-коричневых, вишневых переплетах, с медными застежками. Есть и в окладах. Сколько же здесь сокровищ… Отец Иларий сидит за столом, Татьяну усадил напротив.

— В чем твои сомнения?

— Сомнения мои в том, — начала Татьяна, приготовившись к этому разговору, — что я устала жить так, как живу. Все опостылело и потеряло смысл. Учить детей, как указывает новая власть, не могу и не хочу. Частных уроков почти не осталось. Были еще переводы, но заказы приходить перестали.

— И замуж не идешь? Или уже была?

— Не была и не буду, наверное.

— Почему же? В чем Божье назначение женщины, разве не знаешь?

Татьяну стал раздражать этот монах. Видать, просто много о себе возомнил, оттого и говорит повелительно.

— Господь сказал: *Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно.* И Он указал на Марию. Так не о духовной ли жизни Он говорил?

Отец Иларий выдержал взгляд Татьяны и спокойно ответил:

— Спаситель говорил о вере. И Он не разделил сестер. Марфа и Мария — две женские ипостаси, житейское и небесное, тело и душа. Они нераздельны, не так ли? Оттого и церкви, и обители — Марфо-Мариинские.

Не смутилась и Татьяна:

— Все же есть Марфа, есть и Мария. А вот еще вопрос: кто назвал Россию домом Богородицы?

— Не так важно, кто назвал. Важно, что народ так считает.

— Народ? А почему этот народ разрушает храмы, жжет иконы… похуже римских воинов? Феофил вернулся?

— Может, и Феофил. А может, хуже. Кто умирал за веру, а кто и предавал ее. Соблазнялись и речами вожаков. Верили им, отвергая Бога. Всегда так было. Весь-то народ зачем в бесов рядить?

— Да что-то праведников мало! Что-то больно быстро все возжелали рая земного, а не небесного. Поманили пряником, и тут же вера рухнула. Действительно, Россия — как колосс на глиняных ногах!

— Ты и в самом деле так думаешь? — строго спросил отец Иларий. — Или родной отец тебя наставил? Знаю, кто он. И статьи его читал — мы для него самые главные враги, так?

— Так. Но только с ним я не вижусь, живу отдельно. И думать я привыкла самостоятельно.

— А коли самостоятельно, так почему не можешь понять Евангелие?

— Почему вы решили, что не могу?

— По словам твоим. Что говорил Господь, когда отправлял учеников проповедовать?

— Что… чтобы они не боялись ничего.

— И все?

— Чтобы… несли слово Божие…

— Возьми Евангелие, — он указал на книгу, — открой главу десятую у Матфея. Читай вот отсюда, — и он показал на стих девятнадцатый.

— Татьяна прочла: *Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец — сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их; и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется.*

— Достаточно, — сказал отец Иларий. — Теперь понимаешь, какая должна быть вера, чтобы претерпеть до конца? И какие испытания послал нам Господь, чтобы мы спасли души свои?

— Нет, я не понимаю. Ничего не понимаю.

Щеки Татьяны были бледны, но сейчас на них выступил румянец. От постоянного недоедания она ослабела, но внутренняя, духовная, сила жила в ней, держала ее, и это было видно по ее чудесным серым глазам, похожим на ясное северное небо. Мамины были глаза у Татьяны, нижегородские. Там у Татьяны родовой корень.

— Почему же ты не можешь понять, что вера требует мужества? Духовной силы? Именно это имел в виду Господь, когда говорил, что *не мир пришел Я принести, но меч.* То есть Он прямо нам объясняет, что Его последователь — воин. Меч, разумеется, духовный, и брань духовная.

— Значит, мы побеждаем их духом, а они нас — наганами и пулеметами? Пушками?

— Да, именно так. Думаешь, они расстреляют нас — и победили? Неужели веришь, что сила физическая больше духовной?

— И если тебя ударят по правой щеке, подставь левую…

— Да, Господь так сказал. Но что Он имел в виду? Уметь прощать, молиться о врагах своих. Уметь быть выше житейского. Найди Нагорную проповедь.

Татьяна беспорядочно листала страницы.

— Неплохо бы помнить, что Нагорная в пятой главе у Матфея. Читай.

— И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.

— Вот и разъяснена «правая и левая щека». Понимать это надо в высшем, духовном, смысле.

— Но граф Толстой совсем о другом говорит. И прямо понимает, что написано.

— Граф Толстой… свое евангелие сочинил… Вот гордыня — она и есть начало всякого сектантства. Сама подумай: да кто же из нормальных людей не будет защищать себя от врагов, покорится разбойникам?

Татьяна вспомнила, что говорил по этому поводу инженер Никольский, влюбленный в нее. Он как раз упирал на это место в Евангелии, говорил, что тут противоречие…

Она сказала об этом отцу Иларию.

— Никакого противоречия нет, если понимать всю полноту заветов Христа, а не вырывать отдельные фразы и толковать их на свой лад. Посмотри, сколько великих слов святые отцы сказали! — и он указал рукой на стеллажи. — А наши нынешние ничего не знают, ничего не понимают, а уже лезут сами сочинять про Христа. Толкуют вкривь и вкось, потому как себя хотят утвердить и прославить любыми путями. И ты хочешь идти с ними?

— Нет! — твердо сказала Татьяна.

— А если нет, так надо сказать «да» Христу. Другого пути не дано. Вот, сейчас я тебе прочту… — он подошел к полке, поискал, достал книгу с закладкой (видимо, недавно читал): — Чеканная формула про Отечество наше, про то, как жить… Сказано митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым), знаешь? Слушай: «Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся врагами Божиими». А, каково сказано? — он внезапно улыбнулся: — Вот мудрость! А Лев Толстой путаную нашу интеллигенцию еще больше запутал.

— Подождите, я боюсь потерять мысль… Да, вот. Если сам Лев Толстой заблудился, то как мне-то быть? С моим-то умишком?

— А как бабушка твоя не заблудилась? Мама? Они тебя в храм привели? Что, очень умные были?

— Да не сказала бы…

— Умные. Но сердцем! Сердцем и надо верить. А кто лезет свое собственное мироустроение вместо Божьего создать, попадает в капкан к дьяволу. На что Шопенгауэр хорош или наш Владимир Соловьев, а как плохо закончили…

Таня с удивлением смотрела на батюшку, и отец Иларий сказал:

— Что, непривычно от замшелого монаха о философии слышать?

— Признаться, да.

— Ты вот матушке Агапии сказала, что языки знаешь иностранные. А свой родной, русский, выучила? Нет, потому что не знаешь народа своего. Не знаешь! Иначе не спросила бы, почему храмы разрушают, иконы жгут. Помолчи, послушай. Народ-то к нынешнему сатанизму

готовили со времен Петра! Кто, кроме Лескова и Достоевского, к Церкви свято относился даже из наших великих писателей? А уж что говорить про нынешних! Наш Горький в грязь веру втаптывает, с удовольствием даже. И ведь никто не подумает, что за каждое слово на Страшном Суде отвечать придется. Наставлял Христос, что за всякое праздное слово дадут люди ответ в день Суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Так что же удивляться страшной каре, которая на нас пала? То Господня воля! — и он указал на икону Спасителя, висевшую в красном углу.

Татьяна посмотрела на икону. Это был «Спас Ярое око» — суровый, строго, взыскующе смотревший ей прямо в глаза.

Прежде не видела Татьяна такого изображения Христа…

Окно было закрыто, в библиотеке царил полумрак. На улице жарко, а здесь, за толстыми стенами, прохладно, тихо. В кельях, наверное, еще тише, и ничто не мешает молитве. Хорошо отцу Иларию молитву возносить к Самому Господу. И верить, что будешь услышан.

Да, это счастье. Но оно дается лишь избранным.

— Пойду я, отец Иларий. Спасибо, что выслушали меня!

— Должна еще прийти. Библиотекарь наш, сестра Агафоника, умерла. Много языков знала. Надо, чтобы теперь ты помогла. Запомни: *жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.* Иди!

Она ушла и, когда осталась одна, за воротами монастыря оглянулась. Солнце сияло на куполах, и монастырь был величав, наряден, украшенный золотой листвой.

«Ну да, жатвы много, это верно».

Ей захотелось самой найти это место в Евангелии, она заторопилась домой, и каблучки ее ботинок бойко стучали, а в сердце не было отчаяния…

Сначала она приходила в монастырь как помощница, потом стала насельницей, а через год была пострижена в мантию с именем Епистимия, что в переводе с греческого означает «знающая».

Глава восьмая. Надежда — сестра Фотиния

Если бы спросили, какая основная черта характера отца Мартирия, то всякий, кто хоть немного знал его, ответил бы: доброта. И обязательно при ответе улыбнулся бы, потому что доброта отца Мартирия почти всегда приносила ему или прямое неудобство, или ставила в неловкое, а то и смешное положение. Например, надо было заплатить за дрова, а он их отдал какому-то чиновнику, который приходил третьего дня и на коленях просил спасти его. Что за чиновник, откуда он вдруг взялся, неведомо. Потом выяснялось, что это и не чиновник вовсе, а заезжий артист, прокутивший в «Бристоле» немалую сумму с девицами, да шумно, даже с битьем зеркал.

Или, например, надо к зиме валенки достать, а их нигде не сыщешь. Краснея и вздыхая, отец Мартирий остановит поиски и скажет домашним: «Не ищите! Тут один человек приходил, и до того у него были драные башмаки, что смотреть невозможно…»

Матушке Глафире приходилось зорко следить за визитерами, а когда она была очень занята по

хозяйству, наблюдение передавалось или прислуге, или дочери Наде.

С недавнего времени отца Мартирия охватила тревога за свою горячо любимую дочь. А началось все так…

В театре «Олимп» давали концерт самого Федора Шаляпина, и Наденька была счастлива, что ей удалось увидеть и услышать знаменитого на всю Россию певца. Как раз на этом концерте познакомилась она с молодым человеком, который и привел отца Мартирия в сильное замешательство.

Это был сын известного самарского конезаводчика, воспитанник кадетского корпуса в Петербурге. В Самаре он оказался по болезни и попал прямо на тот самый концерт Шаляпина, сел в кресло рядом с Надей. Переглянулись. Молодой человек вежливо поклонился. После монолога и арии «Бориса Годунова» все восторженно хлопали, обменивались репликами; смеялись после «Блохи». Но самое главное произошло, когда по залу покатились, замирая и нарастая, нежные и могучие звуки несравненного голоса, и они услышали:

Клубится волною кипучею Кур,
Восходит дневное светило.
Как весело сердцу, душе как легко!
О, если б навеки так было…

И когда Наденька, потрясенная пением, замерла, замер и он, Сергей, и они переживали одно и то же чувство. Взгляды их встретились, чувство невольно передалось и соединило их. Не нужны были никакие слова, только бы лилась эта песнь, продолжалось это мгновение:

Как ослепляет меня
Чудный блеск очей твоих,
О, если б навеки так было…

И с замиранием, нежно, тихо, но так, что слышно в каждом уголке зала:

О, если б навеки так было…

Сергей предложил проводить ее. И как она могла не согласиться, если он такой прекрасный — высокий, светловолосый, стройный, с таким светлым лицом!

Может, она не осмелилась бы продолжить это знакомство, если бы в тот вечер сердце не было так полно, если бы, прощаясь, он не сказал:

— А знаете, Надя, я как будто ждал этой встречи!

И потом, в письмах из Петербурга, он писал, что так и должно было произойти, он потому и заболел, потому и оказался в Самаре на лечении и попал как раз на тот концерт, чтобы встретиться с ней. И возвращался к песне Рубинштейна, и она будто опять слышала, как поет Шаляпин:

О, если б навеки так было…

«Это судьба!» — написал он.

«Это Господь нас привел друг к другу!» — думала она и молилась, чтобы они поскорее встретились. Сергей закончит учебу, и тогда они всегда будут вместе.

— Да как же это может быть, доченька? — чуть не плакал отец Мартирий, всякий раз вызывая Надю на разговор, когда приносили очередное письмо из Петербурга. — Он военным станет, а сейчас война. Как вы будете вместе?

— А разве я не могу стать медицинской сестрой? Разве сама императрица и великие княжны не были на фронте?

— Господи, о чем ты? — ужасался отец Мартирий. — Разве можно на войне определиться туда, куда хочешь? Да и кто ты ему?

— Господь поможет!

Других слов Надя не находила.

Отец Мартирий горестно вздыхал и так жалостно смотрел на шкатулку, куда складывались Сережины письма, что Надя не выдержала:

— Пожалуйста, читай! — и отдала письма отцу.

Отец Мартирий готов был сквозь землю провалиться, но удержаться не мог — письма Сергея читал быстро, а потом вспоминал отдельные строки, вроде: «Конечно, я смешон в своих сравнениях, и слова не могут передавать мои чувства, но вы, Надя, свет в моей жизни. Знаете, когда откроешь занавеску и распахнешь окно в сад, свет вдруг упадет на пол косо, лучами, видели? И свежесть, и красота такая, и лучи лежат на полу, как живые. Это все вы, Надя».

«Ишь ты, „косо, лучами“! — бормотал себе под нос отец Мартирий, идя из дома на службу или со службы из Иверского храма через сад к своему зеленому, с крыльцом, домику. — А того не понимает, что все это вздор поэтов. Разве она ему ровня? А как узнает про эту блажь Ростислав Евгеньевич?»

Все вышло совсем не так, как предполагал отец Мартирий. Сергей из-за слабых легких опять приезжал лечиться кумысом. А знаменитый конезаводчик сам пришел в дом к священнику.

Повел он себя запросто:

— Ну что же, отец Мартирий, разве мы враги своим детям? Он у меня один. И у вас она одна. Посмотрите — который год встречаются! Так произошло…

Он смотрел на батюшку открыто, не чванился. Отец Мартирий не знал, что ответить. А Ростислав Евгеньевич продолжил:

— Я, знаете, предполагал нечто в этом духе. Он у нас болезненный, романтичный. Так его воспитала мать…

— Ростислав Евгеньевич, — наконец робко сказал отец Мартирий. — А может, это блажь? Молодо-зелено… Сынок ваш опять уедет в Петербург. Ну зачем ему поповская дочка?

Матушка Глафира за дверью слышала этот разговор. Она решительно вошла в комнату:

— Ростислав Евгеньевич, да что вы не присядете? Отец, ты даже нашей наливочки не предложил. Как так?

— А, наливочки! — конезаводчик пришел в себя, улыбнулся. — Слыхал про вашу знаменитую…

Матушка Глафира была проворной, бойкой, она всегда держала дом в исправности и благополучии. Вмиг был накрыт стол, отведаны наливки, закуски. Накрывая на стол, матушка как бы невзначай заметила:

— А вот ваш, как нынче приехал… Гляжу — идет в плаще дорожном, в фуражке. Сторож Игнатий сказал, что на извозчике сынок ваш прямо с вокзала…

— Да, я тоже был удивлен, — Ростислав Евгеньевич любил выпить и хорошо закусить, и угощение матушки Глафиры ему явно понравилось. — Он мне чуть не с порога, знаете ли… Идите, говорит, отец, к родителям Нади. Что ж, раз так, — Ростислав Евгеньевич откинулся на спинку венского стула. — Я, отец Мартирий, хотя человек больше практический, но знаю, что любовь превыше всего. И поскольку любовь взаимная…

— Молодых надо благословить, — закончила фразу матушка Глафира.

Отец Мартирий полез за платком вытирать слезы.

— Ты погоди, матушка. Сразу-то…

— Иначе нельзя, отец мой. Сереже ехать на фронт. А по случаю помолвки разрешат ли дома побыть? Хоть недолго?

Ростислав Евгеньевич согласно кивнул и, хотя матушка Глафира продолжала стоять у дверей, обращался к ней, а не к отцу Мартирию, сидевшему рядом.

Стали обсуждать, когда им лучше венчаться. Вдруг раздались голоса.

Матушка Глафира выглянула в раскрытое окно. Надя и Сергей стояли у крыльца. Она была в белом платье, в шляпке, милая, с сияющими глазами. Он держал ее руку и что-то говорил, улыбаясь. Отвороты белой рубашки были выпущены поверх пиджака.

— Да вы поглядите, какие они, — сказала матушка. — Точно голуби!

Ростислав Евгеньевич и отец Мартирий подошли к окну.

— Что же вы в дом не идете? — сказала с ласковым упреком матушка Глафира.

И по ее улыбке Сергей и Надя поняли, что их судьба решена.

Глава девятая. Надежда — сестра Фотиния (продолжение)

Известие о том, что Сергея убили, Надежда приняла в такой же светлый, солнечный день. Так же было открыто окно в гостиной. Но только за столом сидел не Ростислав Евгеньевич, а поручик Дернов, свидетель гибели Сергея.

Ростислав Евгеньевич с женой были в этот день в Париже и еще не знали, что их сын скошен пулеметной очередью в бою с красными.

Самара опять перешла в руки большевиков. Теперь, кажется, надолго.

Дернов был в штатском, плохо выбрит. На виске дергалась жилка, когда он говорил о бое. Силы оказались неравными, и если бы снарядов побольше, и если бы не бездарность штабистов…

Надя плохо понимала, что говорит незнакомый человек в сером поношенном пиджаке.

Воротник рубашки явно несвежий, на коленке брюк пятно — видимо, Дернов был в чужой одежде, «под пролетария». Ел и пил совсем не так, как Ростислав Евгеньевич — неохотно, мало. И даже наливку не похвалил, хотя по вкусу она была точно такая же, как и до Гражданской войны.

Когда офицер уходил, он отдал ей письмо Сергея. Надя обратила внимание, что Дернов маленького роста. Потому и выжил. А такие высокие, светловолосые, как Сережа, погибают. Он вел батальон в бой и шел впереди всех.

А мог уехать с родителями в Париж. И она могла уехать.

До свидания, поручик Дернов!

Да, не увидимся больше никогда.

Нет Сережи.

Нет Отечества.

А Бог есть? Или навсегда отвернул Свой лик от России?

Оставшись одна, она стала читать письмо:

«Пишу к тебе в последний раз, любимая. На рассвете бой, и ясно, что нас вытеснят. Но мы будем драться до последнего патрона.

Наденька, милая моя! Ты все поймешь! Я не мог уехать в Париж. И сейчас удрать не могу — позади родная Самара, ты, все, что свято.

Да, мы погибаем, но это еще не все. Как верующий человек ты знаешь, что только претерпевший до конца спасется. И души наши послужат России, верь, моя любимая! Россия будет всегда и вовеки, и никому не сломить нашу великую Отчизну. И наша любовь, Наденька, наша вера и наша смерть послужат ей.

Я знаю, что и ты так думаешь, иначе бы уехала за границу.

Наденька, родная моя!

Я много раз думал о той песне Рубинштейна „Клубится волною“, которая сроднила нас. И только недавно я разгадал ее тайну. Там поется о счастье любви, а Шаляпин вкладывает в радостную песню столько боли, муки, даже стона. Почему? Да потому что счастье мимолетно, оно пришло и ушло, и певец это знает.

Как будто он пел про нас с тобой. Но души наши все равно соединятся.

Прощай, родная моя. Спасибо тебе за самые высшие минуты счастья, которые ты подарила мне.

Твой Сергей».

Надежда затеплила лампадку и стала молиться. Еще с детских лет отец наставлял, что ночная молитва — самая высокая.

В красном углу стояли три иконы: в середине — «Троица», по бокам — «Спас Нерукотворный»

и Иверская. Сколько она стояла на коленях перед этими иконами, сколько молила, чтобы Сережу не убили! Ну чтобы хотя бы до свадьбы дожил.

— Сереженька! — выплеснулось из самого сердца.

Крик получился громкий, и отец Мартирий услышал его. Прибежал к дочери, упал на колени рядом с ней и прижал к себе. Долго плакали вместе.

— Папа, почему же Он не услышал меня? Неужели я такая плохая?

— Нет, доченька, ты очень хорошая.

— А за что же Он меня карает? Чем я Его прогневала?

— Ничем, доченька. Сегодня страдают все праведники. А торжествуют бесы.

— Но почему? Почему праведникам обязательно надо страдать? Справедливее было бы наказать неправедных, злых.

— Нет, доченька. Помнишь, как Господь говорил ученикам: *Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть, — но это еще не конец.*

— Да что же может быть еще хуже?

— Наверное, когда закроют храмы и нас вытолкают на улицу.

Как в воду глядел отец Мартирий. Через пять лет, когда Надежда была уже монахиней, сестрой Фотинией, во время литургии в Иверский храм вошла группа военных. Только один, что шел впереди, был в штатской одежде. Уверенными шагами, смотря прямо перед собой, дойдя до Царских врат, он жестом указал, чтобы бойцы с ружьями остановились.

Шла Евхаристическая молитва, наступал самый торжественный ее момент. Отец Мартирий возглашал:

— Приимите, ядите, Сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов.

— Аминь! — пропел хор.

— Пийте от нея вси, Сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов, — возгласил отец Мартирий, и хор опять отозвался:

— Аминь!

Именно в этот момент литургии и происходит освящение Святых Даров.

— Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся, — протяжно провозгласил отец Мартирий.

— Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, — запел хор.

Еще не успели стихнуть эти слова, как тот, в кепке с большим козырьком, в пиджаке и рубашке с галстуком, вошел в алтарь и резким движением руки скинул с престола Святые Дары. Потир и дискос упали на пол и покатились, звеня.

Кровь Христова брызнула на мраморный пол.

Человек в кепке таким же сильным движением вытолкнул отца Мартирия из алтаря, вышел следом.

— Постановлением губисполкома монастырь как рассадник мракобесия и контрреволюционной заразы закрывается, — выкрикнул человек фальцетом. — Здесь мы создадим другой храм — храм просвещения и науки. Слышите, товарищи? Сознательные борцы за советскую власть получат жилье в монастырских домах и будут жить свободно и счастливо! А монахинь, как тунеядствующий элемент и приспешников буржуазии, мы из этих помещений, построенных народом, изгоняем!

Отец Мартирий с неподдельным ужасом смотрел на оратора:

— И при Нероне так не поступали…

— Что? Что ты сказал? — голос человека перешел на визг.

Очнувшись от шока, загудели, зашумели люди:

— Да как это?

— Да что же это такое?

— Люди, это беззаконие!

Человек в кепке метнул взгляд в ту сторону, откуда раздался последний возглас.

— Вот! — он поднял бумажку над головой и потряс ею. — Постановление подписано три дня назад! Ваш поп предупрежден! И больше мы не позволим вести гнусную агитацию под названием литургия! Бойцы, вывести его отсюда!

Вооруженные люди подхватили отца Мартирия под мышки. Он попробовал вырваться, и тогда человек в кепке ухватил священника за бороду и потащил к выходу из храма.

Спасать отца Мартирия первой кинулась матушка Глафира.

— Отпусти его, окаянный! — и она стукнула обидчика в грудь.

В ответ получила удар прикладом по голове.

Это произошло у выхода из храма. Матушка упала, народ охнул. Подбежала сестра Фотиния, подняла мать с паперти, вытирая ей кровь и поправляя платок. Быстро подошел человек в кепке:

— Ключи!

— Не дам, — внятно сказала матушка Глафира, опираясь на руки дочери.

— Буду стрелять! — и человек выхватил револьвер из-под пиджака.

Ни слова не говоря, Фотиния закрыла собой мать.

— Предупреждаю! — и человек выстрелил в воздух. — Оказавшие сопротивление подлежат аресту!

Бойцы ощетинили штыки, оттесняя народ.

Громко, надрывно заплакал чей-то ребенок.

* * *

Новая власть не ограничилась закрытием монастыря. Когда пришло время усилить борьбу с религией — «опиумом для народа», как заметил еще Карл Маркс, когда была поставлена задача окончательного уничтожения православной веры, чекисты разработали хитроумный план ликвидации монахинь Иверского монастыря.

Чекисты решили дать объявление в газете «Волжская коммуна», что Иверский монастырь вновь открывается. Была твердая уверенность, что монахини, изгнанные из обители и продолжающие вести свою «контрреволюционную агитацию» в домах мирных граждан, сами стекутся к монастырю. Тогда взять их не составит никакого труда.

План был принят и одобрен. Ну а чтобы долго не возиться с монахинями потом, решили посадить их всех на старую баржу и вывезти на Волгу, за какой-нибудь пустынный остров, — пусть отправляются к своему Богу прямо в рай!

После объявления в газете к монастырю пришли все оставшиеся в живых монахини Иверской обители. В их числе были сестры Евфросиния (Любовь), Марфа (Вера), Епистимия (Татьяна), Прасковья и Варвара, Фотиния (Надежда). Самую старую монахиню, Феодору (Александру), принесли на носилках.

Монахиня Анна, которая добралась до монастыря из деревни на следующий день после ареста сестер, была силой отправлена домой сторожем монастыря, поэтому осталась в живых.

* * *

Дождь и ветер прекратились, и в наступившей тишине стало слышно, как в щели затекает вода. Баржу развернуло так, что бревно из-под днища выплыло, течение понесло его вниз по реке. Накренившись еще больше, оседая кормой, баржа стала погружаться в воду. Сестры поняли, что наступила минута прощания, и запели дружно, подхватив голос сестры Евфросинии: «Под кров Твой, Владычице, вси земнороднии прибегающе, вопием Ти: Богородице, упование наше, избави ны от безмерных прегрешений и спаси души наша».

В это время на острове в шалаше проснулся мальчик. Отец взял его на рыбалку, да не удалась она из- за бури и дождя. Хорошо, что шалаш сделан отцом надежно, в своде береговой пещеры. Есть где спрятаться от непогоды. Протерев глаза, мальчик вышел к реке, увидел ясное небо и улыбнулся. Утро было свежее, чистое, радостное. И тут ему показалось, что он слышит пение. Еще и ночью, когда буря стихла, как будто кто-то пел. А сейчас, в утренней тишине, пение слышалось так отчетливо.

Мальчик пошел вперед и увидел посреди реки старую накренившуюся на один борт баржу. Там кто- то находился — пение неслось как раз оттуда.

Мальчик разбудил отца и вывел его на то место, откуда была видна баржа. Оттуда раздавались слова молитвы: «Услыши мя, Господи, изведи из темницы душу мою».

— Кто это?

Мужчина лет сорока, заспанный, небритый, не мог сразу понять, что происходит. Когда до

него наконец дошло, он начал испуганно озираться.

— Гляди, они сейчас утонут!

Нос баржи резко задрался вверх, и она стала скрываться в воде. Пение стихло, вода забурлила и потекла, как прежде, будто на ее поверхности не было никакой баржи. Мужчина начал быстро собирать вещи, снасти, укладывая их в лодку.

— Скорее, сынок!

— Да куда? Сейчас самый клев начнется!

— Скорее, я говорю! И запомни: ты ничего не видел и не слышал. Ничего!

— Да почему?

— Потом объясню. Бежим отсюда!

Только он хотел сесть за весла, как издалека послышался треск мотора. Мужчина выпрыгнул на берег, затащил лодку за куст, забросав ее сырыми ветками.

— Прячься! — он втолкнул сына в шалаш, поправил ветки так, чтобы шалаш не увидели с реки. Затаился, глядя через ивовые листья на оконечность острова, откуда доносились звуки мотора.

Видя, как напуган отец, затаился и мальчик.

Буксирный катер резво шел вниз по реке. На носу катера, засунув руки в карманы длинного плаща, стоял человек в очках, с курчавыми волосами до плеч. Рядом стоял другой, белесый, с широким угрюмым лицом.

— Здесь вот! — он показал рукой на то место, где недавно стояла баржа. — Видите, все в порядке.

— Да, место вроде бы подходящее, — сказал человек в очках, озираясь. — А на острове рыбаков не бывает?

— Какие рыбаки в грозу-то?

— Пожалуй! — и он дал знак рулевому.

Катер развернулся, направляясь к Самаре. Стоило ему скрыться за поворотом реки, как из того места, где ушла на дно старая баржа, ударил в небо столп света. Он был таким ярким и сильным, что все пространство над рекой зацвело.

Семицветный столп дугой выгнулся по небосводу, опустившись за краем поросших деревьями и кустарником гор, — как раз там, где был створ Жигулевских ворот.

Мальчик, выйдя из укрытия, смотрел в небо, замерев от счастья. Не слыша окриков отца, он побежал к краю острова, чтобы лучше рассмотреть эти семь дивных цветов неба, которые горели так ярко и нежно. Они плавно, мягко переходили один в другой, становясь нераздельным целым.

И, облитый этим светом, вскинув голову, мальчик видел, как в небесные врата улетели легкие, насквозь пронизанные солнцем белые птицы.

Борис и Глеб

Сказание и страсть

I

Владимир вошел в княжескую палату тяжело и неспешно. Его лицо, измученное бессонницей, как будто припорошил снег. Легкий шелковый скарамангий (*длинное парадное одеяние*), изумрудно-зеленый, выделанный по оплечью и подолу бисером и золотыми нитями, словно мешал ему, потому что, садясь, он одернул это греческое одеяние с плохо скрываемым раздражением.

— Недобрые вести, великий князь, — сказал, подавшись вперед, воевода по имени Блуд.

Темное одеяние его было перехвачено широким поясом, а на поясе висел длинный, до пола, меч. Левая рука Блуда как бы приросла к рукояти меча, и сколько помнил Владимир, страшная эта рука расставалась с рукоятью лишь на пирах, когда Блуд впивался зубами в жареное мясо или прижимал к себе женщин.

Блуд еще подался вперед и сказал:

— Печенеги!

Владимир чуть было не застонал, но сумел сдержаться и только криво усмехнулся:

— Велики числом? Далеко продвинулись?

— Доносят, что реку Трубеж перешли, а грабят и жгут более, чем прежде, — быстро заговорил Тимофей, старейшина градский. — Будто множество собралось поганых и стали, как звери, — и стукнул тростью о каменный пол.

Владимир невольно посмотрел на то место, куда стукнул Тимофей, и вспомнил, как радовался, когда впервые вошел в эту палату, где закончили работу мастера. Пол белый, стены изукрашены росписью, в окнах цветные стекла из Корсуни — весь терем княжеский был не хуже, чем дворцы греков. И все тогда радовало глаз и веселило сердце.

Отчего же теперь томится душа? Отчего даже вражье нападение не обжигает кровь, не сжимает пальцы в кулак, как это всегда было раньше?

«Это хворь во мне», — подумал Владимир.

— Не впервой нам печенегов бить, — сказал он, стараясь придать словам привычную силу. — И на этот раз побьем, коли не будем мешкать.

— Нынче и ополчимся, ты только прикажи! — сразу же откликнулся Блуд, в последнее время боявшийся, как бы Владимир не заменил его кем-либо из тех, кто помоложе.

Вот они, рядом стоят, в затылок дышат — Ян по прозвищу Кожемяка, Александр, за храбрость отмеченный золотой гривной, варяг Рагнар. У каждого из них рука такая же страшная, как у Блуда. А может, еще страшней.

— Веди нас, князь, — твердым голосом сказал Кожемяка, прославивший себя как раз на реке Трубеж, в схватке с печенежским богатырем.

Владимир хотел встать и призвать к походу, но что-то стиснуло грудь, и на щеки его как будто упал пепел.

Борис, сын Владимира, быстро шагнул к отцу и протянул руку. Владимир схватил ее. Рядом стоял митрополит Иоанн. У него, как и у Бориса, в глазах вспыхнул неподдельный страх.

Борис чувствовал, что отец держит его руку цепко, сдавливая ее все сильнее. Пепел на щеках постепенно исчезал. Владимир встал, и глаза его сузились.

— Ты, Борис, поведешь дружину, — сказал он, как бы выталкивая из себя слова. — А ты, Блуд, будешь рядом, и меч твой будет Борису защитой. И вы, други мои, не посрамите князя своего и землю Русскую!

— С нами Спаситель, — митрополит перекрестил Бориса, а сам не сводил глаз с Владимира и видел капли пота на лбу князя, которые выступили из-под парчовой шапки с бобровой опушкой.

— И мы ополчимся, — сказал Тимофей. — Хочешь — тысячу воинов выставим, хочешь — две.

— Пусть две дружины градские будут, — сказал Владимир. — Одну под свое крыло возьмешь ты, Кожемяка, вторую — ты, Александр. А когда час сечи придет, ты, Рагнар, своих варягов поставишь.

Рагнар, гордившийся тем, что Владимир всегда ставил варягов на самом главном месте битвы, улыбнулся, довольный.

— Варяги тебе приносили победу, — сказал он, — и теперь принесут.

Его светлые волосы опускались на плечи, безбородое лицо было покрыто легким загаром, глаза голубые, будто промытые холодной северной водой. Ни за что не поверишь, что этот статный, узкий в талии и не столь широкий в плечах воин может ударом меча разрубить врага до седла. Но Владимир своими глазами видел, как Рагнар делает это — и не только в начале битвы.

— Перед походом помолимся! — сказал митрополит.

Владимир кивнул и первым пошел вперед.

— Отец, — хотел остановить его Борис, но Владимир поднял руку и направился к двери, которая вела на галерею терема.

Оттуда спускалась лестница на княжий двор, и по ней Владимир шел, уже не опираясь на руку Бориса, а твердо, и щурился, глядя на яркое летнее солнце.

От княжеского терема к храму они прошли через площадь, где раньше было требище (*древний славяно-русский жертвенный алтарь языческих обрядов в виде возвышенности, постамента или камня*) и стояли идолища, и главный среди них — Перун с серебряной головой и золотыми усами. Теперь стоят мраморные колонны и на них греческие статуи, и четверка медных коней, которой правит воин, чем-то похожий на Рагнара. Солнце золотит его сильное тело, вспыхивает на крупах коней, и они, как живые, летят вперед.

Все эти статуи Владимир привез в Киев из Корсуни, привез и мастеров, которые вместе с русскими сложили белый храм — вот он стоит, прекрасный и высокий.

Биричи (*глашатаи*) уже скакали по Киеву, и их зычные голоса раздавались и на Горе, и на окраинах города, где жил ремесленный люд. В это время Владимир опускался в храме на колени, а церковный служка подкладывал под них бархатную подушечку.

Службу начал митрополит, и его густой голос то нежно обволакивал душу, то мучил ее, взлетая под самый купол. Слова, которые раньше не понимал Владимир, теперь были понятны все, но не успокаивали, а томили сердце.

Рядом стоял Борис, и его тонкий нежный профиль Владимир видел боковым зрением. Видел волнистые волосы, усы и бородку с золотистым отливом, прямой нос и мягкий очерк губ — как у матери.

«Господи, спаси и защити его, — молился Владимир, — кто, как не он, должен быть угоден Тебе? Господи, ты знаешь, я многогрешен, но если что-то сделал по слову и завету Твоему, то воздай мне — защити Бориса. Забираешь меня из мира этого — я не ропщу, значит, пришел мой час. Но вот не будет меня, и станут терзать Бориса и на сече злой, и в доме моем, ибо будут искать стола моего. Укрепи его, дай ему силу. Посмотри, как он хорош и лицом, и душою. Дай ему силы устоять против печенегов, торков, варягов, поляков, греков. Ведь как узнают они, что меня нет, сразу станут испытывать, силен ли русский князь. Дай ему силы устоять и против братьев, ибо они страшны не меньше. Не допусти, чтобы они подняли мечи друг на друга!»

Владимир повернулся к сыну и увидел его темные глаза.

«Что?» — прошептали губы Бориса, и Владимир опять нашел ладонь сына и крепко сжал ее.

Рядом, в боковом приделе, под мраморной плитой покоилась Анна, и всякий раз, приходя в храм, Владимир думал о ней.

Сначала он искал ее руки как греческой царевны, но кесари Василий и Константин отвергли притязания варвара. Тогда он сокрушил Корсунь — Херсонес, как называли этот город греки. Теперь Владимир не просил, а требовал, чтобы кесари отдали ему Анну. Взамен он обещал принять веру греческую, вернуть Корсунь и защитить Царьград от всех, кто посмеет напасть с востока.

И Багрянородные прислали свою сестру Анну, неземное создание, Порфирогениту — рожденную в Порфире, в том самом дворцовом зале, где появляются на свет не люди, а цари и царицы, наперсники Божьи. Так объясняли патрикии (*один из титулов служилой знати*), прибывшие с Анной, от которых шел запах цветов; так объяснял старший среди епископов, в белом, до пят, одеянии с черными крестами. От него пахло чем-то пряным, как и от его слов, а от Владимира пахло вином и победой. Он кивал, слушая епископа, а сам посматривал на Анну, одетую в шелка и бархат, на ее лицо — бледное, с пятнами румянца, с горящими черными глазами, в которых гордость была перемешана с любопытством и страхом. И радость будущей жизни с этой царевной волновала его и жгла.

Но уже тогда, в Корсуни, еще не остынув от опьянения победой, в сердце поселилось чувство, почти незнакомое ему. Женщин он знал без счета, женился пять раз, и что такое жизнь с новой женой, ему было хорошо известно. Женился он по-разному: и ослепленный желанием, переламывая яростное сопротивление, были и такие, кто шел за него с радостью, приходилось жениться и по необходимости. Но все они — и гречанка Мария, и княжна варяжская Олова, и полоцкая княжна Рогнеда, и богемская Мальфрида, и чешская Адиль, — все они не вызывали в нем тех чувств, которые вызвала еще в Корсуни Анна.

Он стоял перед ней, победоносный, хмельной, а сам был смущен, как отрок, которому предстоит первая брачная ночь. Наверное, это новая жизнь в новой вере смущала его сердце. Ему не жалко было отдать сотни наложниц и в Берестове, и в Вышгороде, отказаться от них навсегда; не жалко отдать женам с их детьми города — пусть живут там, он никогда не станет тревожить их. Но как жить только с одной женой по закону новой веры? А если Анна не полюбит его? Или он сам станет равнодушен к ней? Разве этого не бывало, когда проходил угар первых ночей?

Она стояла, тоненькая, как деревце, царственная и робкая, и он понимал, что перед ним стоит его судьба.

Анна, Анна, ты подарила то, чего не смогла ни одна женщина — ты подарила любовь столь же чистую, как светлое небо в первый весенний день!

Молебен закончился, и Владимир направился к выходу из храма. Он шел со свитой к терему по- прежнему неторопливо и торжественно, и знатные киевляне, завидев его, кланялись, а простой люд валился на колени.

Только в своей опочивальне он расслабился, лег, приказав позвать Анастаса, иерея Десятинной церкви. Анастас умеет выгонять хворь. Каждый вечер он натирает тело князя снадобьем, дает питье, и Владимиру дышится легче.

Анастас сухощав, быстр на ногу, длинная ряса не мешает его легкому, как бы скользящему шагу. В черных, чуть навыкате, глазах видна самоуверенность человека, познавшего тайну. Волосы у него длинные, но сильно поредели, борода курчавится, как и прежде, но в ней обильна седина. Уже 27 лет прошло с той поры, когда Владимир привез из Корсуни этого многоопытного и многоречивого грека.

Анастас тонкими сильными пальцами втирал снадобье в грудь Владимира, и князь испытывал боль, но знал, что надо терпеть. Он отдышался, а когда выпил приготовленный Анастасом настой, боль отступила.

— Чем опять недоволен? — спросил Владимир, видя, что Анастас хмурится, изламывая бровь.

— Бог разум чтит, тебе ли этого не знать, — сердито сказал Анастас. — Зачем приказал градским людишкам на рать идти? Или Борису твоей дружины мало? А как завтра к Киеву иной враг подойдет? Хоть бы Святополк?

— Вон ты что… Сам его вразумлял, а не веришь, что научил чтить отца.

— Не верю.

— И что в порубе (*деревянный сруб, использовавшийся в Древней Руси в качестве места заточения*) Святополк сидел, тоже не помогло?

— Не помогло.

— Ах, Анастас, тяжело с тобой говорить — всегда ты прав. А все же, хоть и рожден в грехе, не поднимет он руку на меня.

Анастас сдерживал раздражение, тер ладонями колени, и ряса его колыхалась. Поверх рясы висел золоченый крест, и когда Анастас поворачивался к оконцу, солнечный луч вспыхивал на нем.

— А все же ты многого не знаешь. Рассказать? — Владимир и сам удивлялся, почему откровенничал с Анастасом.

Никому, даже митрополиту, не рассказывал он о тяжких подробностях жизни своей, а вот перед Анастасом обнажался. Почему? Неужто потому, что и Анастас совершал подлые поступки? Ведь это он указал место, где можно было перекрыть трубы, дающие воду неприступной Корсуни. Владимир приказал копать, трубы на самом деле оказались в том месте, какое указал Анастас, воду перекрыли, и вскоре Корсунь пала.

— Ты не знаешь, — продолжал Владимир, — что Мария, жена брата моего Ярополка, была непраздна, когда я ее взял. Ты не знаешь, как она кусалась, как била меня, даже хотела задушить. Но это меня не остановило. — Владимир смотрел Анастасу прямо в глаза, но тот не отводил взгляда. — Она была монахиней, когда ее взял в плен мой отец Святослав. Отдал ее Ярополку, а мне стало обидно — почему все ему? Кто такая монахиня, я, конечно, не знал, видел только красоту ее. Я считал, что если одолел брата, то все его — мое по праву. Ум мой не мог взять в толк, что когда-то я буду мучиться, вспоминая это…

— Не казни себя. Ваша вера разрешала иметь сколько угодно жен. Да и куда ей было деваться, как не стать твоей? Одного варвара сменил другой… сам подумай, какая в том была для нее разница? Оставалось только молитвой утешаться…

— Ты думаешь, она не могла полюбить Ярополка? По-твоему, гречанка не могла полюбить русского варвара? Выходит, и Анна не любила меня?

— Я этого не говорил.

— Ты никогда ничего прямо не говоришь, — Владимир откинул голову, закрыв глаза. — Иди! — устало сказал он. — Тебе подумать надобно, с кем после меня остаться.

— Если Господь призовет тебя, мне назначено всегда с Борисом быть, — сказал Анастас.

— Ты с тем будешь, на чьей стороне сила. Иначе зачем своих предал, ко мне переметнулся под Корсунью?

Анастас спокойно проглотил обидные слова.

— Ради союза твоего с кесарями Василием и Константином, Богу угодного, готов бы и смерть принять, а не токмо к тебе переметнуться!

— И корысти у тебя не было никакой, и шкуру ты свою не спасал. Легко тебе живется, Анастас. Ступай!

— Не гневайся, князь, — сказал Анастас как можно мягче. — Я ли почти за тридцать-то лет не доказал, что предан тебе душой и телом? Я ли не послужил святой вере и Руси?

— Оставь, Анастас. Не о том хотел сказать. Не видишь разве, что со мной?

— Вижу. Боль тебе ум застилает. При Святополке латинский епископ Рейнберн. Он не глупее нас с тобой, — продолжал гнуть свое Анастас. — Как узнает он, что город защитить некому, заставит Святополка идти на тебя.

— Я же тебе сказал… Ох, душно тут. Поеду завтра в Берестов. Там дух другой. Поедем со мной, а то и поговорить не с кем. Но и ты понять меня не хочешь. Ну вот что Святополку надо? Будто

не я дочь короля польского ему в жены добыл, будто не дал в удел Туров. Жене его веру латинскую разрешил. Все мало!

— Не надо за Бориса бояться, он не дите малое, а воин. Ты болен и слаб, а остаешься с открытыми воротами.

— Ты сам боишься, — сказал Владимир. — Не дал Бог тебе мужества. Токмо зря тревожишься — скоро вернется Борис, побьют они печенегов.

Анастас опустил голову, чтобы Владимир не заметил раздражения в его глазах.

— Или ты что-то от меня таишь? — спросил Владимир и приподнялся на ложе.

— Не об одном Святополке думаю. Ты забыл, что по сей день нет дани от Ярослава.

Владимир вздрогнул — Анастас потревожил вторую кровавую рану.

— Ничего я не забыл, — сказал он, морщась от вновь подступившей боли. — Пойду и напомню, кто его отец, дай только выздороветь.

— А если сам он придет сюда?

— Опомнись, Анастас, он сын мне! И веры мы одной. Как посмеет поднять руку на отца?

— Так ведь отказался от дани.

— И что? Договаривай! — в глазах Владимира появился холодный блеск, так хорошо знакомый Анастасу.

— А то, что он помнит, как ты Рогнеду, мать его, выгнал от себя.

— Выгнал, но куда? Двенадцать было у меня сыновей, а кому из них Новгород отдал? Рогнеде и сыновьям ее. Владейте славным градом, живите в радости. Нет, так и умерла в ненависти. А Ярослав того не понимает, что не мне его гривны и куны нужны, а дружине моей, Киеву. Ступай, скажи отрокам, чтобы собирались завтра в Берестов. Дружину проводим и сами поедем. А теперь постараюсь уснуть.

Анастас встал, поклонился Владимиру и вышел из опочивальни.

«Вот она, старость», — думал он, шагая знакомыми переходами и горницами княжьего терема. Отроки, стоявшие на страже княжеского покоя, пропускали Анастаса, узнавая его. Он передал приказание князя ехать завтра в Берестов.

«Что Киев, что Берестов — какая разница! Не убежишь от самого себя».

Еще подумал Анастас, что ждет его самого, когда подступят болезни. Ни жены, ни детей, ни близких. Кто же облегчит его страдания? Только Бог. Кто может лучше утешить?! Ибо дети терзали бы сердце, как Владимиру. Князь надеется на Бориса, жалует и младшего Глеба. А почему? Потому что они молоды и рождены в освященном Церковью браке? Но разве в их сердцах нет греха? Чем они лучше других?

Анастас горько усмехнулся и своим скользящим шагом вышел за ворота терема великого князя.

2

Напрасно Владимир надеялся, что заснет. Невольно вспоминались предостережения Анастаса.

Он лежал на спине, раскинув руки, и минувшее проходило перед ним. Вот увиделся терем, который стоял на месте этого, — деревянный, с высоким крыльцом на столбах. Дверь распахнулась, ворвался Блуд — в кольчуге, в заляпанных грязью сапогах, с потным лицом, со слипшимися на лбу волосами. На поясе его висел длинный меч, а левая рука как бы приросла к рукояти.

— Едет! — крикнул Блуд и смахнул пот со лба. — Теперь твое время, князь.

Дружинники, стоявшие около Владимира, переглянулись — кто с недоумением, кто с восхищением. Воевода Добрыня, дядя Владимира, не веря своим ушам, переспросил:

— Едет?

— С ним отроки. Мне приказал вперед скакать. Добрыня никак не мог взять в толк, как можно было уговорить Ярополка ехать на свою же казнь!

Значит, он верит Блуду, воеводе своему, значит, этого Блуда надо бояться как огня.

— В Родне ни еды, ни питья не осталось. Куда ж ему деваться? — весело сказал сотский по прозвищу Крыж.

— Погоди, — Владимир встал и подошел к Блуду. — Что ты ему сказал? Как уговорил?

— Как мы с тобой договорились, — твердо ответил Блуд, и в узких его глазах вспыхнула искра. — Сказал: «Иди к брату Владимиру, возьми, что он тебе даст. Или умрешь с голоду в Родне. А в поле выйдешь — побьет он тебя. С ним новгородская дружина и варяги, да еще кривичи и чудь».

Братья Торд и Бьерк, их соплеменники, нанятые Владимиром за морем, поняли, что предстоит работа. На их лицах была написана решимость убить кого угодно, если в награду им будет дана богатая добыча.

— Ты был Ярополку воеводой, а мне будешь вторым отцом, — сказал Владимир. — Всегда буду держать тебя по правую руку, рядом с моими богатырями. — Владимир сам налил в ендовы (*низкие большие сосуды для вина*) лучшее вино, купленное у греков.

— Так какой город ему дадим, а, Блуд? — спросил Крыж, вытирая мягкую русую бородку.

— Тот, что на дне Днепра стоит. Где мои друзья упыри живут, — ответил Блуд.

Крыж захохотал, усмехнулись и варяги, а Владимир понял, что Ярополка деть никуда нельзя — не то что отдать ему город, но даже нельзя послать в какое-нибудь сельцо. Везде он будет опасен, потому как всегда найдется вот такой Блуд, который предаст и пойдет на что угодно, лишь бы возвыситься при новом князе. А ведь Ярополку стол Киевский принадлежит по праву старшинства, и ничего против этого нельзя сделать, ничего!

Только убить его.

Но почему? Не боится же Ярополк, скачет сюда, верит, что брат не убьет брата.

Верит? Или ищет спасения?

«Если дам Ярополку в удел ну хоть Ростов, что скажут они?»

Владимир оглядел своих дружинников. С ними он уже взял Новгород, Полоцк, Киев. И другие города возьмет — все дружинники молоды, все хотят добычи, злата, вина, женщин. Если не насытить их, не натешить их кровь, они пойдут искать другого князя.

— Отроки Ярополковы на дворе останутся, ты прикажи их там встретить, — сказал Блуд. — Ярополка сюда приведи, тут чашу свою он и выпьет.

В ту же минуту услышали они топот копыт.

— Крыж, — сказал Владимир и показал глазами на дверь.

Тот кивнул и быстро вышел из княжьей палаты. Следом за ним вышел и Блуд.

— Как Ярополк войдет, Торд и Бьерк станут у двери, — сказал Владимир. — Ты, Добрыня, спросишь: «Пошто убил брата?»

Они замолчали, прислушиваясь к шагам.

Дверь открылась, они увидели Ярополка, а за ним Блуда.

Ярополк робко улыбнулся Владимиру и сделал шаг навстречу, протянув руки вперед:

— Брат…

Владимир не шелохнулся. Лицо его было бледным, и Ярополк, ища поддержки, оглянулся на Блуда. Но тот резко захлопнул дверь, оставшись в сенях.

Ярополк все понял.

Был он высок, тонок, опашень на нем шелковый, желтый, корзно (*мантия князей и знати Киевской Руси*) тоже шелковое, красное, а сапожки темно-зеленые, сафьяновые. Ничего не было в нем от отца Святослава — ни силы, ни удали, ни жажды прославить Русь, укрепив ее мечом своим. В облике Ярополка проступал аристократизм, который особенно ненавидел в детстве Владимир. Потому что ему говорили, показывая на Ярополка: «Это княжич. Видишь, какой он тонкий? А у тебя кость широкая, потому что ты сын рабыни».

С детства его стыдили матерью — ключницей Малушей. И Святослав, видя, что Владимир мучается, отправил его в Новгород вместе с дядькой Добрыней, братом Малуши.

— Брат, — повторил Ярополк, — я к тебе с миром пришел. Признаю тебя своим повелителем и прошу милости твоей. Что дашь мне, тем и доволен буду.

Владимир продолжал молчать, разглядывая Ярополка, вспоминая детство и свои унижения. Но странно — не было в его сердце ни зла, ни обиды на этого человека, по виду почти юноши.

— Ты пошто брата Олега убил? — мрачно спросил Добрыня.

— Не убивал, видит Бог — не убивал! Это воевода Свенельд, он Олегу мстил за сына своего Люта. Я тогда совсем малым был. Да ты вспомни, брат! Тогда еще весть принесли, что убит наш отец Святослав.

Все так и было. Воевода сводил счеты, а убиенным оказался княжич.

— Меня заставили на Олега пойти, поверь мне, брат, — Ярополк говорил твердо, лицо у него было ясным, вот только в глазах поселился страх.

— Как же, поверили! — язвительно сказал Добрыня. — И против брата Владимира ты не хотел идти. Пошто тогда в Новгороде своего посадника оставил?

— Так ведь ты, Владимир, сам из Новгорода за море ушел.

— А не ушел бы, так ты его, как брата Олега, убил бы! — наседал Добрыня, ярясь по-стариковски. — И не зажми мы тебя в Родне, не прискакал бы ты сюда пощады просить. Да только ее не будет.

Лязг мечей и крики донеслись с княжеского двора — там погибали, отбиваясь, отроки Ярополковы.

Владимиру надо было сделать шаг вперед и протянуть руку, но он сидел, не двигаясь.

Ярополк рванулся к двери и налетел на острия мечей Торда и Бьерка. Варяги надавили на рукояти, и лезвия прошили Ярополка насквозь.

Почти одновременно Торд и Бьерк рванули мечи на себя. Ярополк закачался, повернувшись к Владимиру, прохрипел:

— Брат…

Шелковый опашень стал темнеть от крови, ноги Ярополка подкосились, и он осел на пол.

Что-то дернулось в груди Владимира, как будто и его пронзили мечом.

Ярополк упал на спину, и кровавая лужа расползлась под ним.

— Теперь нет у тебя соперников, ты великий князь на Руси! — крикнул Добрыня…

Владимир присел на ложе, схватившись за грудь. Свеча догорала, воск тек по подсвечнику, застывая. Владимир видел Ярополка, смертельную бледность его лица, намокший от крови шелковый опашень. Как будто только что Торд и Бьерк вырвали из тела Ярополка мечи…

«Господи, какой он был тонкий и слабый, — думал Владимир. — Как мог у великого воина Святослава родиться такой сын?»

— Андрей! — позвал он отрока, и дверь тут же отворилась. — Пить хочу. Да похолодней неси, горит у меня грудь. Стой! Позови князя Бориса.

Не выдержал. А ведь не хотел тревожить Бориса. Но мало ли что может случиться, пока Борис в походе! Анастас вон чего наговорил…

Так успокаивал себя Владимир, и вот дверь отворилась, и в опочивальню отца зашел Борис.

Он был в белой полотняной рубахе и штанах. Лицо спокойное, чуть заспанное — поди, уже спал. Волосы вьются — густые, шелковые, сами ложатся волнами. Если бы видела Анна, какой у нее вырос сын…

— Не могу уснуть, Борис, — повинился Владимир. — Все мне кажется, чего-то недосказал тебе… Да, вот: большой ли обоз берете?

— Блуд говорит, что теперь в любом селении все дадут, что имеют, — знают, что на печенегов идем.

— Верно. Дело наше праведное. Но смотри — Блуд воин умелый, а все же недаром так прозван — Блуд.

Борис улыбнулся, губы его раздвинулись, и стали видны белые ровные зубы.

— Его так прозвали, когда он к тебе прибежал?

— Еще прежде. Власти ему над собой не давай. Я дядьку Добрыню до поры до времени слушал. А коли не показал бы свою силу, так бы в отроках у него и ходил. Однако и совет не забывай держать: всех умей выслушать, а решение принимай свое.

— Ты со мной, как с дитем малым… Разве первый раз на рать иду?

— В первый, в десятый — какая разница? Опять судьбу надо испытывать… Святополк может смуту затеять, Ярослав дань не платит. Неведомо, что Святослав думает. Мстислав на юге с касогами (*народ черкесского племени, упоминаемый в русских летописях с древнейших времен, до нашествия татар*) воюет. А как добьет их, куда коня направит? Об одном Глебе знаю, что будет он любить тебя до гроба. А другие? Господи, как вы без меня жить будете? Неужто опять брат пойдет на брата? Помни: ты на стол Киевский сядешь, потому как разумнее братьев своих. И дружина тебя любит.

Не в первый раз Владимир говорил так, и Борис обязан был соглашаться с отцом, хотя оба хорошо помнили, что по старшинству Святополк должен стать великим князем после Владимира.

Борис знал, что оспаривать решение отца нельзя, и в глубине его глаз лежала глубокая печаль.

— Вера у тебя сызмальства, и ничто ее не сокрушит, — продолжал Владимир, зная, что Борис ведет с ним безмолвный спор. — А Святополк? Да если бы его тесть в Польшу позвал, он тут же в латинскую веру переметнулся. Что, не так? Ах, Борис, напрасно ты со мной споришь. Вот я идолищам поклонялся, а разве в них верил? Я ведь столько грехов содеял, пока веру христианскую не принял…

— Ты Русь крестил, поэтому смыл с себя все грехи, до единого!

— Правда? Это правда? — Владимир схватил сына за плечи и приблизился к нему, чтобы лучше видеть его глаза.

— Правда, отец. То, что убивал и прелюбодействовал, это от темноты твоей души было. И не терзай себя, а молись, повторяй, как сказано в псалме Давидовом: «Помилуй меня, Господи, ибо немощен я, исцели меня, Господи, ибо сотряслись кости мои, и душа моя смутилась сильно… Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Ибо нет среди мертвых того, кто помнит Тебя, а во аде кто прославит Тебя?»

Владимир разглядел печаль в глазах Бориса и силился понять, о чем думает сын. Он видел лицо с чуть запавшими щеками, широким лбом, на который упала темная курчавая прядь, и этот знакомый до каждой черточки облик таил в себе что-то новое, как будто бы ясное и

понятное, но все же необъяснимое. И то, что понятное нельзя было объяснить, тревожило душу.

— Знаю, что Бог милостив, а почему душа рвется на куски? Я вот сейчас такое видел, что даже сказать-то страшно! Брат мой единокровный, Яро- полк, на Глеба похож, сынка моего младшенького… А я его, Ярополка-то, зарезал!

— Не ты резал, а слуги твои. А теперь скажи словами Псалмопевца: «Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего».

— И ты все знаешь про меня! И оправдываешь. Да только не помогает мне это. Понял?

— Не гневайся, отец. Молитва укрепит…

— С чем я из мира ухожу? Вот послушай: был я молодой, сильный, душою разбойник, и этим еще гордился. Перуну тогда поклонялся, стоял он на требище. Узнал, что один варяг из дружины моей, Феодор, поклоняться Перуну не хочет. Вера у него христианская, потому как пришел он ко мне из греков, где эту веру принял. Жребий пал на сына Феодора. Надо его было в жертву Перуну отдать — связать следовало прекрасного юношу, положить в костер и сжечь. Вот какая у нас вера была! А Феодор говорит: «Не отдам сына, потому что боги ваши не боги, а дерево — нынче есть, а завтра сгниет. Они сделаны руками человеческими! А Бог один, Которому служат греки и поклоняются, Который сотворил небо и землю, звезды и луну, солнце и человека, дал ему жить на земле. А эти боги что сделали? Не отдам сына моего бесам!» Народ, услышав такое, разъярился, пришел к дому Феодора, сломал забор, позвал его к ответу. Тот вышел и смело повторил свои слова, которые сказал жрецам. Тогда толпа в ярости убила и отца, и сына. А потом задумались, и я в том числе: почему он так смело отвечал, не боялся? Что за вера такая, что за Бог Такой, Который знает все не только на земле, но и на небе? Что за сила в Нем, ежели ради Него и жизни не жалко?

— Это был мученик Христов, — тихо сказал Борис, — и взыщется за его кровь, ибо сказано: «Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных».

— Вот! — Владимир застонал, встал с ложа, и тень его метнулась по стене. — Я ведь, бывало, силой брал, а то и хитростью, коварством. Когда бьешься, разве думаешь, что плохо, что хорошо? Все хорошо, лишь бы победить, лишь бы выжить!

— Но разве ты не думал о судьбе народа своего? — также тихо спросил Борис.

— Как не думать! А ты найди хоть одного царя или князя, который бы не кричал, что он все для народа делает! А укрепляет только тело свое и дом свой!

— Но ты же не к тому стремился.

— Как будто бы не к тому, а только что натворил! Что натворил! — Владимир стоял в углу опочивальни, раскачиваясь из стороны в сторону.

Теплилась лампада перед ликом Христа. Борис подошел и встал на колени:

— Помолимся, отец. Повторяй за мной: «Боже мой! Я вопию днем — и Ты не внемлешь мне, ночью — и нет мне успокоения».

Владимир вытер слезы и тяжело опустился на колени:

— Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет.

Борис произнес:

— Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной… Но ты, Господи, не удаляйся от меня; сила моя! поспеши на помощь мне.

Отец и сын молились, и душа Владимира трепетала, как звезда в небе, которая вдруг ярко вспыхнет, а потом так же внезапно скроется из вида.

3

За днепровскими лугами, где начинались дубравы, степняки любили устраивать засады и внезапно нападать на русичей.

Воевода Блуд знал об этом, и потому сторожевые конники уже разведали обстановку. Печенеги были, да ушли. Судя по кострищам, рано утром. То ли испугались гнева Владимира, то ли насытились разбоем, то ли решили выманить дружину киевскую на более удобное для себя место. Отходить они должны были к реке Альте — другого пути в степь здесь нет.

Борис направил черного, как ночь, Воронка к высокому холму, поднимавшемуся справа, и на вершине остановился, оглядел поле, простиравшееся внизу.

Солнце светило весело, заливая лучами зеленое, с желтыми и синими пятнами цветов, бескрайнее поле, тянувшееся до самого края неба.

Тишина, покой и дрожание летнего марева, ясное чистое небо и белое облако, застывшее на нем, — все было, как сама благодать, подаренная людям на радость и счастье.

Всхрапнул конь Бориса, будто приветствуя поле, звякнул о стремя меч Блуда, и Борис, спохватившись, оглянулся на воеводу.

— Жарко, — сказал Блуд, расстегивая бляху, скреплявшую корзно на груди.

Кольчугу ему помог снять боярский отрок Лешько, здоровенный детина с безмятежно-глупым лицом, с голубыми, как бы навсегда осоловелыми глазами, массивным подбородком и удивительно маленьким носом.

Этого Лешько Блуд взял к себе из Вышгорода, увидев однажды, как детина дрался с погодками и как они отлетали от него, словно щепы из-под топора. В молодости Блуд и сам любил подраться, почесать кулаки, удостовериться, что на кулачках ему нет равных.

В тот раз, когда он увидел Лешько, слез с коня, подошел к детине и со всего маху треснул его по уху. Лешько не упал, лишь покачнулся.

— Ты чего дерешься? — плаксиво спросил он и дал Блуду такую затрещину, что воевода полетел в пыль.

Блудовы стражники кинулись вязать Лешько, но воевода, сполна ощутивший силу детины и уважая ее, не стал наказывать его, а взял к себе на службу.

— Теперь до реки Альты можем хоть нагишом скакать, — Блуд выпростал из-под штанов

рубаху, вытер ею потный, тучный живот. — Ушел печенег. А все ж одну сотню к тем холмам пошлем, а вторую влево — могёт, в балочках степняки прячутся, есть у них такая привычка.

Борис кивнул и тоже стал снимать кольчугу. Ему помог Георгий, смуглый юноша двадцати лет от роду — статный, с черными кудрями, голубоглазый.

Он был венгр. Его с братьями Моисеем и Ефремом Владимир взял к себе в терем еще детьми, потому что любил отца их, верного Романа, срубленного кривой печенежской саблей у днепровских порогов.

Ефрем, старший из сыновей Романа, был конюшим, а Моисей и Георгий служили у Бориса и Глеба. Росли они вместе, как братья. Владимир хорошо понимал, что у сыновей должны быть верные и на жизнь, и на смерть отроки, поэтому и разрешил Георгию и его братьям не только учиться ратному делу вместе с княжичами, но и постигать книжную премудрость.

Спустившись с холма, ехали полем бодро, но уже не столь быстро. Копыта коней мяли траву и цветы, поле гудело, дружина двигалась вперед.

Эта дрожь земли, храп коней, эти вспышки солнца на щитах, притороченных к седлам, это мощное движение дружины, которая несла в себе страшную разрушительную силу, все находилось в таком резком противоречии с красотой и покоем мира, сиянием неба и неподвижного облачка на нем, света солнца и разнотравья поля, что чуткое сердце Бориса, впитывая звуки, обрывавшие покой земли, вздрагивало.

В сознании продолжал стоять образ отца, и Борис понимал, что тот находится на самом краю жизни. Отец прав, он знает своих сыновей лучше, чем кто-либо другой. Святополк темен, и никому неведомо, что он может сделать завтра — слишком ожесточил свое сердце. Ярослав жаждет независимости. Мстислав знает, что он первый воин среди князей, и если взыграет ретивое, может пойти на Киев. Святослав смирно сидит в Древлянской земле, но тоже совсем не прочь сесть на Киевский стол. Только трусит. Один лишь Глеб не рвется к власти, живет, постигая мудрость книг и мудрость леса.

Да, отец прав, распря может выйти кровавая, как после смерти деда Святослава, и что-то такое необходимо совершить, чтобы все вышло по сердцу и разуму…

Легкий ветер трепал его волосы, и как ни тяжелы были думы Бориса, все же хорошо было скакать в чистом поле, ощущать мерный и скорый бег Воронка, видеть сияющее небо, которое обнимало цветущую землю.

Когда солнце склонилось к земле, они доехали до голубой реки Альты.

Блуд отдавал распоряжения, как расположить лагерь, выбрав место у дубравы, на берегу реки. Отроки ставили шатры, поили лошадей, сторожевые сотни дугой опоясали лагерь, лицом к полю, и вот уже потянулись к небу дымки костров.

— Как ты все ладно устроил, — сказал Борис Георгию, осмотрев шатер, где все уже было готово к трапезе и ночлегу.

Борис достал из походной сумы икону Божией Матери и повесил ее в красном углу.

Икону ему подарила мать. Он хорошо запомнил, как это было — после обряда посвящения в наследники боевой славы отца.

Обряд назывался подстяга, и это слово Борис услышал еще с вечера, когда отец отдавал распоряжения, а отроки кивали, кланялись и торопливо спешили выполнить все, что говорил Владимир.

С утра, когда Бориса умыли и одели в длинное, до щиколоток, платно (*длинное свободное платье с широкими рукавами до запястья*) из мягкого, переливающегося красным и розовым алтабаса (*разновидность парчи*), подпоясали наборным поясом, надели зеленую, с красной вставкой, бархатную шапочку с бобровой опушкой, сафьяновые сапожки, Борис не столько понял, сколько почувствовал, что сегодня произойдет нечто такое, что бывает не каждый день, а, может, всего только один раз в жизни.

Его вывели на галерею терема, откуда хорошо был виден весь двор — люди в ярких нарядах, кони, вычищенные до блеска, с расчесанными гривами и хвостами.

Особенно выделялся один конь — белый как снег, покрытый красной попоной.

Конь был так красив, что от него было невозможно отвести глаз, и все же Борис смотрел и на людей, потому что они оделись в яркие одежды из красивых заморских тканей.

Отец повел Бориса к белому коню. Позади шли Георгий и Моисей, воевода Блуд и богатыри.

Посредине двора Владимир остановился, выхватил свой меч, похожий на серебряный луч, и поднял его над головой.

— Сына моего Бориса, наследника рода моего… — начал Владимир, и в это время Борис увидел, как отсвет от меча упал на лицо старшего брата Святополка, и тот заслонился ладонью, наклонил голову.

Святополк, нескладный отрок, похожий на больное молодое дерево, криво улыбался, и Борис видел это. Святополк заметил, что Борис смотрит на него, и тогда улыбнулся еще презрительней.

— …наследника рода моего посвящаю в наследники доблести и славы моей.

Владимир со всего маху вонзил меч в землю, и он вздрагивал, покачиваясь, как живой.

Моисей привязал вервь к мечу, а потом к стремени коня, и когда отец подсаживал сына, чтобы тот удобно сел в седло, Борис думал только о том, чтобы не упасть, не осрамиться. Вдруг его обожгла улыбка Святополка…

Другие братья тоже находились здесь. Отец почти всегда приглашал их на праздники, и все же некоторых братьев, например Ярослава, Борис увидел в первый раз. Ярослав, к удивлению, оказался хромым, но не вызывал чувства неприязни, а наоборот, располагал к себе, потому что смотрел открыто и прямо, охотно откликался на все затеи.

Борис запомнил все очень хорошо — как белая лошадь шла по кругу, как кадил высокий бородатый человек в белом одеянии с черными крестами и что-то говорил низким, рокочущим голосом, как улыбались богатыри, многочисленные княжьи люди, от которых стало тесно на дворе.

Особенно хорошо запомнилась мать в своем изумрудном наряде, с сияющим от счастья лицом, от которого, казалось, исходил свет.

Борис сидел на коне так, как его учили, — выпрямившись, с поднятой головой и крепко держа уздечку.

Белый конь шел по кругу послушно. Его вел Ефрем, старший брат Георгия, но то ли от криков, то ли еще почему-то конь заржал, дернулся, присел на задние ноги и поднялся.

Ефрем, никак не ожидавший этого, не успел осадить коня, а Борис, чувствуя, что вылетает из седла, лег на круп, обхватив крепкими ручонками конскую шею.

И конь, словно почувствовав нежность и беззащитность этих рук, ровно побежал по кругу, а Моисей, брат Ефрема, успел схватить его под уздцы и тоже бежал, укорачивая резвость коня.

Борис выпрямился в седле и, сам не зная, почему, ударил пяточками сафьяновых сапожек по бокам коня.

Это движение мальчика не осталось незамеченным и вызвало бурю восторга, и дружинники Владимира радостно закричали, увидев в Борисе будущего отменного наездника, а значит воина, достойного наследника деда Святослава и отца Владимира.

Дружинники ликовали, а Анна, у которой сердце то замирало, то билось учащенно, коротко, отрывисто смеялась, а на глазах ее выступили слезы.

Но этим не кончилось торжество Бориса. Страх прошел, движения его стали раскованными, и когда он огляделся и опять увидел презрительно-сладкую улыбку Святополка, то захотел доказать, что его не зря посадили на белого коня. Проскакав еще несколько кругов, Борис, как учил его Ефрем, вынул носки сапожек из стремени, лег на круп коня и быстрым, коротким движением спрыгнул на землю.

Сделал он это так неожиданно, так ловко и смело, что люди не успели и ахнуть. Малыша успел только поддержать Ефрем, иначе Борис упал бы.

Новый восторженный крик сотряс воздух. Владимир бросился к сыну и правой рукой высоко поднял Бориса над собой.

Держал он сына крепко. Малышу стало больно, и он вскрикнул. Но никто не услышал этого, потому что слабый вскрик поглотил рев толпы.

А потом был пир на весь Киев, и не нашлось ни одного человека в стольном граде, кто бы в тот день не поднял братину за славного и бесстрашного мальца, наследника великого князя.

Пир длился три дня и три ночи, отроки Владимира сбивались с ног, опустошая кладовые, выкатывая бочки с медовухой, кувшины с греческим вином, подавая на столы соленья, жареных баранов, птиц и рыб с перьями зелени в раскрытых ртах.

И вот в один из этих дней, когда пир лился рекой от княжьего терема до покосившейся на самом дальнем конце Киева избенки, Анна привела Бориса к себе в опочивальню и открыла ларец, в котором лежала завернутая в алтабас икона Божией Матери.

Анна положила ее в ларец, прощаясь с родным домом, уезжая навстречу неизвестно чему — может быть, только горю, как казалось тогда. А вышло, что выпали ей и любовь, и счастье.

И сейчас, видя торжество сына, которого полюбили люди и которого больше самой жизни любила она, Анна белыми своими руками развернула алтабас и дала икону сыну: «Она

сбережет тебя и поможет в самый трудный час. Береги ее и помни обо мне…»

Борис встал на колени и произнес про себя: «Берегу и помню, мама!»

4

Трапеза была скудной — подали кисель, потом печеные яблоки. Оттого что епископ Рейнберн ел, чавкая, даже с присвистом, не кусая, а втягивая в себя мякоть яблок, Святополк обозлился.

— Вы, святой отец, как дите малое, — раздраженно сказал он. — Чавкаете зело бодро.

Рейнберн, привыкший к подобным грубостям князя, все же оскорбился, перестал есть и положил на стол недоеденное яблоко. Из-за рукава рясы он вынул белоснежный платок, вытер им тонкий, в ниточку, рот и со смирением, в котором было немало яда, сказал:

— Старец похож на дите, а дите на старца, когда глаголет. Вот и открывается истина. Она в том, сын мой, что зуб у меня болен, и с нынешнего дня я буду трапезничать в одиночестве, чтобы не раздражать тебя.

Лицо Рейнберна было сухим, аскетическим, в глубоких морщинах, проложенных по лицу скитальческими годами его жизни, которые привели его в ненавистную страну Русь, где даже князья не научены разумному поведению.

— Вы не только на дите похожи, — с удовольствием сказал Святополк, — вы похожи и на красну девицу, которая жениха жаждет, а со сватами говорить не хочет, — он бросил яблоко на стол и вытер руки о платно, зная, что это бесит Рейнберна. — Неужто питья никакого нет? — он с презрением посмотрел на жену Болеславу, которую мучил стыд, ибо она преклонялась перед Рейнберном — он был для нее не только святым отцом, но и единственным теперь человеком, который напоминал о Польше и родном доме.

В это время стольник внес клюквенное питье в кувшине, но не успел сделать и шага, как дверь резко отворилась, и в горницу влетел гонец. Он невзначай толкнул стольника, тот покачнулся, и клюквенное питье пролилось на пол, оставив на нем красный подтек.

Святополк привстал, бранные слова уже готовы были сорваться с его насмешливых губ, но гонец сказал:

— Великий князь Владимир скончался!

Гонец, человек немолодой и сильный, из тех, что не первый год служили Владимиру, сухо, по-собачьи кашлянул и отвернулся. Потом он взял из рук стольника кувшин и стал жадно пить. Напившись, он вытер усы и бороду рукой, сунул стольнику кувшин и сказал:

— Сегодня в седьмом часу в Берестове отец Анастас зашел к великому князю, чтобы служить заутреню, а душа Владимира уже отлетела. Отец Анастас меня к тебе послал, приказав сказать: «Немедля скачи в Киев, ибо стол великокняжеский не может быть пуст!»

Святополк стоял, согнувшись, и только сейчас догадался сесть и выпрямиться. Он погладил рыжую бородку. Рука его дрожала, и он тут же спрятал ее под стол.

Этот жест заметили и Рейнберн, и Болеслава.

Святополк зло посмотрел на окаменевшего от удивления и страха стольника.

— Иди, чего торчишь, как пень? Да скажи, чтобы бояр ко мне призвали!

— Погоди! — остановил стольника Рейнберн. — Бояр пока звать не надо, позови моего слугу Бертрана и никого более. Иди!

Когда стольник скрылся, Рейнберн спросил гонца:

— Князь Борис теперь где должен быть? Как думаешь?

— Доносят, он в поле печенега ищет, у Альты-реки.

Святополк сразу же сообразил, что если выехать в Киев не мешкая, он обскачет Бориса — от Вышгорода ближе к Киеву, чем от реки Альты.

Он улыбнулся, увидев, что Болеслава сидит с открытым ртом. Она была тучной, вся в отца. Красивая, вот только ума Бог не дал.

Святополк справился с волнением, решительно встал, крикнув, чтобы позвали конюшего Путшу. Чего тут судить-рядить, в этом жалком городишке, которым наделил его Владимир?

— Внял моим молитвам Господь, — сказал Рейнберн. — Вспомни, Болеслава, я ведь говорил, что муж твой будет великим князем, — он погладил ее по руке, и только после этого она пришла в себя.

Вошел Бертран. Священник отдал четкие и ясные приказания. Лицо его оживилось, даже морщины как будто разгладились, а подгнивший зуб перестал болеть. Он уже видел себя не духовником княгини, а епископом Киевским, утверждающим в варварской стране веру истинную, возвышенную, как собор в родном городе Кольберге. Он, Рейнберн, построит такой собор и в Киеве, а может быть, еще выше и величественней, и сам папа Римский благословит его и возьмет в восприемники…

От Вышгорода до Киева — рукой подать, особенно, если кони быстры, и все же Святополку казалось, что стены киевские не появляются целую вечность. Когда же он въехал на княжеский двор Владимира и спешился, опять растерялся: а дальше-то что делать?

Но тут к нему скользящим шагом направился человек в черной рясе, с золоченым крестом на груди, крутолобый, с заметно поредевшими волосами и бородой.

Святополк узнал Анастаса.

— Тело Владимира в храме, — тихо, но внятно сказал Анастас, остановившись перед Святополком. — Отроки в Берестове его в подклеть спрятали, проломив пол в опочивальне, — хотели, чтобы о смерти великого князя ты не знал до возвращения Бориса. Потом уложили Владимира на сани и сюда в храм привезли. Я, как дознался, сразу к тебе гонца послал.

— Это особо отмечено будет, — сказал Святополк.

Рейнберн высунулся вперед, понимая, что сейчас надо слышать каждое слово. Но Анастас уже решительно брал над ним верх:

— Надо идти в храм и возопить. А потом объявить, что ты славу Владимира перенимаешь и народ киевский под свою руку берешь. А митрополит Иоанн пусть благословит при боярах, которых в храм надо созвать.

— Так, — заискивающе сказал Рейнберн, но Анастас даже не посмотрел на него, расчетливо и точно ведя свою игру.

— Боярам твердо о власти своей объявишь. Она принадлежит тебе по праву старшего. Они сердцем с Борисом, поэтому скажи, что и ты сердцем с ним, как с любимым младшим братом.

Святополк быстро прикидывал, почему лобастый грек так заботится о нем, какая у него тут корысть. Ясно, что хочет возвыситься, а на Бориса у него надежды нет. Что ж, надо брать в помощники грека, ибо в Киеве вера христианская, и сейчас нужен Анастас, а не Рейнберн.

— Идем, Анастас, расскажешь, как должно в храме себя вести, чтобы вышло благостно и по правилам.

Каменный гроб с телом Владимира поставили на возвышение, покрытое пурпурным бархатом. Владимир лежал в княжеской шапочке, в богатом скарамангии. Ладони были сложены на груди, в пальцы вставлена горящая свеча.

Митрополит Иоанн стоял в изголовье гроба, держа в руках молитвенник в красном сафьяновом переплете.

Святополк поцеловал холодный лоб Владимира и опустился на колени.

— Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего, — читал Иоанн прекрасным голосом, — отвечает ему со святых небес Своих могуществом спасающей десницы Своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся.

«К чему бы это он? — думал Святополк о словах молитвы. — Мою сторону возьмет или Бориса?»

— Они поколебались и пали, — продолжал Иоанн, — а мы встали и стоим прямо. Господи! спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе.

«Спаси царя… От кого и от чего? Это меня сейчас надо спасать от братьев — будут желать моей смерти. Но только я не дамся…»

— Господи! силою Твоею веселится царь и о спасении Твоем безмерно радуется, — Иоанн испытующе посмотрел на Святополка. — Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошения уст его не отринул. Аминь.

— Аминь, — повторил Святополк и поднялся с колен. — Ныне, прощаясь с отцом нашим великим князем Владимиром, воздавая почести и хвалу ему за великие дела его, — Святополк к своему ужасу обнаружил, что не может говорить твердо и властно, потому что голос его дрожал и сипел, — за великие дела его, — повторил он, пытаясь усилить голос, но вышло еще тоньше и противнее. — Объявляем себя наследником славы его и стола Киевского по праву старшинства, от Бога завещанного. Благослови, владыко! — Святополк подошел к Иоанну и опустился на колено.

Иоанн, старец крепкий и не робкого десятка, закаленный духом и телом, сдвинул морщины на высоком лбу.

Черные глаза его под мохнатыми седыми бровями смотрели на Святополка. Иоанн решал, что будет, если он откажется от благословения. Станет ли Святополк губить его, если возьмет верх? Похоже, возьмет, потому что первым из сыновей Владимира пришел к гробу отца и уже

заявил о своем праве.

Святополк поднял голову и посмотрел на Иоанна. Тонкие губы Святополка раздвинулись, и страшная ядовитая улыбка исказила лицо, а глаза налились сладкой злобой.

Иоанн понял: надо благословлять. И благословил…

На всех концах Киева биричи кричали о новом великом князе. Как и при Владимире, открыты были все княжеские кладовые, но люди ели и пили как-то вяло, словно по обязанности.

У статуй корсуньских вздыбленных коней, где при Владимире гулянье шло широко и даже буйно, так, что гридням (*телохранителям, состоявшим в дружине древнерусских князей*) приходилось порой растаскивать дерущихся, а кого-нибудь даже и в поруб сажать, нынче пили без смака, лениво перебрасываясь словечками.

Справа от медных коней силился подняться с земли пьяный человек.

Два гридня, осушив уже неизвестно какую братину, время от времени поглядывали на пьяного.

— Если не поднимется, то не встанет, — сказал один.

— Кажись, бочкарь Филипп.

— Кузнец Минька, — сказал старый смерд, подставляя братину черпальщику.

— А я говорю, что если не поднимется, то не встанет! — гридень обиделся, что никто не засмеялся его шутке.

— Оно конечно! — отозвался старик-смерд. — Если у кого глаз нет, ноги не идут. А у кого идут, тот пить не любит, а все больше ест.

— Чего ты несешь?

— Жарко! — старик бочком протиснулся к черпальщику.

— Того и гляди — гром грянет и змеи огненные с небес полетят, — сказал убогий горбун.

— Это почему?

— Сыновья и братья наши в чисто поле биться вышли, а мы гульбу затеяли.

— Нам велено.

— Велели Матрене по ягоды идти, она двоих и родила.

— Хо-хо. А тебе кто горб пришил?

Убогий уже хотел осушить братину, но остановился.

— Ужо придет князь Борис, тогда скажет, — он выплеснул мед в пыль и захромал прочь.

Не получалось веселья и в покоях великого князя.

Святополк раздал дорогие подарки боярам, старейшинам градским, поднес дары младшей дружине и всем, кто заходил в княжеский терем. Столы были накрыты по всем галереям, и

Святополк потчевал кого нужно и не нужно, сам этому удивляясь и злясь.

«Что со мной? — думал он, когда пьяные голоса наконец умолкли, а он ушел в опочивальню. — Будто я взял, что мне не принадлежит. А все потому, что сызмальства Владимир везде вперед совал Бориса. Они хотели украсть у меня стол и дом, да только не вышло по-ихнему».

В дверь постучали, Святополк вздрогнул.

Вошел епископ Рейнберн. По привычке он хмурился, но глаза его выражали довольство.

— Прости, великий князь (слово «великий» он подчеркнул голосом), но осмелюсь сказать, что тревожит душу.

— Я устал и спать хочу.

— Спать можно будет, когда наши враги вечным сном уснут. Вели скакать к князю Борису. Пусть скажут, что он тебе любимый брат, и ты все сделаешь, что он захочет. Когда скажут так, и успокоится Борис, тут выполнят пусть главный твой приказ.

Святополк вздрогнул — угадал его мысли Рейнберн.

— Я, святой отец, знаю, что всяк, кто на меня в обиде, к Борису уже убежал. Только не понимаю, какой такой главный приказ вы разумеете!

Рейнберн усмехнулся, довольный понятливым учеником.

— Верные тебе люди не тут, а в Вышгороде. Киевские к Борису привыкли. Бояре думу думали, дружина в поход ходила. Потому и дары брали кисло. А вышгородские за тобой пойдут, потому как могут над киевлянами возвыситься. Их надо одарить по-царски. И сегодня же к Борису послать.

Святополк представил, каких сил ему будет стоить ночная дорога в Вышгород. Да еще говорить с боярами… И если кто и возьмется выполнить приказ, то как это сделать, когда с Борисом богатыри и дружина киевская?

— Кони оседланы, великий князь!

Да, ехать надо, в Вышгороде можно собрать дружину надежную, а тут не соберешь. Можно найти ловких людей, а тут их как сыскать?

— Попрощаюсь с Болеславой.

— Ей все сказано. Ранним утром выедет отсюда к тебе.

Святополк покривился, досадуя, что Рейнберн заранее предусмотрел каждый его шаг. Что же, и дальше так будет? Его умом будет жить великий князь киевский? А Анастас? И того, и другого надо держать, как сторожевых псов.

— Вы, святой отец, рассудили мудро. Если тесть мой король польский Болеслав родственников ослепил, а младших братьев изгнал, то чую теперь, чьи тут советы. Поступать буду, как Бог велит. Да что вы дергаетесь? Или вам мои слова неприятны?

— Князь, я слуга ваш! — Рейнберн склонил голову, чтобы Святополк не видел его глаз. — В путь нам пора.

— Может, я еще и не поеду теперь, — Святополк раздумывал, можно ли действительно не ехать.

Он сел, вздохнул нарочито тяжело. В опочивальне горела одна свеча, но все же Святополк сумел разглядеть, каким холодным стальным огнем светятся глаза Рейнберна, когда епископ быстро взглянул на князя.

Святополк лишь однажды видел волка, когда травили зверя и поймали его, прижав рогатиной к земле. Точно так же горели тогда глаза матерого, как сейчас у святого отца.

— Идите вперед, епископ, — сказал Святополк, вставая. — Мне теперь за спиной никого оставлять нельзя.

5

Луна была полной и яркой, ее сизо-белый свет падал на хорошо утоптанную дорогу. Ярко светили крупные звезды. Кони уверенно скакали вперед, а Свято- полку казалось, что он, будто вор, убегает из Киева.

Уже глупым казался совет Рейнберна поехать в Вышгород. А если Борис завтра вернется и спокойно сядет на Киевский стол?

Голова была тяжела от вина и меда, живот грузен и полон, даже свежая ночная прохлада не помогала Святополку. Он был хорошим наездником, но все же боялся, как бы конь не споткнулся и не упал где- нибудь на повороте дороги.

Но ничего такого не случилось — они благополучно добрались до Вышгорода.

Заспанный и перепуганный, с всклокоченными волосами, сын конюшего никак не мог справиться с конем Святополка. Это так взбесило князя, что он кнутом огрел малого по спине.

«А вот отца-то его и надо к Борису послать!» — мелькнуло в сознании Святополка, когда он увидел маленького ростом, но широкого и сильного в плечах Путшу, который не один раз клялся в своей преданности.

Путша держал в руках факел. Отблески огня падали на его заросшее черной бородой лицо, а вороватые глаза поблескивали.

— Ко мне зайдешь, — бросил Путше Святополк, радуясь, что в доме переполох, что все бегают и боятся внезапно вернувшегося хозяина.

«Пусть побегают! — подумал Святополк. — Я заставлю попрыгать не только своих дворовых. Еще и братцы попрыгают, когда хлестану кнутом…»

Он поднялся по лестнице в свою горницу, где уже горели свечи. И сейчас, после каменного терема Владимира, эта горница показалась ему особенно убогой. Ему захотелось немедленно позвать всех верных людей и объявить свою волю. Но усталость брала свое.

— Утром позовешь Тальца, Еловита, — сказал он Путше. — И других бояр позовешь, кто мне верой и правдой служить готов. Наша пора настала!

— Настала, великий князь! — согласился Путша, и его белые зубы разбойно блеснули.

Святополк ничего не стал объяснять, отпустил Путшу, а сам прилег на ложе и забылся

тяжелым сном.

Он увидел себя отроком. На Троицу Владимир приказал прибыть в Киев, и дядька по прозвищу Волчий Хвост привез его в стольный град. Угощали, но за столом Святополк сидел не рядом с Владимиром и братьями Борисом и Глебом, а сбоку, с дядькой и дружинниками. Борис и Глеб были нестерпимо чистенькие, как показалось тогда Святополку. И мать их, Анна, тоже была чистенькая и красивая, и за них то и дело поднимали братины. А за Свято- полка никто не выпил, и матери у него не было не только такой красивой, как Анна, но вообще никакой — она умерла, потому что не хотела жить, все молилась и плакала. Дядька Волчий Хвост говорил ей, что надо хорошо есть, надо и мужа нового взять из бояр, но она не послушалась и истаяла, как свеча.

Волчий Хвост то и дело вспоминал, как они рубились прежде, хвастался, толкался, но его мало кто слушал, потому что дядька был стар, а у Владимира служил другой воевода и другие богатыри — молодые и сильные.

Святополк стыдился дядьки, хотел уйти, сделать что-нибудь такое, чтобы чистенькие Борис и Глеб перестали бы улыбаться.

И случай представился, когда они играли в лугах, а потом рвали ветки в березовой роще.

Роща сияла, вся облитая солнцем. Святополк позабыл про свои обиды, шел меж берез, касаясь ладонью стволов. Шел просто так, сам не зная, куда.

Кто-то шально метнулся из-под ног, шурша травой. Святополк увидел ворону, которая двигалась боком, волоча перебитое крыло. Не зная, зачем, Святополк решил поймать ворону, кинулся к ней, но она, изловчившись, сумела отпрянуть в сторону. Святополк бросился к птице снова, но она опять увернулась.

Под руку попалась сломанная ветка — длинная и гибкая. Святополк схватил ее и, прыгнув, ударил ворону. Удар получился хлестким, с оттягом, он пришелся по раненому крылу. Оно повисло на тонких красных ниточках.

Ворона кричала сипло и протяжно, продолжая боком двигаться вперед, отчаянно быстро.

Святополк догнал птицу и ударил еще раз. Ворона крикнула из последних сил и ткнулась в зеленые сафьяновые сапожки. Святополк поднял голову и увидел Бориса, который вырос, как будто из-под земли.

— Зачем? — спросил Борис.

Борису было восемь лет, Святополку — семнадцать, но на вопрос младшего брата старший ответить не смог. То ли взгляд Бориса его смутил, то ли вид изуродованной птицы, то ли эти брызнувшие глаза вороны, но не ответил он, будто что-то острое проглотил.

К Борису подбежал Глеб, увидел мертвую ворону и коротко вскрикнул.

— Идем! — Борис хотел увести Глеба, взяв за руку, но тот нагнулся и поднял ворону.

— Давай ее похороним, — сказал он.

Только сейчас Святополк очнулся от оцепенения. Губы его поползли в стороны, и он презрительно засмеялся:

— Ворону хоронить, ха-ха-ха! — и побежал прочь, оглядываясь и показывая пальцем на Бориса и Глеба.

Святополк проснулся от своего крика и приподнялся на ложе, оглядывая опочивальню. Свеча догорала, тоненький огонек вот-вот должен был погаснуть. Сквозь слюдяные оконца просачивался утренний свет. Святополк резко встал, вышел из опочивальни.

Путша, который, казалось, только что вышел от князя, поклонился Святополку:

— К тебе с добрыми вестями, великий князь!

— Кто? — а сам уже увидел здоровенного Лешько, потного и пыльного — видать, только слез с коня.

Пальцем Святополк поманил к себе Лешько, а сам наклонился над кадкой и стал умываться.

— Воевода Блуд меня к тебе послал, — начал Лешько, угрюмо набычившись. — Говорит, надо спросить тебя, что делать: то ли печенега искать, то ли в Киев возвращаться.

— А Борис? — Святополк взял полотенце у отрока, вытер лицо, худую шею.

Глаза его были как будто равнодушны, и они смотрели мимо Лешько, словно он что-то разглядывал за его спиной.

— Дружина в Киев Бориса зовет, а он на месте топчется.

Святополк быстро взглянул на Лешько:

— Не врешь?

Лешько перекрестился.

— Еще воевода сказал: каждому дано время свое.

— Как?

— Каждому дано время свое. Повторить заставил, чтобы я не забыл.

Святополк усмехнулся, поняв, что хотел сказать воевода.

— Путша, дай умыться гостю да за стол посади! Где бояре мои?

— Ждут, великий князь.

— Зови. А, святой отец, — любезно сказал он, увидев Рейнберна. — Вы вчера, кажется, хотели трапезничать в одиночестве? Не буду мешать вам, потому как дела неотложные…

Не дав Рейнберну и рта открыть, Святополк быстро ушел в горницу. Он подошел к своему стольцу (*род стула, табурета в Древней Руси*) и сел так, как обычно садился Владимир: выпрямив спину и опершись руками о колени. Оглядел бояр и, опять подражая Владимиру, сказал:

— Не впервой нам врага бить. И в этот раз побьем! Наше теперь время, и стол великокняжеский наш!

Вышло красно и громко — совсем не так, как в Киеве, когда он сам провозгласил себя великим князем.

— Не будем мешкать, братья, возьмемся за мечи, пока Борис на нас дружину не повел. Он на нас идти трусит и мнется у Альты-реки. Пойдете туда: ты, Путша, ты, Еловит, ты, Тальц, ты, Лешько. Скажите дружине: пусть все идут ко мне, всем будут дары и моя забота. Кто не хочет — неволить не буду, но и заботиться тоже не буду. А Борису скажите: «Тебя брат всем одарит, чего пожелаешь! Бери любой город, какой захочешь, и всегда сердце Святополка с тобой будет». И когда уверится он в любви моей, когда успокоится… тут вы к делу и приступите. Скрепим наш уговор крестоцелованием, — сказал он. — Зовите Рейнберна!

Юркий Тальц шмыгнул к двери и окликнул немца. Епископ вошел, мрачный и отрешенный от мира.

— Святой отец, мы крест целовать решили, — сказал Святополк. — Выполним сей обряд, а ты благослови!

— Я знать должен, в чем ваша клятва и какому делу она послужит, — отозвался Рейнберн.

— Не сомневайся, дело наше праведное! — Еловит подтолкнул епископа к Святополку: — Вот только скажи: крест твой такой же, как нашей веры?

Еловит любил задавать вопросы, которые ставили в тупик многих людей. Ни в прежних богов, ни в нынешнего он не верил и поступал так, как велела выгода.

— Бог — един Вседержитель на небе и на земле! — Рейнберн протянул крест Святополку: — Целуй, великий князь, ибо Богу угодно, чтобы ты Русью правил!

Святополк наклонился к кресту и поцеловал.

Разбойный Путша тоже поцеловал.

И неверующий Еловит поцеловал.

И неугомонный, стремительный Тальц поцеловал. И громадный, мало что понимающий Лешько тоже поцеловал холодный стальной крест.

6

Солнце скрылось за плотную гряду облаков. Их нижние края раскаленно вспыхнули, и на землю упали длинные белые мечи.

Простор за Альтой высветился до самых дальних пределов. Увиделся лесной окаем, река засеребрилась, и, выпрыгнув из воды, ударила по ней сильная рыбина.

Тяжко было на душе, но все же Борис не уходил в шатер и не молился об усопшем отце, а все сидел у реки, наблюдая, как торжественно и величаво уходит еще один прожитый день.

Мысль о том, что и этот день, и даже мгновение это уже никогда не вернутся, возникла в сознании сама собой.

«Господи, мир Твой прекрасен, но почему столько зла от людей? Почему живут, подобно волкам, перегрызая глотки друг другу? Почему и у людей вожак должен быть с самыми острыми зубами?».

Он услышал шаги за спиной и узнал их — так ходит отрок Георгий.

— Князь, ждут тебя!

Борис оглянулся, увидел хмурое, встревоженное лицо, знакомое до каждой черточки. По этому лицу можно читать, как по открытой книге.

Борис встал, отряхнул платно.

— Посмотри, красота-то какая, — сказал он. — Будто праздник какой!

— Праздник не в небесах, а у Святополка. Он добро твоего отца всему Киеву раздает, чтобы силу против тебя собрать.

Они поднялись по откосу и сразу увидели, что в лагере неспокойно: дружинники собирались у обозов, ходили от одной толпы к другой, слушая, о чем там говорят. Ступая враскоряку, шел навстречу Борису Блуд, явно торопясь. Тяжело ему быстро идти, но не жалел он себя.

— Обыскались тебя, князь, — одышливо сказал Блуд. — Знаешь ли, что Святополк учинил?

Борис кивнул и отпрянул — на него чуть было не наехал всадник, разворачивающий коня между обозными телегами.

— Куда прешь! — Блуд схватил лошадь под уздцы и дернул в сторону так, что всадник едва усидел в седле.

У княжеского шатра собрались богатыри. Борис невольно вспомнил, как они совсем недавно стояли перед великим князем, когда он отправлял их на печенегов. «Как это все-таки странно — все они живут, дышат, опять стремятся к чему-то, а отца нет…»

— Георгий, прикажи, чтобы стол накрыли, — сказал Борис, приглашая богатырей к себе в шатер и жестом показывая, чтобы они садились.

— До трапезы ли? — с трудом сдерживая раздражение, спросил Блуд. — Пока мы застольничаем, Святополк так ополчится, что его из Киева не выгонишь.

— Ты сам полк градский в Киеве оставил, — съязвил Александр. — Теперь своих же людишек вместо печенега колошматить придется.

— Да кто за ним, польским нахлебником, пойдет? — возразил Кожемяка. — Разве что голь перекатная, на дармовщинку клюнув.

— Коли его митрополит благословил, так ополчится Киев и выйдет против нас, — урезонил Кожемяку Александр. — Так не единожды было. Да и не отдаст теперь Святополк стола Киевского без сечи — власть ему слаще меда.

Рагнар кивнул и сел, выставив ногу вперед. Он понял, что разговор не получится коротким.

Борис знал, о чем будут говорить богатыри, поэтому сидел, чуть наклонив голову, сосредоточившись на какой-то мысли, которую и сам не смог бы выразить, если бы его спросили.

Лицо его было печально, под глазами легли круги, как после долгой бессонницы.

Блуд подумал, что правильно поступил, послав Лешько к Святополку — Борис растерян и не знает, что делать.

Александр обиделся: «Почему Борис молчит?»

Кожемяка подумал, что князь пал духом.

Рагнар одобрил молчание Бориса: сначала надо прикинуть, в какое место ударить, а потом бить.

— Здоров ли ты, князь? — спросил Блуд.

Борис посмотрел на воеводу и тихо улыбнулся:

— Здоров, не тревожься. Сядь, тяжело тебе стоять. Вот вы думаете: слаб я духом и не ведаю, как теперь быть. Но вы же знаете, что никогда я не боялся Святополка, а лишь жалел его. Он взял власть, не позвав ни братьев, ни дружину, и это плохо. Но он старший среди нас, и стол великокняжеский ему принадлежит по праву. Нельзя преступить закон сей. Преступим — опять брат пойдет на брата, и не будет конца резне, как это было при отце моем.

Борис взял у Георгия кувшин с греческим вином и налил его в братины.

— Опомнись, князь, ты что говоришь? Не твой ли отец Святополка в поруб сажал, когда он короля польского подговаривал на стол Киевский покуситься? — Блуд все же сел, взял братину и выпил — мучила его жажда: — Да и кого Владимир наследником своим объявил? Ты что, забыл?

— Я ничего не забыл. Святополка отец не любил, потому и болела у него душа. Он знал, что виноват перед Святополком, и мучился от этого.

— Не пойму твои речи, князь, — Александр взял наполненную братину. — Если ты сам хочешь Свято- полку стол Киевский отдать, думаешь ли, что кто-то из нас с тобою останется?

— Думаю и знаю, что вы великому князю служить будете. Потому и прошу вас разделить со мной прощальную трапезу.

Он взял хлеб и преломил его.

Наступила тишина, и было слышно, как ходят и переговариваются за шатром дружинники, как всхрапывают кони.

Что же ты делаешь, князь? — с сердцем сказал Александр. — Или ты не знаешь Святополка? Кого дружина любит: тебя или его? С кем думу думали? С кем на рать ходили?

— Одни уста и теплом, и холодом дышат. Перемениться вы должны к Святополку.

— Выходит, что ты все решил, — сказал Рагнар. — А помнишь ли ты, что варягам место у стола великого?

«У кормушки великой», — чуть было не сказал Блуд.

— С миром вас отпускаю! — твердо сказал Борис. — И скажите Святополку: что он мне даст, тем и буду доволен!

— Погоди, — остановил его Блуд, — ты как дите малое, — он резко поставил братину на стол, она опрокинулась, и вино пролилось.

— Скажи Святополку, Блуд, я желаю ему счастья.

— Ну что ж, — Александр встал, окончательно укрепившись в мысли о малодушии Бориса, — тогда мне здесь не место. Святополк не люб мне, но духом тверд.

— На то и моя надежда, — живо отозвался Борис. — Вы все должны его твердость на праведные дела направить.

— А с тобой-то кто останется, князь? — Кожемяка поднялся тяжело и как бы нехотя. — Кто тебя защитит, если Святополк… — и он осекся, не смог выговорить то, о чем подумал сейчас каждый из богатырей.

— Гони эти мысли прочь! — сказал Борис. — Я не соперник Святополку, сам ему место уступаю, как старшему брату. И там мое место будет, где он укажет. Так и передайте ему. Не печальтесь: каждому обозначен путь свой. И у меня он есть, и вы поймете это, верю я…

Никто не решался выйти из шатра первым. Как будто богатыри еще ждали чего-то, может быть, совсем иного слова от Бориса. Скажи он сейчас: «Останьтесь, я все не то говорил!» — они бы радостно улыбнулись и тут же наполнили свои братины…

Но Борис молчал, грустный и сосредоточенный.

— Прощевай, князь, — Блуд распахнул полу шатра, и в эту минуту выпорхнула на волю пичужка, дотоле таившаяся за колышком, накрепко вбитым в землю отроком Георгием.

Блуд по привычке посмотрел на небо, прежде чем приказать воинам выступать в поход. Высь светилась мягко, облака прощально гасли, и уже зажглась в небе вечерняя звездочка. Солнце медленно и спокойно скрылось за дальним лесом, и Блуд понял, что ночь будет светлая, что надо скакать к Киеву не мешкая.

— На коней! — заорал он. — Идем к великому князю Святополку!

Воины, привыкшие мгновенно собираться в путь и днем, и ночью, тут же принялись седлать коней, но все же крик Блуда смутил многие души…

— Струсил Борис!

— Тебе почем знать? Дружина-то с ним.

— А все одно боится.

— Молчал бы, толстомордый! Может, он твою кровь пожалел, чтоб не махал ты мечом против родичей.

— Сам себя пожалел.

— Брысь! Затопчу конем!

В другой сотне, много чего повидавший на своем веку, лучник горестно вздохнул:

— Пропадет Борис!

Сосед его, с которым они бывали не в одном деле, отозвался:

— А то! Посчитай, сколько злобы Святополк накопил. Сказал волк капкану: «Полно шутить, отпусти лапу-то!»

— То-то, сожрет! Глянь, и варяги с нами!

— Пусть варяги. Позовет Святополк иных иноземцев — жена-то у него польская.

— Съешь и ржаного, коли нет никакого. Трогай!

Дозорные уже помчались вперед, конница потекла с холмов в долину, а пешие, на ходу выстраиваясь в ряды, двинулись скорым шагом.

Молодой лучник вышел из строя и, скинув сапог, перемотал онучу, в спешке кое-как навернутую.

Он торопился и, когда вставал, выронил стрелу из колчана. Отрок подобрал стрелу и побежал догонять своих. Русые волосы его развевал прохладный ветерок.

Звезды густо усыпали небо, сизый, с матово-белым отливом, свет луны разлился окрест. Дружина черным пятном, похожим на тень от тучи, двигалась по долине, наползала на холмы, вытягивалась извилистой змейкой на узких дорогах. Позвякивали мечи, гулко стучали копыта лошадей, покрикивали сотники, подгоняя и без того быстро идущих ратников.

За полночь, когда кони уже шли мерным шагом, Блуд услышал топот коней, скачущих навстречу.

Он остановил коня и дал знак воинам укрыться по обе стороны лесной дороги. Александр, Рагнар и Кожемяка встали рядом с Блудом и взялись за рукояти мечей. Всадники, скакавшие навстречу, увидели, что путь им прегражден, и тоже взялись за мечи, остановив бег коней.

— Кто такие? — крикнул Блуд, а дружинники его уже заложили стрелы в луки и выбрали цели.

Путша узнал Блуда по голосу и подъехал к нему.

— Свои, бояре вышгородские. Я Путша, узнал? И Лешько твой тут. Давай сюда, Лешько!

Лешько направил коня к воеводе.

— И что же вам ночью не спится? — спросил Блуд, уже разглядев, что воинов у Путшы немного, справиться ними не составит особого труда. — Чего торопитесь?

— Добрую весть охота скорее передать, — Путша развернул коня так, чтобы лучше видеть Блуда.

Зыбкий лунный свет обозначал лишь очертания головы Блуда в островерхом шлеме. Но вот он по привычке склонил голову набок, задрав подбородок — так он делал всегда, когда хотел вызнать что-то важное.

— Какие такие вести?

— Святополк сказал, что любит Бориса и даст ему все, что тот пожелает. Желает он брату младшему добра и мира.

— С тем и скачете?

— С тем и скачем.

— Слышали? — Блуд повернулся к богатырям. — Вот какие добрые у нас князья пошли. Будто голубки воркуют.

— Славно! — обрадовался Кожемяка. — А я-то, дуралей, думал, что быть Борису в беде великой.

— Вот уж верно себя назвал, — мрачно заметил Александр. — Коли так добр Святополк, что же он Бориса и братьев не позвал, когда на стол Киевский садился? Да и про нас почему забыл?

— А откуда ему было знать, что вы с печенегами не бьетесь? — язвительно спросил Тальц, удерживая коня, который дернулся от пронзительного крика выпи. — И тебе ли не знать, что стол великий пустым быть не может?

— Так, так, — заторопился Блуд, — Борис признает Святополка великим князем. Велел сказать: что старший брат ему даст, тем и доволен будет. Понял ли, Путша?

— Как не понять, — Путша привстал на стременах, наклонившись к Блуду. — Теперь знаю, что никто не помешает нам выполнить волю Святополка. Понял ли и ты, Блуд?

— Скачите вперед! — Блуд дернул поводья. — Лешько, поезжай за мной!

Путша развернул коня и придвинулся к Блуду:

— Лешько для дела нужен, уж ты оставь его нам.

Блуд махнул рукой и поскакал вперед, а конные дружинники двинулись вслед за ним, ломая ветки придорожных деревьев. По краю дороги поскакали наемники Святополка. Выехав в поле, они пришпорили лошадей и скрылись в мертвенно-сизом свете.

7

Утренняя дымка выгибалась, точно живая, поднимаясь от воды и рассеиваясь. По движению реки было видно, что она глубока и коварна, но у песчаного берега, поросшего ивняком, она текла спокойнее, намывая пологие отмели.

Глеб осторожно заходил в воду. Стаи мальков бесшумно шарахались от его ног. Он крепко держал палку, к которой была привязана сеть, и, приподняв ее, почувствовал, как она тяжела. Улыбнувшись, он махнул рукой отрокам, и они, держась за другой конец сети, потащили ее к берегу.

Глебу помогал Василько, рослый и сильный юноша. Хорошо с Василько и на реке, и в лесу — все он умеет делать ладно, потому как с детских лет приучил его отец и к охоте, и к рыбной ловле, обучая всему, что должен знать княжий ловчий.

Вода взбурлила, рыба отчаянно билась, подпрыгивая и поворачиваясь в воздухе, вспыхивая на солнце серебром. Василько пошел к берегу. Глеб с трудом поспевал за ним, споткнулся, упал, но сеть из рук не выпустил. От холодной воды захватило дух, Глеб охнул и тут же встал на ноги, а Василько не удержался и запустил крепким словцом.

Отроки выходили к берегу быстро. Видя это, Глеб поднатужился и пошел скорее, чтобы из-за

него не ушла рыба.

Вытащили сеть на песок. Глеб опять упал и засмеялся:

— Вот так улов! Ай да Василько! Знал, куда сеть заводить! Поймал 153 рыбы.

Василько удивленно глянул на Глеба, а тот опять засмеялся:

— Лес и реку знаешь, а вот Священное Писание — нет. Потом скажу.

Глеб снял платно, выжал его и повесил сушиться на куст. Капли воды на его молодом, чуть полноватом теле серебрились на солнце. Мокрые, до плеч, волосы висели прядями. На безбородом, гладком лице радостью светились глубокие карие глаза. Роста он был такого же среднего, как и Борис, но не столь силен и крепок. Борису исполнилось двадцать пять лет, Глебу двадцать четыре. Вскормлены одной грудью, вместе учились владеть оружием, вместе постигали книжную премудрость. Глеб любил переписывать на листы пергамента места из книг, которые ему особенно нравились, он мог по памяти читать их, что вызывало восторг у отца и слезы умиления у матери. Характером и лицом он больше походил на мать, и втайне она любила Глеба сильнее, чем Бориса, хотя никогда этого не показывала. Зато он, чувствуя любовь матери, часто ластился к ней, смотрел в глаза и любил трогать ее мягкие волосы, когда она брала его к себе на колени и прижимала к груди. «Ласковый мой», — говорила она в такие минуты.

— Князь, вот ты улыбаешься, а штаны мокрые, — сказал Василько. — Застынешь, и никакой охоты у нас не будет.

Глеб послушался, снял штаны и опоясался полотенцем.

— Когда Иисус в третий раз после Воскресения явился ученикам, Симон Петр ловил рыбу и был наг, как я. Он вот так же опоясался полотенцем и пошел к морю с людьми тащить сеть (а до того они ничего не поймали). Теперь же сеть наполнилась большими рыбами, и их было 153. И при таком множестве сеть не порвалась. Так благовествует евангелист Иоанн, запомни.

Василько любил слушать рассказы князя.

— А дальше что? — спросил он.

— А дальше, когда он обедали, Иисус трижды спросил Петра: «Любишь ли Меня?» И Петр трижды ответил, что любит.

Послышался шорох отодвигаемых ветвей, и из леса на поляну выехали всадники. Это был тысяцкий Сорока (прозванный так за черно-белую бороду) и незнакомый человек в боевых доспехах.

Всадники спешились, поклонились Глебу. Сорока, низкорослый крепыш с отметиной над правой бровью, оставленной скользящим сабельным ударом, сказал, показывая на незнакомца:

— Гонец от твоего отца, князь, с недобрыми вестями.

Веселость как рукой сняло, и Глебу показалось, что он как будто уже знал, что сегодня случится что-то особенное.

— Владимир тяжко болен, поэтому зовет к себе всех сыновей. Борис в походе, но теперь,

наверное, уже возвращается в Киев…

Гонец говорил уверенно, его узкое лицо в мелких морщинах было суровым, взгляд твердым. Но рука то сжимала, то отпускала рукоять меча, и пальцы шевелились беспокойно, как будто существовали отдельно и от уверенного взгляда, и от спокойного голоса, а жили какой-то своей тайной жизнью.

Глеб это заметил.

Ему подумалось, что где-то он уже встречал этого человека, причем встреча была как будто нехорошей, оставив тяжкое чувство. Но что это была за встреча, где она произошла, Глеб вспомнить не мог.

Он взял подсыхающую одежду, ушел в шалаш и быстро вернулся, готовый к дороге.

Сели на коней, и Глеб, встретившись взглядом с гонцом, спросил его:

— Как тебя зовут?

— Горясер.

Имя это ничего не сказало Глебу.

От опушки леса дорога вела к крутому берегу Оки, на котором за бревенчатым забором стоял Муром.

Когда Глеба привезли сюда, город показался ему мрачным и неуютным. Здесь не было, как в Киеве, ни светлого княжьего терема, ни каменного храма. Да и дома выглядели не так, как в родном городе: срубленные из тяжелых мощных бревен, почерневших от дождей и снегов, они стояли прочно, кряжисто, как и лес, окружавший Муром. Но странное дело — чем дольше жил здесь Глеб, тем больше он не только привыкал к самому виду города, но и к укладу жизни, который теперь казался ему куда более разумным и естественным, чем в Киеве. Муромчане растили хлеб, охотились, рыбачили, бортничали, занимались бондарным и столярным делом, и вся их жизнь была устроена так, чтобы трудом добыть себе все необходимое, без той роскоши, пиршеств, боярской похвальбы, какие были в Киеве. Поэтому и тяжб, обид, зависти в Муроме было куда меньше, чем в стольном граде. Видя это, Глеб рано понял, что править здесь надо так, чтобы не мешать самому ходу здешней жизни. Не стал он затевать и постройку нового терема, как того хотел отец, а велел возвести деревянную церковь с колокольней, и славно ее сотворили муромчане.

Глеб решил выезжать завтра же с небольшим отрядом, чтобы побыстрее добраться до Киева. Он приказал готовиться к дороге и стал собираться сам, раздумывая, не найдется ли у него снадобий, каких нет у Анастаса. Сразу вспомнился травяной настой, которым отпаивала его сестра Василько Ива, когда он, охотясь на кабана, провалился под лед. Это произошло ранней зимой. Река уже покрылась льдом, и Глеб, охваченный азартом, побежал за раненым вепрем, чтобы вернуть его к берегу. Внезапно лед треснул, и Глеб ушел под воду. Выбрался он сам, но пока добрался домой, пока отогрелся, хворь уже взяла свое, и ночью началась горячка. Василько позвал Иву. Она поила Глеба целебным настоем, сидела у постели князя, ухаживая за ним до тех пор, пока он не поправился.

— Василько, покличь сестру, — сказал он, выйдя в гридницу. — Пусть снадобье свое принесет. Возьмем и жиру медвежьего, и меду нашего возьмем — он лучше киевского. Ягод еще надо взять — клюквы, брусники. Нет у них такой хорошей ягоды.

Повар Торчин, брюхатый, как беременная женщина, с оплывшим лицом, на котором едва были видны узкие глаза, проходил мимо и слышал слова князя.

— Не волнуйся, князь, все возьмем, — сказал он, улыбаясь. — Гусь возьмем, кабан возьмем — мясо лучше любой ягода!

У него были редкие усы, тощая бороденка. Однажды Глеб случайно увидел, как Торчин зарезал коня. Конь этот, Буланка, захворал и стал чахнуть. Глеб ездил на Буланке, и ему было жаль коня, как человека, и он долго не разрешал убивать его. Зарезать коня решили втайне от Глеба, но он как раз шел мимо конюшни, когда Торчин вывел Буланку за постройку, что-то приговаривая на торкском языке и оглаживая коня широкими толстыми ладонями.

Буланка, почувствовав смертный час, вздернул морду и заржал. Торчин с неожиданной проворностью выхватил узкий нож и снизу ударил коня точно в сердце. Нож блеснул лишь на мгновение, и когда Торчин выдернул его, скаля зубы и щетиня редкие усы, Буланка закачался и стал оседать, а повар проворно подставил под грудь коня бадью, куда полилась темно-красная кровь. Буланка повалился, Торчин насел на морду коня задом, а на передние ноги коня накинул аркан и крепко держал их, следя, чтобы кровь не вылилась мимо бадьи.

Глеб невольно вскрикнул. Торчин оглянулся и, продолжая скалить зубы, сказал:

— Хороший печенка будет, с кровью. Потроха тоже. Понравится тебе, кынязь.

Глеб ничего не ответил и пошел прочь.

Потом не раз он вспоминал, как падает Буланка, а кровь хлещет из его груди.

Глебу тогда было пятнадцать лет, его только что привезли в Муром. Он еще не ходил в походы с отцом, не видел, как умирают люди и кони на поле брани, поэтому смерть Буланки так сильно подействовала на него.

Торчин как будто чувствовал нелюбовь Глеба, поэтому всегда старался угодить, чтобы вызвать расположение, но этим еще больше досаждал молодому князю.

— Скажи, что еще желаешь? — спросил Торчин с потаенной враждой, которую тотчас уловил проницательный Горясер.

Это его свойство очень ценил Святополк, сделавший из обычного гридня сначала постельничего, а потом тайного соглядатая.

— Попотчуй гостя, — сказал Глеб Торчину. — Он с дороги, голоден. А меня прости, Горясер, что теперь не сяду с тобой, забот много.

Глебу хотелось поскорее увидеть Иву — он боялся, что уедет, не повидав ее.

Тревожное состояние не проходило, и он объяснил это беспокойством за жизнь отца. Глебу казалось, что надо взять в дорогу нечто важное, а он никак не может вспомнить, что. Он подошел к деревянному поставцу, сбитому из широких досок, где лежали книги. Евангелие от Иоанна, особенно им любимое, было раскрыто на том месте, где Иисус исцелил слепого от рождения и где говорилось о слепоте фарисеев — Глеб переписывал эту главу.

«Некоторые из фарисеев, бывших с Ним, — прочел он, — сказали Ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что

видите, то грех остается на вас».

«Как это верно, — подумал Глеб. — Не может быть праздный фарисей зрячим, потому что не видит ни мытаря, ни своей лжи».

Дверь отворилась. Он оглянулся и увидел Василию с Ивой. Она была в длинном, до пят, белом платье, перехваченном вокруг талии клетчатой шерстяной тканью. На груди пристегнут медный кружок с привесками — сустуга. Русые волосы, заплетенные в тяжелые косы, придерживались на голове венчиком — узкой медной полоской, которая, как и сустуга, матово отсвечивала. Девушка походила на брата статью, манерой смотреть открыто и прямо, но выражение глаз было совсем иное — в них скрывалось нечто такое, что заставляло думать о том, что она знает больше, чем другие, может быть, какую-то тайну, ведомую только ей.

— Возьми, князь, — сказала она, протягивая Глебу узкий кувшин, залепленный воском. — Давай отцу пить трижды в день, и хворь из него выйдет.

— Спасибо тебе, — оживился Глеб, бережно взяв сосуд. — Грек Анастас учен, а того не знает, что ты знаешь. Я бы тебя с собой в Киев взял, если бы отец верил тебе, как я верю. Не от книг истинное знание дается, хотя и без книг нельзя. Вот я переписывал…

— Князь, время не ждет! — перебил Василько.

Девушке не положено одной оставаться с чужим мужчиной, и Василько, соблюдая порядок, ждал, чтобы князь сам отправил его, хорошо понимая, что Глеб хочет проститься с Ивой наедине.

— Да, я уже собрался… сейчас. Василько, ты подожди сестру во дворе.

Василько вышел, и Глеб, решившись, сказал:

— Тебе одной хочу довериться, ибо мучает меня предчувствие, будто должно случиться что-то тяжкое. Вот пока ждал тебя, подумал: «Может, уже и нет в живых отца!»

Ей захотелось подойти к нему и утешить. Она видела его глаза, полные тревоги и боли. Но нельзя подойти к князю.

— Если не найдешь отца в живых, будь рядом с Борисом.

— На Бориса у меня вся надежда, — оживился Глеб. — Только бы ему вернуться в Киев, прогнав печенегов. А если задержит его поход, Святополк… Ну все, все, не буду, не о том мне надо сейчас с тобой говорить. Помнишь ли, когда птиц ловили, я тебе про деда Святослава рассказывал? Что он женился на ключнице Малуше, помнишь?

— Дед твой был сердцем вольный. А ты поступишь, как отец велит.

— Да, его не ослушаюсь, но только не будет он врагом счастью моему. Лишь бы выздороветь ему! Знаешь, я теперь чувствую свою вину перед ним: вот бы мне раньше к нему поехать! Ведь хотел, да все откладывал. Почему? Живем в заботах о мелком, ничтожном, а главное забываем.

Она хотела отдать ему оберег, но вспомнила, что он носит крест и не верит в других богов, кроме своего. Что ж, пусть Он защитит его, если и вправду такой всесильный.

— Ты жди меня, Ива!

— Прощай, князь. Не забуду я тебя никогда!

Она ушла, а Глеб стоял, задумавшись: «Почему она так сказала? Разве они не увидятся больше?»

Он вложил в Евангелие исписанные листы и застегнул переплет на застежку.

Скоро малая дружина выехала из Мурома. Было их до сорока человек. Впереди скакал Глеб на кауром коне. Изумрудно-зеленое его корзно, застегнутое на правом плече серебряной пряжкой, развевал ветер. За ним ехали гридни в боевых доспехах. Последним скакал повар Торчин, грузно сидя на крупной вороной кобыле. Несмотря на теплый день, он надел кожух, а голову покрыл овчинным треухом.

8

Душно в княжьей палате Ярослава. Чад от горящих свечей не вытягивается в открытые окна — нет даже слабого ветерка. Весь месяц ни разу не пролился дождь, и сушь день ото дня усиливалась.

Блестели от пота лица варягов, жарко было и русичам — князю Ярославу, воеводе Будому, тысяцкому Коснятину. Долгий разговор изнурил всех, и хорошо бы выйти в сени — галерею под навесом, которая опоясывала княжеские покои, и там сидеть и застольничать. Но нельзя, чтобы даже слово из этого разговора слышали чужие уши.

Потому и сидят они взаперти.

На бревенчатых стенах висят оленьи рога, щиты, сработанные лучшими новгородскими мастерами, а больше нет никаких украшений.

Лицо Ярослава вылеплено грубо — крутые скулы, резкий подбородок, не смягченный бородой. Тяжелые густые брови нависли над продолговатыми, почти как у степняка, глазами. Если бы не шелковая рубаха, по оплечью и подолу украшенная бисером, можно было бы принять его за гридня. Еще в детстве Ярослав охромел, и думали, что вырастет из него замухрышка. Однако очень рано выказал Ярослав характер, поэтому отец, когда остыл к Рогнеде, отдал им не какое-нибудь захудалое княжество, а Новгород.

Не любили Ярослава ни мать, взятая силой Владимиром, ни отец, почти не видевший сына. Не было дружбы и со сводным братом Изяславом, который держался гордо и независимо. Изяслав всю свою жизнь вынашивал ненависть к Владимиру, но так и не смог отомстить за убитого отца.

И пестун Будый долго был равнодушен к Ярославу, ни в чем не давая ему поблажек, постоянно внушая, что надо быть злым и твердым, иначе не выжить.

Пришлось Ярославу самому заботиться о себе. Сначала он стал давать отпор Изяславу. Однажды они учились биться на мечах. Неожиданно старший брат начал драться насмерть, и если бы Ярослав не отбился, не поранил Изяславу плечо, давно лежать бы ему в могиле.

Узнав об этом, Владимир приказал Изяславу отправиться в Полоцк, а Рогнеде самой решать, с кем из сыновей оставаться. Она, конечно, уехала с Изяславом, а Ярослав остался с пестуном. Но и после отъезда брата не было ему покоя — теперь соперником стал ярл варяжский Сигурд, который вел себя нагло, считая хозяином Новгорода. Справиться с Сигурдом удалось лишь в то время, когда Ярослав подрос и побывал у шведского конунга (*верховного правителя*) Олафа и

вытребовал нового ярла, Эймунда, молодого рыцаря, ровесника.

Управляться с варягами теперь стало легче, но все равно они чинили беззакония, оскорбляли и били не только ремесленников, но и купеческий люд, при каждой, даже мелкой, ссоре выхватывая мечи. Бывало, ссоры переходили в крупные схватки — новгородцы тоже брались за оружие и давали варягам отпор.

Вот и теперь скрытая вражда новгородцев с варягами, воинами-наемниками, вспыхнула с новой силой, да такой яростной, как никогда прежде.

— Слова сказаны, князь. Не дашь отомстить за пролитую кровь наших братьев — мы уйдем!

Эймунд, не один раз показавший храбрость в ратных делах Ярослава, встал. С кем угодно готов расстаться Ярослав, но не с этим рыцарем.

— Но только запомни: будем отныне не друзья — враги.

На Эймунде была кожаная рубаха без рукавов, короткие штаны, тоже из кожи. Шея высокая и сильная, и гордо носит он голову.

— Подожди, Эймунд, — заторопился Ярослав. — Или ты не знаешь, как дорог мне? Как нам врагами становиться, если не один раз вместе умереть были готовы? Казню я Поромона и других виновников гибели ваших воинов, казню. Но для чего баню кровавую учинять над своими же людьми, пусть и виноватыми?

— За каждого убитого варяга — один русский, — сказал сотник Гунар.

— Двое русских, — поправил его Юзеф, известный своей свирепостью. — Ваши женщины новых народят — у вас их много.

— Опомнись, ты чего говоришь! — не стерпел Будый. — Коли бы ваши насильники не бесчестили наших женщин, разве устроил бы Поромон у себя на дворе побоище вашим вепрям? И ведь сами к Поромону пришли, и пили, точно никогда прежде не пивали медовухи, дойдя до помрачения. И за таких по двое русских давать?

Лицо Будого стало красным, вены на шее набрякли. Был он в суждениях прям и крут, он не умел ловчить. Нелегко было Ярославу подчинить воеводу своей воле, но все же подчинил, потому как Будый признал за князем не только власть, но и ум.

— Наших легла сотня, ваших две ляжет, — повторил Юзеф, с усмешкой глядя на Будого, — Не то приведем дружину, и не останется на земле Новгорода.

— Ты не больно грози! Были и почище тебя, да только где они? — Коснятин вытер пот со лба. — Да и не таков конунг Олаф, чтобы за ваших разбойников мстить. Сами напакостили, сами и получили.

— Может, ты и прав, Коснятин, — сказал Эймунд. — Может, великий Олаф и не пойдет на вас войною. Но месть он нам свершить разрешит. И дочь свою Ингигерду за тебя, Ярослав, не отдаст, ибо если ты не защитил воинов его, как защитишь его родное дитя?

Удар был рассчитан метко — Ярослав любил Ингигерду. Любовь его была безответна, но он верил в счастье, потому что знал — станет Новгород великим, Олаф отдаст ему дочь, потому что хорошо иметь сильного соседа в родстве. Да и богаты земли русские, много можно

получить добра от новгородцев.

Чтобы добиться руки Ингигерды, приходилось подносить богатые дары, содержать дружину варяжскую, платить ей каждый год тысячу гривен. Но где же взять столько денег, если на дань отцу уходит почти весь оброк, который Ярослав собирает с таким трудом? Да еще лето выдалось сухим. Как прокормить и себя, и дружину, если люди новгородские обобраны, нечем им платить своему князю?

В это лето Ярослав решился на самый тяжкий шаг в жизни своей: послал гонца к отцу, сказав, что отказывается от дани. Он знал, что гнев Владимира будет страшен. Так и случилось: уже донесли, что Владимир готовится к походу. Как же тут ссориться с варягами? Между двумя огнями его жизнь — не угадаешь, с какой стороны огонь жарче и гибельней.

— Завтра позову Поромона и всех, кто с ним был, в Ракому, — сказал Ярослав. — Учиню пир. А вы кровью напьетесь, раз вас так мучает жажда. Но только скажи своим воинам: этот пир последний. И если опять ваши станут пакостить, я их в цепи закую и сам у Олафа наказания потребую. А призову сюда тех, кто верой и правдой мне служить будет.

— Князь, — начал было Коснятин, но Ярослав поднял руку.

— Все, ступайте, не могу говорить боле. Рвете вы мне душу.

Гунар и Юзеф не смогли скрыть победных улыбок, а Эймунд остался все таким же сосредоточенно-мрачным.

Варяги вышли из палаты первыми, а Будый задержался в двери.

— Ступай! — Ярослав махнул рукой. — Утром придешь.

Воевода ушел, и тогда Ярослав взялся руками за голову — ему казалось, будто кто-то сдавил обручем лоб и виски. Подождав немного, он пошел в притвор, где стояла кадка с водой, и опустил в нее голову.

Ключница Настя прибежала с полотенцем и горестно смотрела, как Ярослав вытирает голову и грудь и стонет, что-то шепча.

* * *

И собрались купцы новгородские, и ремесленники, и некоторые именитые мужи в загородном княжеском тереме в Ракоме и подняли братины сладкого греческого вина за здоровье Ярослава. Потом отроки налили меда, и опять выпили все — теперь за славный град свой, честь его и славу. Потом вышли скоморохи с бубнами и трещетками и принялись тешить гостей. И когда взвихрилось веселье и гости распустили рукава рубах, которые стали почти вдвое длиннее, когда ноги сами пустились в пляс, Ярослав встал из-за стола, открыл боковую дверь и скрылся за ней.

По обе стороны двери стояли Гунар и Юзеф. Ярослав кивнул им.

Варяги выхватили мечи, передали боевой сигнал мгновенно по всем горницам и переходам, окружавшим сени, где шло пиршество.

Слишком знаком был этот сигнал. Не хотел, но увидел Ярослав и напружиненные перед броском вперед ноги воинов, и блеск широких, обоюдоострых мечей, и блеск глаз. Все увидел,

хотя быстро шел по лестнице к своей опочивальне.

Покладник (*постельничий, спальник*) Юшка встретился на пути.

— Стукнешь, когда все закончится, — сказал Ярослав, плотно закрыв за собой дверь.

Он сел на постель и потер виски, подумав, что сегодня уже ничем не спасется от боли. Долго сидеть он не смог и подошел к окну.

В тяжелом, плотном воздухе, по-вечернему матово-сером, с подпалинами у краев неба, носились, как невидимые страшные птицы, предсмертные стоны и крики.

В сенях, на лестницах валялись тела — одни неподвижные, другие еще живые, в последних корчах. Бойня шла на дворе, куда успели убежать самые проворные из гостей, но варяги настигали их и здесь и резали быстро и ловко.

Отчаянно вопил маленький скоморох в потешном колпаке. В суматохе какой-то варяг ударил его мечом в живот.

Дыхание перехватило. Ярослав кинулся к двери, но на полпути замер, поняв, что ему сейчас нельзя быть там, иначе его тоже могут пронзить мечом, как скомороха.

«Господи, что я наделал! — подумал он. — Нет мне теперь прощения, ни Бог, ни люди не пощадят меня! Пусть скорее придет отец, пусть посадит навечно в поруб, а лучше пусть убьет. Это гордыня моя виновата, я пожелал власти над братьями моими, прах я теперь, а не человек…»

В дверь постучали.

Ярослав пересек опочивальню и прислушался, не сразу вспомнив, что сам наказал Юшке дать знак.

Рядом с покладником стоял Эймунд. Он тяжело дышал, его лицо было белым, как плат.

— Входи, — сказал Ярослав. — Натешился? Доволен?

Эймунд молчал, глядя в сторону.

— Куда их девать будем? — спросил он.

— Не знаю! — крикнул Ярослав.

Его мозги будто плавились, будто растекались в голове, как жидкий свинец.

— Как стемнеет, положим их на телеги и развезем по домам.

— Нет! — опять крикнул Ярослав. — Это еще одно ваше глумление получится. Уложите их рядом, а я сам все новгородцам скажу. Они придут и заберут братьев и мужей своих. Не впервой нашим бабам от горя выть.

— Твоя воля, князь, — Эймунд пошел к двери. — Но только знай, что теперь любой воин мой — твой.

— Да не нужно мне это, — простонал Ярослав. — Юшка, перетяни жгутом голову. Да потуже!

Юшка выполнил просьбу князя.

Эймунд и Юшка ушли, и наступила тишина, в которой отчетливо был слышен чей-то скулеж.

«Это, наверное, скоморох, — подумал Ярослав, — Что же они его не добили?»

— Юшка!

Вместо покладника вошел придверник.

— Покличь Юшку. Куда он пропал?

Придверник вернулся не сразу, втолкнул Юшку, зареванного и жалкого.

— Ты чего? — удивился Ярослав.

Юшка не ответил, продолжая рыдать. Он был сыном боярина Крыжа, отдавшего Ярославу лучших своих коней, чтобы князь взял Юшку в покладники.

Ярослав подошел к худому, нескладному отроку и заглянул ему в глаза.

— Ну что ты? — Ярослав вдруг погладил Юшку по льняным, мягким волосам. — Погоди, еще придет время, не будем мы злую волю выполнять! А наша воля будет добро и правду утверждать!

— Брата Семена зарезали, — Юшка всхлипывал, уткнувшись в плечо Ярослава.

Князь испуганно отстранился.

— Он-то чего сюда пришел? Кто его звал?

— Не знаю, — Юшка вытер слезы и с тоской посмотрел на Ярослава. — Видать, Семен сильно дрался, так они его всего искромсали.

Ярослав опустил голову, ссутулился.

— Не простит мне этого твой отец. А ты-то, Юшка, ты простишь? Ведь ты знаешь, из-за чего резня вышла. Должен я был варягам уступить, потому что отец на меня идет.

Юшка не ответил.

— Сядь, возьми Писание, почитай мне.

Ярослав подошел к постели, лег, закрыв глаза.

Юшка прочел: «Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме».

— Как? Прочти еще…

И тут предсмертный крик пронзил воздух — кто-то из слуг наконец добил скомороха.

9

— Они так поняли, что ты дите малое, — сказал Георгий и задул свечу. — Не знаешь ни жизни,

ни людей.

— Они правы, — отозвался Борис, поправляя овчину, на которой лежал. — Ибо сказано устами апостола: «На дело злое будьте как младенцы, а по уму совершеннолетние будьте».

— Да разве злое дело — в Киев идти? Ты ведь не только от власти отказался.

— Вот и хорошо, что ты все понимаешь. Был ты мне другом верным, а теперь стал братом.

— А ты мне давно брат, — Георгий лежал у входа в шатер. Под рукой — меч. — Но сегодня смутил душу мою.

— Еще не поздно, Георгий. Я только рад буду, если ты уйдешь. В Киеве у тебя братья. Не захотите Святополку служить — к Глебу уйдете.

Георгий вздохнул и повернулся на бок:

— Свое место я давно выбрал. И все же скажи: для чего мы здесь остались?

— Если бы я сел на стол Киевский, какой пример подал? Только пример сильного воинством. Но не в этом сила истинная. Давно сказано: «Кто говорит, что любит Бога, а брата не любит, тот лжец».

— Но ведь Святополк так и говорит.

— И что? Разве я должен уподобляться ему?

— Но и он не уподобится тебе.

— Пусть! — твердо ответил Борис. — Не один Святополк мне брат, и не только ему великим князем быть. Не он, так другие вспомнят обо мне.

Они замолчали, и было слышно, как трещат сверчки и где-то неподалеку ухает филин.

Георгий забывался сном, когда услышал, что Борис встал.

— Куда ты?

— Спи, я выйти хочу.

Георгий откинул полу шатра и подвинулся, пропуская Бориса.

Небо было густо усыпано звездами, от края до края. От круглой луны шел тихий свет, и казалось, что в мире нет ничего, кроме этой ночи с ее чистым сияньем.

Догорали костры, у которых спали слуги. Спали кони, стоя у телег. Сорвалась и помчалась по небу звезда, быстро погаснув в вышине. Ни ветерка, ни резких звуков — только мерное, убаюкивающее стрекотанье кузнечиков. Запахи душистых трав, цветов, запах земли, которая дышала, как живое существо.

Борис смотрел на небо, и покой вливался в его душу.

«Как все дивно сотворено, — думал он. — Какая благодать в мире этом».

Он вспомнил, как они с Глебом однажды возвращались в Киев из Белгорода, куда отец посылал их присмотреть, как строится храм. Ночь застала их в дороге, но они не остановились на ночлег, а решили добираться домой, потому что Киев был уже неподалеку.

Ночь была такой же светлой, как сейчас. Ехали легко и славно, и Глеб, смеясь, рассказывал, как на освящении храма, когда ударил колокол, он чуть было не закричал от радости — такой чудный малиновый раздался звон.

На нем была синяя свита, поверх — такого же цвета корзно с богато изукрашенной застежкой, и она лучилась, точно звезда.

Глеб смеялся, копыта лошадей дробно стучали, и так хорошо было знать, что дом уже рядом, что сейчас их встретят с радостью, и начнутся расспросы, и долгие разговоры, и отец будет слушать их, довольный и умиротворенный.

«Где ты теперь, брат мой? — подумал Борис. — Знаешь ли, что нет в живых отца? Пусть не оробеет душа твоя в горестный час».

Он долго сидел, задумавшись. Ночь истлевала, звезды гасли, даль светлела, рассеивая сумрак. Над полем стлался легкий туман, а у ног Бориса на стеблях трав лежали, как жемчужины, капли росы.

Он сорвал травинку, и капля сорвалась, беззвучно упала на землю, расколовшись на мелкие бусинки. Борис нагнулся, разглядывая их, и его чуткое ухо уловило отдаленный стук копыт. Он приподнялся и посмотрел в ту сторону, куда ушла дружина, но не увидел всадников — даль пряталась в серой утренней дымке.

У шатра его ждал Георгий.

— Едут! — сказал он.

Борис вошел в шатер, зажег свечу, поставил ее перед иконой, опустился на колени и начал молиться.

В это время Путша, скакавший впереди отряда, увидел, что стража Бориса мала числом, и дал знак, чтобы всадники полукольцом охватили становище.

— Руби! — первым крикнул нетерпеливый Тальц и опустил меч на голову стольника, который только что успел вскочить, разбуженный Георгием.

Заспанные и перепуганные слуги бросились кто куда, но мечи и копья настигали их и под телегами, и в кустах, и у погасших кострищ.

Георгий сумел отбить под руку попавшейся дубиной удар Еловита и побежал к шатру. Еловит кинулся за ним, но Георгий успел заскочить в шатер и схватить меч. Еловит ворвался следом, за ним — Лешько с мечом и щитом, в кольчуге и шишаке (*шлеме).* Еще через минуту в шатер вошли Путша и Тальц.

— Знаю, пришли вы за моей жизнью, — сказал Борис, встав с колен. — Дайте помолиться, а потом исполните волю пославшего вас.

— Ладно, молись, — сказал Путша. — Пришел час твой.

— Вымаливай себе Царство Небесное, — ядовито прохрипел Еловит. — А нам со Святополком царство земное дороже.

— О брате моем не можешь говорить, как о себе, — ответил Борис. — Уйдите из шатра, не мешайте молитве!

Наемники послушались.

— Встань рядом, — сказал Борис Георгию. — Откроем Псалтирь. Слушай, вот слова, которые никогда не угаснут: «Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем: меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся». Повтори.

Георгий повторил.

Тальц не выдержал и заглянул в шатер:

— Молятся!

Путша оттолкнул его:

— А то не слышишь! Дай хоть перед Богом предстать без твоей поганой рожи.

— А твоя какая? — озлился Тальц. — Чем моей лучше? Или ты уже сейчас решил, что первым боярином будешь?

— Это не мы с тобой решать будем, а Святополк. Еще посмотрим, как ты с Борисом управишься.

— Я?

— А пошто не ты?

Тальц побледнел, губа его, над которой выгибался дугой рыжий ус, дернулась.

— Лешько у нас самый здоровый, он и приступит, — сказал Тальц. — А мы подмогнем.

— И то верно! — поддержал Еловит.

Лешько понял, что деваться некуда — ему придется резать Бориса.

«Прощай, брат мой Глеб, — молился Борис. — Больше не увидимся в жизни этой. Ты поймешь, почему я так поступил — сердце тебе подскажет, а вера укрепит.

Прощай и ты, брат Святополк. Молюсь за спасение души твоей и прошу Господа простить тебя».

Он начал читать вслух псалом Давидов, и когда закончил его, Путша подтолкнул Лешько к шатру:

— Приступай!

Лешько оглянулся. Широкое, глупое его лицо исказила гримаса. Путша, Тальц и Еловит взялись за копья. Лешько вломился в шатер и пошел на Бориса.

Георгий вскочил, закрыв собой князя, и меч вошел ему в грудь.

Вскрикнув, Георгий стал падать, и Борис, успев подхватить его, опустил на землю. Он не успел выпрямиться, как Путша и Еловит суетливо сунули копья в тело князя, а потом ударил и Тальц. Но и его удар оказался слабым и скользящим.

Борис застонал и выпрямился, и его темные глаза наполнились мукой.

Убийцы отпрянули, держа перед собой окровавленные копья.

— Бей, Лешько! — крикнул Путша, но Лешько стоял как вкопанный.

— Трус! — Путша пошел на Бориса, целя копьем в сердце, но Борис невольно посторонился, и удар пришелся в живот.

Белая рубаха Бориса покрылась кровавыми пятнами. Он стоял, согнувшись и держась руками за живот.

— Что же вы? — хрипло сказал Борис, шагнув вперед. — Заканчивайте… и да будет мир… брату моему… и вам… братья…

— Что? — закричал Путша, и он, вырвав меч у Лешько, бросился на Бориса и вонзил его князю в грудь.

Ноги у Бориса подкосились, и он упал.

Убийцы вышли из шатра. Дружинники стояли тесной кучей, и дюжий дядька, который слышал, что сказал Борис, с неподдельным ужасом смотрел на бояр Святополка.

— Чего уставился? — придя в себя, крикнул Путша. — Тащите его в телегу!

— То пусть слуги твои делают, — ответил дружинник. — Ты нам не говорил, что на такое дело зовешь! — и отошел в сторону.

Путша, сверкнув маслянистыми глазами, замахнулся было мечом, но Еловит остановил его:

— Погоди. Сначала возьмем Борисов доспех.

— И то верно! — Тальц вернулся в шатер, за ним другие бояре.

Не сговариваясь, они подошли к лежащему неподвижно Борису.

— Сдох! — сказал Путша и взял меч Бориса. — А ведь заставит нас Святополк отдать ему оружие это, оно ведь золотом изукрашено!

Лешько подошел к телу Георгия и склонился над ним. Взялся за шейную гривну — золотой обруч, которым Георгий был отмечен за храбрость. Гривна не снималась, голова Георгия дергалась при каждом рывке.

— Не сымается! — Лешько пнул Георгия сапогом. — Придется голову рубить.

— Валяй! — сказал Путша и тут увидел, что губы Бориса как будто приоткрылись.

Путша вздрогнул и пристальнее посмотрел на князя. Однако тот лежал неподвижно.

Лешько, взяв Георгия за длинные волосы, отсек ему голову. Гривна, залитая кровью, упала на землю. Лешько поднял ее и вытер о рубаху Георгия.

— То-то Блуд тебе спасибо скажет! — Тальц, ухвативший золотой подсвечник, выковыривал из него огарок свечи. Повертел в руках икону, бросил ее: — Оказывается, ты мертвым головы рубить мастак.

— Однако я пузо тебе проткну, — сказал Лешько, — и буду смотреть, сколько оттуда желчи выльется!

— Тихо вы! — Путше опять показалось, что губы Бориса шевельнулись. — Зовите слуг!

Он вышел из шатра и тяжело залез на коня. Руки его, держащие повод, тряслись.

Они проехали мимо валяющихся там и сям отроков Бориса и пустили коней, притомившихся за ночь, мерным шагом.

Солнце уже стояло высоко в чистом небе, и день опять обещал быть жарким. Копыта лошадей мяли полевые цветы и травы, скрипели колеса телег, высоко вился жаворонок, пел свою песню. Казалось, ничего не изменилось в мире этом, все было точно так же, когда верхами скакали по этому полю Борис, а рядом с ним Георгий.

Но сейчас они лежали в телегах, истерзанные, а голова Георгия на каждой кочке подпрыгивала, и остекленевшие глаза неподвижно смотрели в небо.

Глаза Бориса были закрыты, тело его билось о края телеги, когда она колыхалась. Наконец сознание вернулось к нему, ибо он еще был жив. Не зарезал его Путша, хотя ударил сильно.

Борис открыл глаза и увидел чистое небо. Тихий стон вырвался из его уст.

«Я не умер, — пронеслось в его сознании. — Господи, помилуй!».

И он снова забылся, не успев понять, где находится.

Слуги бояр Святополка разожгли костры и жарили мясо. Путша снял кольчугу и лег на траву. Он обдумывал, как заставить Лешько поделиться золотой гривной. Молча сидели, не глядя друг на друга, Тальц и Еловит. Лешько клонило ко сну, и он, сбросив доспехи, дремал, дожидаясь трапезы.

«Почему он назвал нас братьями?» — силился понять Еловит. Мысли его ворочались тяжело, не приходилось раньше думать о таком.

Тальц старался забыть о Борисе, но сознание упорно возвращало его к тому, что он совершил вместе с боярами.

«И ведь не просил пощады, — думал Тальц, — Георгий этот… Разве есть у меня хоть кто-нибудь, кто защитил бы собой? Разбойники вокруг… Вон разлегся боров Лешько, и все ему нипочем».

Тальц крепко надеялся, что скоро забудет все, что было утром.

Трапезничали в тягостном молчании. Когда насытились, Путша отрядил двух дружинников в дозор, а остальные повалились спать. Дозорные спали по очереди — и не зря. Когда солнце склонилось ближе к холмам, вдали показались всадники. Их было несколько человек. Путша сразу понял, что это гонцы.

— Не терпится Святополку! — сказал он. — Торопится узнать, как здоровье его братца…

Путша не ошибся — Святополк послал варягов помочь боярам, если понадобится.

— Зря торопились, — сказал Путша, — везем мы Бориса и отрока Георгия готовеньких.

Рослый варяг спешился и подошел к телегам. Увидев отрубленную голову Георгия, он пошел дальше, к телу Бориса. Остановился, приложил ухо к груди князя.

Борис, то впадая в забытье, то возвращаясь к жизни, теперь был в сознании и страдал от сильной боли. Раны его полыхали огнем, и ему казалось, что раскаленное железо снова и снова вонзается в него.

— Кто ты? — прошептал Борис.

— Посланный от Святополка. За тобой.

— Выполни… что тебе… велено…

Путша, Лешько, Тальц и Еловит не верили ни глазам, ни ушам своим.

— Плохая работа, — сказал варяг, обращаясь к боярам. — Или вы не знаете, где сердце у человека?

— Здесь, — внятно сказал Борис и сумел положить руку на грудь, слева.

Варяг отвел руку князя, вытащил нож и коротким ударом оборвал жизнь Бориса…

И было это 24 июля, в воскресенье, в год тысяча пятнадцатый от Рождества Христова…

10

В 24-й день месяца июля, в тот же час, Глеб, спавший на привале, в тени дуба, неожиданно пробудился.

— Что? — спросил он, озираясь и ничего не понимая.

Ему явственно послышался голос Бориса.

Василько спал, приоткрыв рот. Спали дружинники, и только на взгорке, у пасущейся лошади, стоял дозорный с копьем в руке.

Глеб приподнялся и, прислонившись спиной к могучему стволу, огляделся внимательней. Опушка леса, где они расположились на отдых, была освещена солнцем. Тени от деревьев легли на мягкую траву, на кустарник. С металлическим дребезгом пронеслись, сцепившись, две большие стрекозы. Они упали на землю и в ту же секунду прянули в воздух, одна подле другой.

Хлопнул себя по щеке Василько, убив комара.

Глеб окликнул его.

— Ничего не слышал?

— А? — Василько зевнул и почесался.

— Ничего, говорю, не слышал?

— А что?

— Ну ладно. Вот что, Василько. Какой-то незнакомой дорогой мы пошли. Будто мы прежде лесом не добирались к Смоленску.

— Так ведь Горясер сказал, — он опять зевнул, — буреломы непролазные… А по воде от Волги быстрее придем.

— Где ж быстрее? Мы словно нарочно кружим, теряя время.

«Чего бухтит? — подумал Василько. — Все книжки. Что поп, что Глеб. А как начнут спорить, так ничего не разберешь, хоть и по-русски говорят… Князю не книжками, а дружиною и делами хозяйскими надлежит заниматься».

Дозорные ускакали вперед, а дружинники, выстроившись по двое, двинулись вслед за Глебом и Василько. Ехали по угорью, дубравами. Глеб молчал, тревожное чувство не покидало его.

Смеркалось, когда впереди показалась река. Она плавно огибала остров, поросший кустарником, и там, за островом, впадала в Волгу.

Это было устье реки Тьмы.

Солнце скрывалось за дальним лесным берегом Волги, выкрасив воду розовым, а Тьма почернела. На левом ее берегу расположилось селенье. Были видны рыбацкие лачуги, рубленые дома. У деревянных помостов покачивались на воде лодки и челноки.

Глеб обрадовался — самая трудная часть пути была позади.

— Здесь и возьмем ладьи, — сказал Горясер, подъезжая к Глебу. — И хлеба возьмем, и рыбы.

Глеб улыбнулся и направил коня через овраг, решив сократить путь к селенью и поскорее договориться о покупке ладей.

Овраг залег между небольшими холмами и уже потемнел. Конь Глеба внезапно споткнулся и упал, подмяв всадника. Глеб больно ударился о землю, не успев выскочить из седла. Он вскрикнул от острой боли, пытаясь освободить ногу. Подъехал Горясер, быстро помог князю.

К счастью, кость оказалась целой.

Подъехал Василько, спешился.

— Видишь, какой я неловкий! — виновато сказал Глеб. — То под лед угожу, то с коня упаду.

— Это не беда, князь, — Горясер ловко заматывал ногу Глеба жгутом, который он вынул из своей кожаной сумы. — Беда, коли князь умом слаб, так твой отец любит говорить.

— А ты его хорошо знаешь? Я все думаю, что будто мы прежде виделись.

— Как же, я тебя сызмальства помню, — Горясер легко поднял Глеба и усадил поперек седла. — На лебединой-то охоте вместе были…

— Вспомнил! — радостно вскрикнул Глеб, хотя радоваться было нечему, тот случай был тягостным и неизвестно чем мог закончиться.

На шестой день Пасхи, когда пиршество из хором киевских перекинулось в Берестов, Владимир устроил лебединую охоту. Поехали на лесное озеро, и Владимир взял с собой сыновей — на празднике были Святополк, Святослав, Ярослав, Борис и Глеб. Владимир хотел, чтобы собрались все его сыновья, но из далекой Тмутаракани не приехал Мстислав, был болен Вышеслав, сидевший на Волыни, не явился из Полоцка гордый Изяслав. Всеволода, родного брата Ярослава, уже не было в живых, как и Вячеслава, сына княжны Богемской Мальфриды.

Пятеро сыновей, мужи и юноши, радовали Владимира уже одним своим видом. Ему даже казалось странным, что это все его дети — такие разные…

Ехали весенним лесом. Палая листва, подсыхающая от растаявшего снега, заглушала шаг лошадей.

Там, где лес поредел, ловчий Вершок поднял руку и спешился, бесшумно скрывшись за ветками.

Молодая листва пробивалась к свету бойко и весело, и здесь, у озера, кустарник нежно зеленел, освещенный солнцем. Деревья уже налились соком, и первые их листочки трепетали под ветром.

Птицы свистели призывно и радостно, и утро дышало каждой былинкой, каждой капелькой росы, которая сейчас тоже была как живое существо.

Ловчий Вершок выполз из-под куста и воровато махнул рукой.

Владимир и княжичи осторожно пошли вперед, но Вершок, сморщив маленькое лицо, все равно кричал безгласно: «Тише, тише!»

Они вышли, крадучись, на берег озера, и Глеб замер, пораженный.

По темно-синей воде, облитой солнечным серебром, неслышно скользила лебединая стая.

Лебеди медленно двигались у противоположного берега, изгибая длинные шеи и опуская клювы в воду. Они не видели людей, изготовивших луки, которых Вершок умело вывел на взгорок, где кусты жимолости прикрыли стрелков.

От стаи отделился лебедь, более крупный, чем другие, поплыл быстрее, и Вершок, показав на него, кивнул, призывая охотников стрелять в вожака. Важно было убить его первым — тогда добыча будет богатой. Если вожака сразу не подстрелишь, он уведет стаю.

Глеб увидел, что отец и братья готовятся стрелять, и понял, что ему надо делать то же самое. Все его существо протестовало против этого, но он знал, что первую стрелу он должен выпустить вместе с ними и именно в вожака стаи — таков закон княжьей охоты.

Почти не целясь, Глеб выпустил стрелу чуть позже отца и братьев.

Вожак крикнул удивленно и протяжно, забил крыльями по воде и побежал по ней. Стрела, торчавшая у него в боку, не давала лебедю взлететь. Он опять крикнул — как показалось Глебу, негодуя. Ведь крылья не поднимали его в небо.

Лебеди заметались в разные стороны, не понимая, почему вожак кричит, но не взлетает.

Этого как раз и надо было охотникам. Стрелы свистели одна за другой — стреляли теперь не только князья, но и гридни старшей дружины.

Лебеди взлетали в воздух, беспорядочно носясь над озером, не зная, куда лететь. Они растерянно и горько кричали, и Глеб смотрел на них с искаженным от боли лицом.

Отец заметил, что младший сын стоит, опустив лук.

— Ты чего? Стреляй! — приказал он и дождался, когда Глеб натянул тетиву и пустил стрелу.

Он метил выше кричащей, мечущейся стаи и промахнулся.

— Эх! — с досадой сказал Владимир. — Смотри! — и пустил стрелу.

Птица тяжело упала в воду, брызги полетели во все стороны.

Скоро все было кончено: мертвые птицы уродливыми комьями плавали по воде, кровавя ее.

Вершок, быстро орудуя веслом, плыл на челноке к птицам, подбирая их.

Охотники с нетерпением ждали, когда он вернется: каждому хотелось узнать, сколько лебедей он подстрелил и кто самый меткий стрелок — им считался тот, кто убил вожака.

Вершок причалил к берегу, вытащил из челнока мертвого лебедя и на глазах у всех выдернул из него стрелу.

— Чья?

— Моя! — радостно крикнул Святополк, но тут же увидел, что ошибся.

Владимир взял стрелу у Вершка, рассматривая оперение.

— Ну? Чего молчите?

Глеб, стоявший в сторонке, взглянул на стрелу и обмер.

— Моя, — печально сказал он.

— Ай да меньшой! — Владимир засмеялся, хлопнул Глеба по плечу. — А я-то думал, что ты стрелок никчемный. Награду ему!

Тут же подскочил тивунец (*домоправитель*) и поднес Глебу золотую застежку на алой подушечке. Стольник наполнил вином братины, первому подав Глебу.

— Слава князю Глебу! — крикнул Владимир.

— Слава! — откликнулись князья и гридни.

Святополк сделал вид, что крикнул, открыв рот.

Он, считавший себя прекрасным стрелком, оказывается, промахнулся, а этот младенец, который и тетиву-то как следует натянуть не умеет, попал в вожака!

И пока возвращались к загородному дому Владимира, Святополк удумал, как рассчитаться с Глебом.

— Ты такой важный стрелок, Глеб, — сказал он, когда они вернулись к терему. — Я и не знал. А хочешь, докажу, что стреляю лучше тебя?

— И доказывать не надо, — ответил Глеб. — Я в вожака случайно попал.

— А чего ж тогда награду взял? Нет, давай все же поглядим, кто лучше стреляет!

Глеб слушал Святополка, уже догадываясь, что он хочет сделать что-то нехорошее. Но отвязаться от него было не так-то просто.

— Вот я встану у стены, а над головой круг нарисую. И ты в этот круг должен будешь попасть. А потом ты встанешь, я выстрелю. Тогда поглядим, кто из нас меткий и в ком отвага есть.

— Что ты, что ты, брат! Разве можно жизнью играться? — Глеб с удивлением и тревогой смотрел на Святополка.

А тот поигрывал ремешком, закручивая и раскручивая его длинными костистыми пальцами. Тонкие губы его кривила ухмылка, а в холодных серых глазах читались презрение и насмешка.

— Да ты не пугайся, Глеб. Будешь первым стрелять. Идем! — он перестал играть ремешком и взял Глеба за руку.

Глеб вырвался и отпрянул от Святополка. Они стояли у конюшни, куда только что отвели коней.

— Нет, ты пойдешь! — Святополк крепче схватил Глеба и потащил за собой.

Кричать было стыдно, вырваться второй раз не удалось — цепкие пальцы Святополка впились, как клешни, в запястье.

Святополк затащил Глеба за конюшню и толкнул к стене.

— Стой, заморыш, не то прибью! — он нагнулся, взял ком грязи и начертил над головой Глеба неровный круг. — Не двигайся! Я первым буду стрелять, коли ты трусишь.

Он скинул с плеча лук и заложил стрелу, задом отступая от Глеба.

В это время из кладовой, которая была рядом с конюшней, выходил слуга. Увидев, что один княжич целит в другого, он выронил окорок и завопил:

— Убивают!

На крик тут же прибежали стражи, и был среди них Горясер. Он увидел Глеба с бледным лицом, стоявшего у стены, Святополка, который держал лук с заложенной стрелой.

Святополк подошел к слуге и дал ногой под зад:

— Пошел вон, дурак!

Лишь потом повернулся к стражам и сказал, кривясь:

— Мы с Глебом забаву придумали — испытываем, кто метче стреляет.

Стражи переглянулись.

— Ишь ты! — сказал один из них. — А как промашка выйдет? Великому князю про такую забаву сказывали?

— Мы не дети малые! — Святополк уже пришел в себя и злился, что его остановили. — Ступайте, нет тут в вас нужды!

— Не серчай, княжич, — сказал Горясер. — А только на нашем дворе таких забав не видывали. Иди, скажи про то Владимиру.

Святополк вложил стрелу в колчан и произнес:

— Ужо померяемся с тобой меткостью, Глеб, ты не огорчайся!..

— Вспомнил! — повторил Глеб. — Прости меня.

— Да за что же прощать? Я и в прошлый раз по сердцу поступил, и нынче так поступлю.

— Вот, а я плохо о тебе подумал. Это потому, что душа неспокойна, за отца боюсь. Ну а теперь вижу, что друг ты мне. Верно? Не ошибся я?

— Не ошибся, — Горясер выдержал взгляд Глеба, не отвел глаз. — А чтобы ты пуще в том убедился, теперь поскачу вперед, чтобы в Смоленске тебя встретили как положено. Ладьи там добрые возьму — живо в Киев приплывем.

— Надо ли это, Горясер? Ночь скоро.

— Ничего, князь. Хочу тебе услужить. Дорогу я хорошо знаю, ты не волнуйся!

Он сел на коня и поскакал вперед, удаляясь от рыбацкого сельца, куда въезжали уставшие дружинники Глеба.

11

Ночь истлела, а Ярослав так и не заснул. Когда постучали в дверь опочивальни, он сразу встал, будто давно ждал этого.

— Гонец, князь, — сказал Юшка. — От твоей сестры Предславы.

— Зови! — Ярослав зажег новую свечу и, подняв ее над собой, зорко посмотрел на вошедшего гонца, сразу узнав его.

— А, Корень! С чем пожаловал?

— Беда, князь, — ответил щуплый, маленького росточка гонец.

Сколько помнил себя Ярослав, этот Корень все был таким же — ссохшимся, юрким, как бы без возраста человеком. С детства приставила его Рогнеда к Предславе, и не было у нее надежнее человека.

— Даже и не знаю, с чего начать… — Корень покосился на Юшку. — Принеси-ка мне испить

чего- нибудь! — и присел на лавку, хотя князь не разрешал ему этого. — Прости, Ярослав, не держат меня ноги. Скакал как бешеный, а года-то теперь мои какие?

Он успел разглядеть мрачное лицо Ярослава, круги под глазами. Волосы всклокочены, нос как будто сгорбился еще больше, а плечи поникли.

— Видать, не в добрый час я к тебе пожаловал! — Корень повинно опустил голову. — Да нельзя время тянуть, потому как беда не простая, а великая.

Ярослав дохромал до ложа, тяжело опустился, поставив свечу рядом.

— Говори!

Корень рассказал о смерти Владимира, убийстве Бориса. Сказал, что и к Глебу посланы убийцы. Предслава предупреждает, что и к Ярославу могут подослать душегубов. Может и с войском Святополк выступить, потому как ясно теперь — решил он всех братьев перерезать.

— Вот и расплата, — сказал Ярослав. — Бог меня карает за то, что я варягам месть разрешил. Знай, Корень, и у меня тут резня была — выйди во двор, глянь, сколько моих людей лежит. Не успокоились варяги, пока за своих разбойников не рассчитались. Теперь все довольны — напились кровушки! А дальше что? Как я теперь со Святополком биться буду? Кто за меня пойдет? Да что я! Бориса вот жаль, ведь он был лучший из нас. Корень, да что же это творится? Что мы делаем руками своими? Как Бог нас терпит, почему не пошлет на нас дождь огненный? Землю мы осквернили, души растлили… Корень, да ведь мы хуже зверья! А Святополк этот хуже всех! Раздавить его надо, как жабу, иначе он еще не то сотворит! Юшка, ты слышал все. Седлай коня да поскорее скачи к Глебу — опередить надо убийц, посланных Святополком! Все ему скажи, да пусть сюда, в Новгород, идет. Вместе пойдем на Киев, будем мстить за Бориса. Позови воеводу, пусть вече собирает. Упаду в ноги перед народом и покаюсь. Может, простят меня новгородцы… Простят?

Корень жалостливо смотрел на Ярослава. Беспомощно развел руками…

— Юшка, прикажи гонца накормить, да потом спать отведи. Кабы поменяться нам местами, Корень! Зачем я князем уродился?

— То воля Божья, — тихо сказал Корень, выходя из опочивальни Ярослава.

И было вече…

Плотным кольцом окружили новгородцы вечевой помост. Впереди стояли старейшины градские, бояре, дружинники, купцы. Дальше ремесленный люд — плотники, кузнецы, гончары, бондари и сапожники, ладейных да кожевенных дел именитые и безвестные пока мастера. Колыхалось, шумело вечевое поле, ожидая выхода князя и его свиты.

И вот появился он, сильнее, чем обычно, прихрамывающий, с опущенной головой, в синей шелковой рубахе — длинной, до щиколоток, перехваченной в поясе шнурком.

С одной стороны около Ярослава встали варяги — Эймунд, Гунар, Юзеф, с другой русичи — воевода Будый, тысяцкий Коснятин, сотник Лих.

Ярослав подошел к краю помоста и вдруг упал на колени.

Толпа ахнула и притихла.

— Милости вашей прошу, новгородцы! — крикнул Ярослав и поднял голову, и те, кто ближе стояли к помосту, увидели слезы в глазах князя. — Помилуйте и простите, ибо вчера дал варягам волю учинить расправу над отцами вашими и сыновьями, мужьями и братьями! Знаю, тяжко у вас на сердце, горе застит ум и глаза, потому как у самого сердце рвется на части. Режем друг друга хуже зверей — вчера русичи варягов, сегодня варяги русичей.

Жилы вздувались на шее Ярослава, и в хриплом его голосе звучала неподдельная скорбь.

— Знаю, что бесчестили варяги наших женщин, за это и были наказаны. Но почему своей волей, а не княжьей? Не мог я удержать месть их, не мог выгнать из Новгорода — со всех сторон грозят нам враги. И не токмо грозят, но уже и меч обнажили. Каюсь, виновен я перед вами! Но только и вы помните, что без варягов нам теперь никак нельзя! Вот гонец от сестры моей Предславы прискакал и весть принес страшную! Говори, Корень!

Корень знал, что ему придется говорить перед новгородцами, и был он не робкого десятка. И все же сейчас у него захватило дух.

— Братья! — крикнул он что есть мочи, и вышло у него неожиданно громко и зычно.

Крепкий был у него голос, и это удивило и понравилось новгородцам — мал человек, да тверд, значит, духом.

— Братья! — опять крикнул Корень. — Умер великий князь Владимир. И не успели его еще в храме отпеть, как явился из Белгорода поганый князь Святополк и нагло сел на стол Киевский. А Борис, кому Владимир стол завещал, в походе против печенегов был, стоял лагерем на реке Альте. Святополк подослал к нему убийц, и те зарезали его!

Толпа зашумела, задвигалась, раздались крики и брань.

Корень выждал немного, набрал полные легкие воздуха и продолжил:

— Братья! Сестра князя вашего прознала, что Святополк поганый убийц и к Глебу послал, и сюда идти собирается, чтобы вас себе подчинить. Хочет он всех братьев своих перерезать, хочет над всей Русью вознестись! Да не быть тому, ежели вы ополчитесь и с Ярославом вместе будете. Встань, князь, хватит тебе на коленях стоять!

— Встань! — закричала толпа.

— Встану, коли прощаете! — Ярослав медленно поднялся, разогнул спину, вытер ладонью глаза. — Эймунд, подойди. И ты подойди, Будый. Протяните руки друг другу. Обещайте, что только при всем народе будете суд чинить, коли распря выйдет!

Ярослав соединил руки воинов и свою положил сверху под гул одобрения. Чувствуя поддержку, он смотрел теперь смело и прямо:

— Решай, народ новгородский, как нам быть. То ли идти мстить братоубийце, то ли ждать, когда он сюда придет. А коли он вам люб больше, чем я, про то и скажите!

Ярослав отошел от края помоста, уступая место всякому, кто захочет высказаться.

Не мешкая, тут же вышел на помост старейшина Лунь, мастак складно говорить.

— Народ! — сипло крикнул он, задрав бороду. — Простить надо Ярослава! Хоть и учинил он

зло, а все же лучшего князя нам теперь не сыскать. Где другого возьмем? Мстислав далече, аж в Тмутаракани, Глеб юн, а Святослав духом слаб. Или Олафу пойдем кланяться? Или Святополка — убийцу — призовем?

Толпа возмущенно зашумела, закричала, и Лунь дал ей выплеснуть то, что думала она и о братьях Ярослава, и о варягах. Потом поднял длинную костистую руку, властную и сильную:

— То-то! Ярослав хоть и обидел нас крепко, но на колени встал! А кто из других князей свою вину перед народом признавал? Никто! Ярослава мы знаем, а тех? Он хоть и хромец на ногу, да зато душою тверд и прям! Не надо нам другого князя!

— Верно!

— Не надо другого!

— Ярослава!

Лунь величаво сошел с помоста, и теперь говорить стал воевода Будый, призывая сегодня же ополчиться. Ибо Святополк может призвать к себе поляков от тестя своего, короля Болеслава. Может покликать и печенегов! Надобно не дать ему силу собрать.

— Опять биться идти! — раздалось в толпе. — Пока друг дружку не перебьем, не утешимся.

— А то! Брат на брата идет.

— Да какой он нашему Ярославу брат?

— Сводный, а все же брат.

— А нам куда деваться?

— Под подол к бабе.

— Нет, все же с Ярославом лучше!

— Вот-вот. Что киевлянин тебе брюхо проткнет, что варяг. Большая разница…

— Все ж и за Новгород постоять надо.

— Тихо вы, Ярослав говорить будет!

— Братья! — крикнул Ярослав. — Что простили вы меня, то я до смерти не забуду. В том клянусь вам. А что Святополка одолеем, в то верую! Не бывать на земле Русской царю ироду!

— Не бывать! — тысячеголосый крик несся по Новгороду, ударяясь в сердца, предвещая бой, страшный и кровавый.

12

Река круто поворачивала, текла быстро, говорливо, и ладьи плыли без особых усилий гребцов. Василько умело правил, так, чтобы ладья двигалась по самой стремнине, указывая путь двум другим, плывшим позади.

За поворотом река, словно устав от долгого бега, успокаивалась, отдавая свои воды Днепру. Он

разливался широко и свободно, волны мягко перекатывались, бежали к зеленым берегам.

— Днепр! — лицо Глеба осветила радостная улыбка. — Здравствуй, родной! — и сам, смутившись, виновато посмотрел на Василько — У каждого своя река есть, правда? Которую более всего любишь. Где вырос.

Василько был раздет до пояса. Мышцы его бугрились, когда он налегал на весло, лицо было сосредоточенным и серьезным. Он прикидывал, долго ли еще плыть до Смоленска, найдет ли Горясер хорошие ладьи, как обещал. По Днепру плыть — не то что по Оке или Тьме. Тут простор, а если ветер налетит, волны могут подняться не шутейные.

— По Днепру можно до греков доплыть, Царьград поглядеть, — сказал Глеб.

— Зачем?

— Вот те раз. Ах, Василько… А вот ты думал, сколь велика земля? Где ей конец и кто его видел?

— Не моего ума это дело. Мне б теперь не Царьград, а Смоленск поскорее увидеть.

— Теперь недалеко, — сказал отрок, сидевший рядом с Глебом. — Я тут бывал, на торг приезжали. Товары греческие, немецкие, а у одного купца даже этот был… Ну такой, как пыль, серый… мясу вкус придает.

— Перец, — подсказал Глеб. — Бывает не только серый, но и красный. Отец его любит, — и Глеб вздохнул.

На правом берегу показалось несколько всадников. Они размахивали руками и что-то кричали.

— Глядите, нам машут! — встрепенувшись, сказал Глеб.

Василько направил ладью к берегу. Всадники спешились, один из них, худощавый, юный, подошел к самой воде.

— Нет ли средь вас князя Глеба? — крикнул он.

Одежда, меч на поясе говорили о том, что это отрок княжеский.

— Тебе зачем? — Василько встал во весь рост и рассматривал незнакомца.

— От князя Ярослава послан, — ответил Юшка, поняв, что юноша в шелковой свите, сидевший в середине ладьи, князь Глеб. Юшка поклонился: — Брат Ярослав тебе привет шлет. Прикажешь прилюдно говорить или одному?

Глеб встал и хотел сойти на берег, но вскрикнул и схватился за плечо отрока, чтобы не упасть.

— Ногу намял, — он морщился от боли. — Подойди!

Отрок встал и уступил Юшке место. Тот сел подле Глеба.

Лицо у Юшки бледное, глаза красные от бессонницы и усталости. Длинные льняные волосы висели сосульками.

Глеб понял, что гонец сейчас скажет что-то нехорошее, тяжелое, и лучше бы все выслушать одному. Но куда деться, если нога болит, не дает даже шага сделать? Или отправить всех на

берег?

Пока Глеб раздумывал, Юшка тоже решал, с чего начать — известий было слишком много.

— Отец твой умер, — сказал Юшка. — Стол великокняжеский Святополк захватил. Послал твоего брата Бориса убить и тебя тоже. Князь Ярослав о том от сестры Предславы узнал.

— Борис разве не в Киеве? — спросил Глеб.

— Он в походе был, искал печенегов у Альты-реки. Там его убийцы, посланные Святополком, и нашли.

Мимо летела чайка, низко опускаясь над водой и высматривая добычу. Она кричала хрипло и протяжно, и Глеб невольно посмотрел в ее сторону.

— Ярослав теперь вышел с новгородцами на Святополка, а мне наказал тебя найти и к нему привести. Ибо ищут тебя убийцы Святополка, и, кроме Ярослава, никто тебя не защитит.

Две ладьи, что плыли следом за княжеской, уже стояли рядом, и дружинники слышали все, что сказал Юшка.

Тягостное молчание нарушал лишь крик чайки, которая беспокойно носилась над водой.

— Погоди, не напутал ли ты чего? — Василько перебрался ближе к Юшке, чтобы лучше его видеть. — Как могли Бориса убить, коли с ним была дружина? Разве он малой силой на печенега пошел? А богатыри? Они-то где были? А воевода Блуд? Нет, малый, чего-то ты не то сказал, сам-то ты не от Святополка ли послан?

Василько выхватил у Юшки меч и приставил его к горлу гонца.

— Говори!

Голова Юшки откинулась, но страха в глазах не появилось.

— Не балуй! — сипло сказал он. — А что от Ярослава я послан, на то у меня грамота есть, — и он достал из-за пазухи свернутую трубочкой бересту.

Глеб прочел послание брата и понял, что ужасные слова гонца правдивы. К худшему готовил себя, предполагая, что отец умер. Но что теперь нет и Бориса, что он зарезан, точно овца, без вины, без открытого честного боя хотя бы, это ум никак не вмещал.

— И небеса не рухнули, и дождь огненный не пролился! — Глеб горестно озирался. — Я знал, что Святополк в душе злодей, он однажды ворону подбитую убивал, по глазам ее прутом стегал…

— Погоди, князь, — Василько опустил меч. — Почему Бориса никто не защитил?

— Потому что он сам дружину в Киев отправил. Сам объявил, что старший в роду должен Русью править. И остался на Альте решения Святополка ждать.

— Да он рехнулся! — Василько отдал меч Юшке. — Хотя бы с дружиной в Киев пришел, там свою волю объявил.

Юшка молчал, глаза его закрывались от усталости. Молчал и Глеб, подавленный и

растерянный. Что теперь делать? Куда идти? Да и как жить дальше?

Решение принял Василько, приказав остановиться на привал.

Едва расположились, как Юшка заснул — всю ночь он караулил ладьи Глеба, правильно рассчитав, что проплыть они должны как раз в этом месте. Так его наставлял Коснятин, хорошо знающий здешние пути-дороги.

Глебу казалось, что гонец многое не рассказал — может быть, самое главное. Но разбудить его Глеб не решился.

«Господи, помоги мне! — воззвал Глеб. — Наставь, скажи, зачем злодейство содеяно и почему Борис пошел на смерть? Не мог он верить Святополку, ибо знал, что подл он и жесток, и нельзя ждать от него добра. Что хотел сказать Борис смертью своей?»

— Князь, что решил? — Василько снял жгут с ноги Глеба и осмотрел ушиб — синий, с красными подтеками. — Могут нас в Смоленске поджидать. Не лучше ли домой вернуться, собрать дружину и тогда выступить? Где травы, что тебе Ива дала?

— Петр знает. Не пойдем мы в Муром, Василько. Найдем дружину Ярослава.

— А коли наемников Святополка встретим? — спросил Василько.

Он окликнул отрока Петра. Тот принес снадобье, и Василько натер им ногу Глеба.

— Одну ладью назад пошлем. Пусть ополчатся и выступают. А нам с Ярославом надо быть.

Василько закончил перевязку и сел на траву.

— Ярослав воин. Знает, что в дружине сила. А вот брат твой Борис не мог взять в толк, что только силой власть держится. Хотя умом не был обижен… Забыл, видно, что дед ваш, Святослав, тем и велик был, что дружину имел бесстрашную. А Владимир? Что ему дороже дружины было? Ничего он для нее не жалел, и она жизни для него не жалела. Помнил бы об этом Борис, был бы сейчас в здравии и славе.

— Борис не мог этого забыть. Выходит, другая у него дума была.

— Какая же?

В этот момент, согнувшись, к ним подошел повар Торчин, держа на острие ножа кусок зажаренной оленины.

— Бери, князь! — сказал он, протягивая Глебу мясо, и тому пришлось снять оленину с ножа.

Нож был широким, обоюдоострым, тщательно и любовно отточенным.

— Нравится? — Торчин оскалился. — Бери, хороший нож!

— Зачем он мне… такой.

— Нож всегда нужный, — он перехватил взгляд Василько, — тебе тоже принесу мясо, Василек.

— Неси, рассиживаться-то нечего!

Солнце стояло высоко в небе, когда ладьи вновь поплыли по Днепру. Две — к Смоленску, а одна назад, к Мурому.

Река, тихая и спокойная сейчас, забылась коротким сном. Она была чиста и светла, и сколько видел глаз, ни одной морщинки не было на ее залитой солнцем глади.

«Как тихо, — подумал Глеб, — точно Христос тут прошел, все успокоив. Где ты теперь, Борис? Ответь мне! Ты смирением хотел победить? Но кто поймет это? Все бросили тебя, даже верные богатыри… Разве не знали они, что обнажат мечи убийцы? Всегда найдется Пилат и его подручные… Или ты верил, что потом опомнятся, потом поймут, что слабость сильнее силы?»

И Глебу вспомнилось: *Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.*

Последние слова он тихо произнес вслух, и Юшка, сидевший впереди Глеба, оглянулся.

Глеб увидел усталые, печальные глаза юноши, понял, что у гонца на сердце горе.

— Я святого евангелиста Матфея вспомнил, — сказал Глеб. — Читал ты его?

— Как же! Князь Ярослав до книг охоч.

— А помнишь ли, как Иисус пошел по морю, как посуху?

— Помню.

— А как Петр тоже хотел идти по воде, увидев Иисуса?

— И не смог, стал тонуть, — ответил Юшка.

— А почему?

— Потому что усомнился.

— Так. А ты? Веришь ли, что по заслугам воздастся и праведнику, и убийце?

Никто не задавал такого вопроса Юшке, и он задумался.

— Ты не отвечай теперь, — сказал Глеб. — И у меня, и у тебя горе. Видно, без него никак не обойтись на Руси.

Юшка отвернулся, потому что к глазам подступили слезы. Он посмотрел вперед, и вовремя: надо было держать правее, где речка Смядынь впадала в Днепр, и по ней плыть к Смоленску, который должен был вот-вот показаться.

Юшка сказал об этом Василько, и когда они вошли в Смядынь, увидели ладьи под парусами, которые, казалось, поджидали их. Там, на берегу, видны были стены крепости Смоленска, княжий терем, дома, разбросанные по откосам.

Ветра по-прежнему не было, паруса висели неподвижно, и гребцы взялись за весла. Носы парусных ладей были похожи на неведомых птиц — их раскрашенные деревянные головы на длинных шеях выдвигались вперед. Бока щетинились веслами, которые дружно поднимались и опускались, как крылья.

На передней ладье стоял человек, и Глеб узнал в нем Горясера.

— Наши! — радостно крикнул Глеб. — Видишь, Василько, это же Горясер!

— Удалец, ладные ладьи добыл!

Горясер, увидев Глеба, махнул рукой, и его ладьи стали разворачиваться полукольцом. Гребцы убрали весла и встали по бортам. Разом прикрылись они червленными щитами и выставили копья. Горясер выхватил из ножен меч и поднял его острием вперед.

Все это произошло так внезапно, что никто из Глебовых дружинников не успел изготовиться к бою. Парусные ладьи стали к Глебовым борт в борт, и Горясер прыгнул вперед, ударив мечом первого попавшегося под руку муромчанина.

— Стойте! — закричал Глеб. — Стойте, не бейте невинных!

Но не вняли его словам наемники Горясера, разили копьями и мечами всех, кто оборонялся, кто прыгал в воду, пытаясь спастись вплавь.

Василько отбивался как мог — мечом, ногами. Рядом бился Юшка, еще двое отроков, защищавших Глеба.

Быстро все закончилось — окровавились ладьи и вода, на поверхности покачивались мертвые тела дружинников Глеба.

Горясер, жарко дыша, стоял перед Глебом с окровавленным мечом.

— Отойди! — сказал ему Глеб. — Ведь на тебе крест. Неужто не дашь помолиться?

— Пусть они мечи бросят! — приказал Горясер.

Отроки Глеба и Юшка бросили мечи, а Василько кинулся вперед, сбил головой наемника и прыгнул в воду. Он поднырнул под ладью и довольно долго не показывался на поверхности — хорошо нырять Василько выучился еще с детства.

— Не уйдет, поганый, — сказал Горясер и испуганно дернулся, почувствовав, что кто-то схватил его за сапог.

Снизу на него смотрел повар Торчин, подобострастно осклабившись.

— Помогу тебе! — Торчин прижался к ноге Горясера. — Хорошо резать могу, никто лучше меня не зарежет князя.

— Отцепись! — Горясер отшвырнул Торчина, но убивать его не стал. Приказал: — Догоните беглеца и прибейте!

— Так его на берегу изловят. Куда он денется? — наемники были заняты, собирая поживу, перегружая ее на свои ладьи.

«Помогай тебе Бог, Василько!»— подумал Глеб. Он приподнялся, поддерживая больную ногу, встал на колени, повернувшись так, чтобы не видеть убийц.

Князь обратился к Богу в предсмертной молитве: «Господи, да избавятся от вечных мук и любимый отец мой, и мать моя, и брат Борис, наставник юности моей, и ты, брат и друг

Ярослав, и ты, брат и враг Святополк, и все вы, братья и дружина, пусть все спасутся! Уж не увижу вас в жизни сей, ибо разлучают меня с вами насильно. Увы мне, увы мне! Ты, Борис, услышь глас мой! Понял я, почему принял ты смерть, и силою твоего духа сейчас укрепляюсь. Не хочу умирать, но куда деться от убийц? Только началась жизнь моя, а уже прерывают ее, не дав свершить дел праведных, к которым готовился я. Одной смертью могу послужить Тебе, Господи, вам, братья мои и дружина…»

Он услышал, что Юшка плачет, повернулся к нему и обнял:

— Прости!

И видя, что Юшка не успокаивается, обратился к Горясеру:

— Его не убивайте, что вам его смерть? Не мой он отрок, Ярослава.

— А! Так вот кто от нас хотел ускользнуть! Как его отпускать, если донесет он на нас? Нет, Глеб, всем вам — и Ярославу-хромцу тоже — конец пришел!

— Думаешь, Горясер, в тайне останется ваше злодейство? Нет, и предательство твое, и что руки у тебя теперь навеки в крови невинных, — все тебе зачтется! Ибо сказано не мною, а Иисусом Христом: *земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе…*

— Торчин! — крикнул Горясер. — А ну, покажи свое умение! Хватит нам пустые речи слушать!

Торчин на четвереньках стал подбираться к Глебу. Подобравшись, кинулся на него, повалив. Выхватив свой широкий нож, Торчин сунул его прямо в сердце Глебу и навалился так, что нож вошел в тело по самую рукоять. Торчин помедлил, поворачивая нож, а потом дернул его на себя, резко отпрянув от Глеба.

Юшка отчаянно закричал, вскочив на ноги. Наемники пронзили его копьями, опрокинув на дно ладьи.

Горясер видел, что Глеб лежит неподвижно. Его поразило, что крови из князя вышло совсем немного.

— Ударь еще! — приказал он.

Торчин вытер нож о рубаху Глеба и засунул его за пояс.

— Торчин плохо не бьет. Торчин знает, как резать, чтобы кровь не брызгать. Мертвый князь не будет теперь на меня обижаться.

Наемники сели за весла и направили ладьи к берегу.

Горясер решал, куда отвезти тело Глеба — то ли к Святополку, то ли оставить здесь.

— Где беглец? — спросил он своих пособников, что оставались на берегу.

Они недоуменно переглянулись.

— Никого не видели.

— Куда же он делся?

— Утоп, наверное. Давай поспешать, Горясер!

Тело Глеба бросили на берег, между колодами, сорвали крест, сняли сапоги.

— Оставим его тут! — решил Горясер. — Протухнет он по дороге, путь у нас неблизкий.

Он дал обещанные гривны наемникам, оставил им и поживу.

Оседлав приготовленных коней, Горясер и его киевские пособники поскакали прочь, а наемники — смоляне — принялись делить добычу.

Уже наступил вечер, небо пепельно потемнело. Две крупные звезды засветились в небе, но убийцы не видели их — они шли к городу, и каждый прикидывал, не меньше ли ему досталось добычи, чем другим.

И было это 5 сентября, в понедельник, в год тысяча пятнадцатый от Рождества Христова.

13

Дружина Ярослава шла тем же путем, каким шел Борис на печенегов. Святополк бежал на этот раз за помощью не к тестю, королю польскому Болеславу, а к степнякам. Ополчившись, он должен был находиться с дружиной в тех же местах, где Борис искал печенегов.

Четыре года прошло с той поры, четырежды сходились дружины Ярослава и Святополка — дважды побеждал Ярослав, дважды Святополк. Последний раз верх был за Ярославом, но Святополк убежал к печенегам — только у них он теперь мог найти поддержку.

Впереди, верхами, двигалась старшая дружина Ярослава. Рядом с князем можно было увидеть воеводу Будого, Кожемяку, давно ушедшего от Святополка, Эймунда. Не было среди богатырей Александра — он служил Мстиславу в Тмутаракани. Его место занял Василько.

Следом за конными шла тысяча варягов, для которых Ярослав, женившийся на Ингигерде, стал конунгом.

Варягов вели Гунар и Юзеф. Теперь они имели свои дворы в Новгороде — русский город стал для них второй родиной.

За варягами шла дружина новгородская. Если варяги были мечниками, то новгородцы в большинстве бились топорами, имели сотни лучников и копейщиков. Дружину новгородскую вел Коснятин, сын Добрыни.

Войско Ярослава замыкал обоз со множеством телег на скрипучих деревянных колесах, с гуртом овец.

Все это лязгало, скрежетало, скрипело, блеяло, двигаясь по полям и холмам, лесным дорогам, и прятались в чащах звери, улетали птицы, и только воронье не боялось кружиться около людей.

Войско Святополка в это же время двигалось из степи, столь же многолюдное и шумное.

Святополк изменился — лицо оплыло, щеки отекли, от постоянного пьянства набрякли под глазами мешки. Взгляд стал холоден и неподвижен — он умел смотреть долго и не моргая и любил, когда собеседники опускали глаза. Даже король Болеслав, прозванный Храбрым, дивился этой особенности зятя и, бывало, злился на себя, что иногда говорил не то, что хотел,

теряясь от хитрых вопросов и этого немигающего взгляда Святополка.

Подле Святополка скакали хан печенежский Ярык, Блуд, Путша, чуть позади Тальц, Еловит и Лешько.

Старшая дружина Святополка была все еще многочисленна — киевляне служили ему: кто из-за щедрых даров, кто-то из страха, кто-то просто потому, что не хотел бросать дом. Пеший полк киевский сильно уступал новгородскому, потому что простой люд или разбежался, или был повыбит.

Зато конное войско Ярык привел великое — Святополк наобещал за победу столь богатую поживу, что не устояли перед соблазном печенеги. Ярык знал, что за голову Ярослава Святополк ничего не пожалеет, поэтому уговорил идти за добычей самых храбрых воинов, которые кочевали со своими племенами сами по себе, нападая на Русь в одиночку.

Так, видно, было назначено самой судьбой, что сошлись дружины на Альте, как раз в том месте, где был убит Борис.

Кожемяка узнал окрестность и сказал об этом Ярославу.

Будто огонь вспыхнул в сердце Ярослава.

— Здесь и будем биться! — сказал он. — Сам Бог привел нас сюда.

— Что ж, место подходящее, — Будый оглядывал приречную долину. — На левом крыле Коснятин встанет, на правом — Василько. А мы с Эймундом в чело станем, будем менять друг друга — сеча долгой получится. Так ли, Ярослав?

Ярослав согласился.

— Пустим их на нашу сторону. Дадим их коннице увязнуть в середке, а потом в клещи возьмем с боков.

— Побьем мы их, князь! — сказал Коснятин. — Кто теперь не знает, что пока не одолеем Святополка, не быть миру на Русской земле!

Воевода, тысяцкие, сотские и десятские стали располагать воинов в порядки, каждому определяя место для боя. Впереди ставили частокол, за ним рыли ямы, куда надлежало заманить быструю конницу печенегов. Рядами расставили возы, за ними, на холме, раскинули княжеский шатер.

Ярослав, чувствуя усталость и голод, хотел было приказать собирать трапезу, как увидел, что на левом берегу Альты показались конники передовых сотен Святополка.

Они выкатывались из-за холмов волнами, шевелящимися пятнами покрывая пространство. И чем ближе приближались к реке, тем чернее становился берег.

— Сколько же их, поганых, — в сердцах сказал Будый. — Откуда только берутся!

— Степь широка, — Ярослав по красному корзно различил среди печенегов Святополка. — Но дружина не числом сильна, а духом.

— Так, князь. Но коли прорвут они наше чело, пропали мы.

— Гляди, пестун. Долина не так широка, чтобы им развернуться. Мы ее перекроем от леса до леса, и тогда всем войском им разом на нас не напасть. Сумеем их отбросить раз-другой, а задние сами побегут.

По левому берегу реки уже разъезжали печенеги, гикая и свистя. Поили лошадей, посматривая на правый берег, и уже выискались охотники позубоскалить и с той, и с другой стороны.

В каждой дружине были такие забавники, и бывало, что издевки доводили до бешенства неприятелей. Тучный король Болеслав на Буге рубился с особой яростью еще и потому, что смеялись новгородцы над его полнотой обидно и язвительно.

Вот и сейчас выехал к реке киевский брехун Линька, потешавший еще князя Владимира.

— Эй, голь новгородская! — крикнул он, приподнимаясь на стременах. — А где ваш хромец? Или у него теперь обе ноги кривые, и вы его на носилках таскаете?

Новгородец Пенек, тот, что взбесил Болеслава, казалось, только и ждал начала перепалки.

— Наш хромец, зато удалец. Голова ясная, а рука твердая. А ваш-то с перепоя проспался ли? Сколько вчера бочек в себя влил?

Новгородцы и варяги громко засмеялись — пагубная страсть Святополка к вину была всем известна. Если раньше он сдерживался, то теперь редкий день не напивался. Даже перед битвой у Любеча был пьян, и только по случайности Ярослав не взял его тогда в плен.

— Сегодня пьян — не велик изъян. Не пить — так на свете не жить, — отозвался Линька, ничуть не оробев. — У нас медовуха, а у вас вша на веревочке. Ты с чем сюда пришел — с топором? Вот мы вас, плотников, заставим нам дома строить!

Теперь радостно захохотали киевляне и печенеги — у Пенька за поясом был топор, и новгородцы были на Руси известны как лучшие плотники.

— Ужо поглядим, как завтра ты мой топор отобьешь, — разъярился пожилой новгородец, стоявший подле Пенька, но тот его остановил, зная, что в поединке на словах не ругань побеждает.

— Верно, брехун Линька. Кабы у тебя не дырка во рту, так жить бы тебе в хлеву. Мы плотники, а ты скребок: все объедки подбираешь — лишь бы жрать да дурака валять. Нашему уроду все в угоду!

Новгородцы воспрянули, засмеялись, а половцы схватились за луки — стрелой тут можно было достать соперника. Но киевляне стрелять не позволили — бой на словах нельзя портить выстрелами. Киевляне вытолкнули вперед мужичонку Вершка, который прежде скоморошествовал. Он задрал рубаху, почесал пузо и, показывая на Пенька, крикнул:

— На него бес лапти три года плел. И то угодить не мог. А я вот тебе угожу, свою куму покажу!

Он приспустил порты, встал на руки и прошелся, всем показывая разрисованный углем голый зад.

Покатились со смеху киевляне, половцы и новгородцы с варягами тоже смеялись. И как-то забылось, что надо им идти друг на друга, убивать, что завтра мало кто останется в живых…

— Молодец, Вершок, айда к нам! Вот тебе не жалко дом поставить! — крикнул Пенек. — Меня Пенек звать, а ты Вершок, вот и будем вместе: ерш в ухе, а лещ в пироге.

Вершок подтянул порты, улыбнулся растерянно…

Тут выехал нахвальник — богатырь, вызывающий на поединок.

Это был Атрак — печенег громадного роста.

— Ну, кто против меня выйдет?

Враз переменилось у всех настроение, с недовольством и даже со злобою поглядели воины на верзилу Атрака, сидевшего на могучем коне.

— Ты что же думаешь, что сильнее тебя нету? — Кожемяка выехал вперед, внимательно рассматривая Атрака, о котором многое слышал. — Во брюхо распустил! В нем, что ль, твоя сила?

— В нем! — подхватил Пенек. — Гляди, зашибет он тебя пупком!

Рассмеялись все, даже киевляне, а Атрак сморщился и плюнул.

— Копьем биться буду! Мечом буду! Зарежу, как свинью!

— Это еще поглядим, — ответил Кожемяка. — Выходи на заре в поле, а Бог нас рассудит! — он направил коня к лагерю, вслед за ним пошли новгородцы и варяги.

Славу богатыря Кожемяка стяжал еще в молодости. Вот также выехал печенег-нахвальник, и некого было выставить против него Владимиру. Тут подошел к нему старик-кожевенник и говорит: «Князь, есть у меня меньшой сын. Намедни бык разъярился, крушил все на дворе. Так мой сынок выскочил, поймал быка за бок, да как рванет — выдрал ему кусок мяса вместе с кожей». — «Зови своего сына!» — сказал Владимир. Вышел он против печенега и одолел его. С той поры стал он служить у Владимира…

Наступила ночь, но не спали ни Ярослав, ни Святополк. Оба понимали, что на заре будет решена участь каждого.

Рассвело в урочный час, и когда показалось в небе солнце, от края до края перегородила поле червленными щитами дружина Ярослава. Он выехал вперед и крикнул:

— Братья! Настал наш час!

В каждой сотне был дружинник, который повторял слова князя, — так они передавались по всему войску, от края до края.

— Мы одолеем сегодня, потому что правда и Бог — с нами! Здесь убийцы Святополка зарезали Бориса, здесь мы и отомстим окаянному. Не дадим на поругание землю Русскую, ибо ее мы защищаем от грабителей!

Он помолчал, а потом крикнул:

— Кровь невинного брата моего вопиет к Всевышнему!

Он воздел руки к небу, и многие увидели слезы в его глазах.

Выехал вперед Кожемяка. Он был в шеломе (*шлеме*), в кольчуге, правая рука сжимала копье.

Из конных рядов печенегов, стоявших на противоположном конце долины, отделился Атрак. Тяжелый его конь, покрытый кожаной попоной, медленно пошел вперед. Богатыри сближались, кони их захрапели, почуяв опасность.

Копья гулко ударились о щиты, оба всадника вылетели из седел.

Кожемяка поднялся первым — не было в нем тучности и неповоротливости Атрака. И он был массивный, да только скорый и проворный, как медведь в минуту опасности.

Он прыгнул на печенега, схватил и поднял его над собой, как, бывало, ради забавы поднимал годовалых бычков.

Собрал все силы и ударил печенега о землю. И испустил дух Атрак.

Кожемяка поймал своего коня, сел в седло и выхватил меч.

Могучим единым криком огласилась долина — это кричала дружина Ярослава, приветствуя своего богатыря.

И Ярослав кричал, и вытянув меч вперед, дал коннице знак наступать.

Вытянул меч вперед и Святополк, а хан Ярык крикнул гортанно:

— Ур-рах!

Конники сшиблись в середине долины, и зазвенели, залязгали мечи, ударяясь о щиты, шеломы, и раздались первые предсмертные крики.

Ярослав знал, что не в коннице его сила, но надо было сбить первый порыв печенегов. Надо было дать волю и воодушевлению дружины, вызванной победой Кожемяки.

Знал Ярослав и то, что почти все конники полягут теперь, но дешево свою жизнь не отдадут — возьмут с собой лучших воинов Ярыка и Святополка.

Так оно и случилось.

Когда печенеги стали одолевать, Ярослав приказал трубить отход.

Святополк видел, что новгородцы и варяги отступают, но слишком был искушен, чтобы в этом увидеть свою победу.

Ярык хотел бросить вперед новые сотни, но Святополк остановил его:

— Погоди, хитрит Ярослав, не зря отступает.

— Э, князь, не учи меня биться! Пеших посечем, как траву, нельзя теперь ждать. Мы сильны, когда на конях сидим! — и отдал приказ наступать.

Печенеги помчались вперед, и когда несколько саженей оставалось до дружины Ярослава, засвистели стрелы, а передний ряд новгородцев разом отступил за частокол.

Кони с разбега ударились о колья, полетели в ямы- ловушки. Об упавших спотыкались задние

конники, падали, калечась и погибая.

Живая лавина оказалась поверженной.

— Так и знал, что он какую-нибудь пакость приготовил, — сказал Святополк.

Ярык не мог поверить, что с лучшими его воинами покончено. Но по долине беспорядочно метались кони без всадников, бежали, возвращаясь к своим, оставшиеся в живых печенеги.

— Сам теперь бейся! — крикнул Ярык. — А мы уходим!

— Погоди, успеешь еще убежать, — Святополк нагнулся к Ярыку и заглянул ему в глаза. — Сейчас мои пойдут биться, увидишь, как они насмерть будут стоять. А когда посекут они, сколько могут, врагов, тогда ударишь еще раз, и наша возьмет. Потому как нас все равно больше. Да ты не бойся, Ярык, нет у Ярослава другой хитрости, — и он улыбнулся ядовитой своей улыбкой, отпустил повод коня Ярыка, выехал к своей дружине.

— Братья! — крикнул он. — Нет уже сил у новгородцев, перебиты и варяги! Ударим в последний раз, вернемся в Киев с победою! Не отдадим жен и дочерей своих на поругание Ярославу-хромцу и новгородцам-плотникам! Наш Киев, нам в нем жить и пировать! Им нашими слугами быть, а Киев был и останется хозяином!

Слова эти отозвались в сердцах киевлян, и крепче сжали они мечи и копья.

— Ударим, братья! — продолжал взывать Святополк. — С нами Бог!

Выступили киевляне, пошли вперед сомкнутыми рядами.

Ярослав понял, что наступил решающий час битвы. Он выдвинул вперед дружинников, которые еще не были в деле. Приказал новгородцам повязать платки, чтобы не путать своих с чужими.

— Постоим за правду, братья! — крикнул он, но не нужен был новгородцам этот призыв — они уже сделали выбор: либо победить, либо умереть.

В напряженном молчании ждали они киевлян, и вот сошлись дружины, и началась кровавая бойня.

Страшно, когда русичи бьются с иноземцами.

Но еще страшнее, когда русские бьются с русскими.

Кровь уже сливалась в ручьи, но не отступали ни киевляне, ни новгородцы.

Не заметили воины, что небо заволокло тучами. Не слышали, как урчал, накапливая силы, отдаленный гром. И только когда ахнуло, а небеса разверзлись, проливаясь дождем, подняли они головы к небу, да и то только на мгновение: некогда было.

— Господи, внял Ты моему гласу! — вырвалось у Ярослава.

Он понял, что теперь не страшна конница Ярыка — не сможет она быстро ринуться в бой по мокрой, быстро раскисающей земле.

Святополк тоже понял, что упущен момент атаки, и все же призвал Ярыка наступать.

Но Ярык не слушал временного союзника, да и не смог бы он остановить войско — его бинбаши уже отдали приказ переправляться на левый берег Альты.

Ярослав приказал отрокам бить в бубны и трубить в рога, чтобы поняли воины — враг бежит.

И дружина услышала победные крики, а киевляне дрогнули, поняв, что бросает их князь с союзниками.

Первыми обратились в бегство самые слабые, потом побежали и остальные. Они падали с проклятьями и криками, погибая.

— Бросил нас Святополк окаянный! — крикнул воин-киевлянин, опуская меч, — Окаянный, окаянный!

Воин упал на колени и зарыдал от обиды и бессильной ярости.

Около него остановился Пенек.

— Чего орешь, как баба? — спросил он. — А то ты раньше не знал, что окаянный он и есть?

Киевлянин поднял голову, продолжая рыдать.

— Руби, чего ждешь?

— Нужна мне больно твоя дурья башка. Гляди — дождь заканчивается. Слава Тебе, Господи, прекратил Ты баню кровавую!

Пенек перекрестился и засунул топор за пояс.

14

Горная каменистая тропа поднималась все выше и выше. Проводник слез с коня и повел его за собой. Святополку пришлось сделать то же самое, хотя сил идти уже не было.

Тропа становилась уже, жалась к скале и слева обрывалась в пропасть.

«Он предатель, — подумал Святополк о проводнике. — Хочет меня погубить. Иначе зачем повел таким путем?»

Они поднялись на вершину перевала, и взгляду открылась долина, по которой текла река.

Святополк сел, привалившись спиной к валуну, и тяжело дышал, облизывая сухие губы. Лицо его было потным и красным, щеки обвисли.

— Отдохнем! — сказал Путша, видя, что князь не может идти дальше.

Лешько и двое дружинников уселись на валуны, лишь проводник в мохнатой шапке и овчине остался стоять в стороне. Это был пастух, который вчера согласился провести их через горы. Его нашли в сельце, где останавливались на ночлег.

— Куда он нас привел? — спросил Святополк Путшу. — Его подослали, чтобы мы заплутали.

— Опомнись, князь, да он нас и знать не знает.

— Голова твоя стала седой, а ум в нее так и не залетел, — Святополк допил последние капли вина из кожаного сосуда. — Думаешь, не послал Ярослав за нами погоню? Думаешь, не прибежали теперь Тальц и Еловит к Болеславу? Везде за нами рыщут, и этого пастуха, может, до нас купили.

Путша знал, что спорить со Святополком бесполезно. Но за это время, что бежали сломя голову после сечи на Альте, терпению его пришел конец: Святополк измучил и угрозами, и подозрениями. С великой радостью ушел бы Путша от мучителя хоть сейчас, только вот куда? Петляют они, точно зайцы. Сначала хотели добираться до Болеслава, но Святополк испугался мести за прежнее свое коварство. Потом надумал идти за помощью к венгерскому королю Ладиславу, прозванному Плешивым, а потом вдруг объявил, что и на Ладислава нет надежи. Пробежали через Польшу, остановились теперь на границе Богемии, где правит король чехов Олдрих. Нет уже ни сил, ни веры в помощь, да и сколько еще идти вперед, с таким трудом добывая пищу!

Третьего дня ночью бежали Тальц и Еловит со своими отроками. Если бы они предупредили, то и он бы бежал, пусть Лешько остается со Святополком, он все выдержит.

— Знаю, о чем ты думаешь, — сказал Святополк, уставившись на Путшу. — Но только кому ты нужен, убийца Бориса? Не думай, что Тальц с Еловитом спасутся. Зачем они Болеславу? Все и тебя, и их с презрением оттолкнут. Только при мне твое спасение, так что брось думать о бегстве. Иди, поговори с пастухом, долго ли еще идти.

Из-за того, что Святополк разгадал его мысли, Путша еще больше ожесточился. И ему захотелось крепко досадить князю.

Пастух сказал, что надо идти вниз по берегу реки. В конце ущелья есть селение. Путша и сам знал, что так оно и должно быть — наверняка за ущельем вполне подходящее место для жилья.

— Врет, — вяло сказал Святополк.

Глаза его были мутными — ослабели и ум его, и тело. Сначала его несли на носилках, но после того, как сбежали Тальц и Еловит, пришлось идти пешком. У него появилась привычка разговаривать с самим собой, и он не замечал, что говорит вслух о том, что думает.

— Все равно дойду до Олдриха, никто меня не остановит. Слышишь, хромец? Бил я тебя и еще раз побью! Посулю богатую поживу Олдриху, разве он откажется? А? Как будто идет кто-то. Лешько, кто там? — и он показал в ту сторону, откуда долетел шум осыпавшихся камней.

Лешько встал, подошел к тропе и увидел горного козла. Козел спокойно посмотрел на человека и неторопливо ушел, скрывшись за выступом скалы.

Святополк с нетерпением ждал возвращения Лешько.

— Ну?

— Да никого, кроме козлов, здесь нет, — зло сказал Путша.

— Ты молчи, ты свое уже сказал, — Святополк встал и взял коня за повод. — Святослав, поди, тоже думал, что в горах одни козлы ходят.

«Вспомнил и Святослава, — подумал Путша. — Теперь всех убиенных вспомнит, никуда от них не денется!»

Святослав сидел в земле Древлянской, сидел крепко и смирно, не хотел вмешиваться в междоусобицу. Когда он узнал, что Борис и Глеб убиты, побежал к королю угорскому, но посланные Святополком настигли его в Карпатах и убили.

«И меня он зарежет, — Путша шел по тропе следом за Святополком, — и любого зарежет, кто ему перечить будет. Убегу нынче ночью, пока он дружину не набрал».

В Чернигове у Путши жил тесть, и мысль о том, что надо бежать именно туда, теперь стала казаться спасительной.

«Осмотрюсь, узнаю, как Ярослав себя поведет с киевскими старшими мужами. Коли замирится, то вернусь в Киев, вымолю прощение».

Святополка он решил наказать — выкрасть у него суму с гривнами. Тогда кто поможет ему? Кто поверит в чужой земле, что он князь?

«Может, Лешько подговорить? Сказать, что не пойдет Олдрих на Ярослава — у него своих забот хватает с немцами, французами, королем польским».

Мелкие камни сыпались из-под ног, летели вниз. Пастух вел хорошо знакомой ему тропой, но и по тропе спускаться было трудно, и каждый шел осторожно, боясь оступиться.

Ближе к середине спуска лошадь Святополка соскользнула с тропы. Святополк попытался ее удержать, но она тащила его за собой.

— Помогите! — крикнул Святополк, и уже решил отпустить повод, но он был накручен на руку, и вместе с лошадью Святополк покатился по склону горы, ударяясь о камни и кувыркаясь.

У подножья горы лошадь попыталась встать, но тут же упала. Святополк лежал неподвижно.

Когда спустились с горы, Путша подошел к Святополку и перевернул его на спину. Лицо Святополка было серо-сизым, с кровавыми подтеками.

— Жив? — спросил Путша и приподнял голову князя.

Святополк не откликнулся, и тогда Путша стал отстегивать от пояса князя суму.

— Собака! — прохрипел Святополк. — Лешько…

Путша наконец сумел отцепить суму и сунул ее за пазуху.

Лешько, дружинники и пастух видели это.

Святополк с трудом приподнялся, опираясь на руку.

— Лешько, — сказал он, — убей вора!

— Сам вор! Киев ограбил, Русь ограбил! Лешько, идем домой, покаемся перед Ярославом. Скажем, что убили злодея Святополка, и он простит нас.

— Не верь! — хрипел Святополк, ползая по земле и пытаясь дотянуться до ног Лешько, который таращил глаза и не знал, что делать.

И двое дружинников не знали, как поступить, но на всякий случай схватились за мечи.

— Ты возьми в толк, Лешько, зачем нужен этот выродок Олдриху? И доберемся ли мы до него? По чужой-то, незнакомой земле? Да еще тащить на себе злодея, слушать его брань! Идемте все домой, а он пусть тут подыхает!

Путша говорил с яростью, выплескивая всю ненависть к Святополку.

Первыми сдались дружинники.

— А ведь далеко до Олдриха, и не знаем, зачем мы ему, — сказал один из них, побывавший во многих передрягах, но теперь оробевший.

— Мы вернемся! — Святополк поднял голову от земли, и страшно было его лицо. Больше ползти он не мог — сил хватило только на слова: — Олдрих даст войско — поделимся с ним Русью…

— Тебе бы только отчиной торговать! Ну, кто со мной? Идем! А кто не хочет — неволить не буду! — и Путша повел коня в гору, к тропе, по которой они только что спускались.

Сума была у Путши, и Лешько с дружинниками пошли за ним.

— А где пастух? — вспомнил Лешько о проводнике.

— Убег от страха, — сказал дружинник.

Он оглянулся и увидел, что Святополк протягивает вперед руку и что-то говорит.

— Да наплевать на него, тропу-то я запомнил, — Путша уверенно шел вперед, стараясь поскорее уйти от того места, где лежал в пыли Святополк.

Они поднимались все выше и выше, и Святополк понял, что остался один. Он медленно стал ползти к реке, надеясь, что вода оживит его. Несколько раз он терял сознание, а когда приходил в себя, снова полз, уже мало что соображая.

Пастух рассказал людям о том, что было, и привел их в ущелье.

Они увидели человека в изодранной одежде, лежавшего почти на берегу реки. Его скрюченные пальцы застыли, вцепившись в землю, а на обезображенном лице зияли пустые глазницы — воронье уже успело поживиться.

Вид мертвого был настолько безобразен, что люди не стали забирать дорогой меч, боясь от него заразиться, и набросали на тело речные камни, чтобы не видеть труп и поскорее о нем забыть.

Эпилог

Войдя в Киев и сев на великокняжеский стол, Ярослав узнал, что Борис и отрок его Георгий тайно погребены в Вышгороде. Тело Глеба смоляне нашли на берегу Смядыни — оно лежало между двумя колодами. Смоленский священник приказал привезти его в город и похоронить.

В Вышгороде стояла церковь Святого Василия. Этим именем в крещении нарекли князя Владимира. И Ярослав решил: пусть Борис и Глеб лежат друг подле друга в этой церкви, освященной именем их отца.

Так и сделали при стечении множества народа. Были там киевляне, новгородцы, были

смоляне, мужи галицкие и из многих других городов земли Русской.

Следы Путши и Лешько затерялись, как и Тальца с Еловитом, но имена их остались связанными с именем Святополка, которого русские люди навеки нарекли Окаянным.

Коротко об авторе

Алексей Алексеевич Солоницын — писатель, кинодраматург, родился 22 марта 1938 года в г. Богородске Горьковской области, русский. Окончил факультет журналистики Уральского университета в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1960 году, много ездил по стране, работал в газетах Киргизии, Латвии, на телевидении, в кино.

С 1973 года живет в Самаре.

С 1972 года — член Союза писателей России, с 1984 года — член Союза кинематографистов России. За 55 лет творческой деятельности в Москве, Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Рязани и других городах России и зарубежья издано, включая переиздания, более 30 книг писателя. По его сценариям снято около 40 документальных фильмов. В последние годы делает фильмы и как режиссер.

Тема разбуженной совести, нравственного подвига — главная в творчестве писателя, кинематографиста. И в годы советской власти, и в новейшее время он неизменно поднимает в своих романах, повестях, рассказах, фильмах тему деятельного добра, рассказывает о жертвенном подвиге его героев. Пишет он в традициях русской реалистической прозы, которая в лучших своих произведениях всегда отличалась высокой духовностью.

Дипломант Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 2012 года, лауреат первых Всероссийских литературных премий имени Александра Невского (Петербург), Ивана Ильина (Екатеринбург), Серафима Саровского (Нижний Новгород), международного кинофестиваля «Золотой витязь» (Москва).

Спасибо, что читаете вместе с «Азбукой веры».

Другие материалы раздела – azbyka.ru/fiction

Поддержать портал – azbyka.ru/kak-pomoch